

АНАТОЛИИ
РАСКЛЕТСКИЙ

ПАТНИКОВЫ





СОВИНК-СОВРЕМЕНИКА

Анатолий Василевский

Ратниковы

Рассказы, повести

«Современник»
Москва
1979

Василевский А. П.

В19 Ратниковы: Рассказы, повести. — М.: Современник, 1979.— 302 с. (Новинки «Современника»).

Для героев книги Анатолия Василевского нет легких дорог. Они постоянно оказываются перед выбором, чаще всего нравственным, когда поступок человека подсуден лишь его собственной совести.

Эта особенность характерна для всех рассказов и повестей, и особенно для повести «Ратниковы», давшей название сборнику. Повесть эта, драматичная по содержанию, исполнена жизнеутверждения, во имя которого и преодолевают трудности жители селения Лихая Пожня.

В 70302—202 17—79 4702010200
М106(03)—79

ББК84.Р7
Р2

Рассказы

У младшего брата

1

Дверь открыла молодая крепкая женщина. Лицо ее было знакомо по фотографиям, и он улыбнулся ей и подумал, что в жизни она лучше. Глаза ее щурились, будто сушили что-то — поблескивая из-за ресниц, дразнили; но губы, капризно припухлые губы, были строги.

— Вам кого? — нерешительно спросила женщина. Он опять улыбнулся, и она узнала его: — Сережа! Не предупредил! Я бы встретила! Ну, что стоишь? Входи. — И, когда он перешагнул порог, смущенно поцеловала в щеку.

Ему было приятно, что у него такая молодая родственница, и он опять улыбнулся.

— Алексея нет?

— Нет. — И блеск в ее глазах погас, а губы стали еще строже. — Он в командировке. — И показалось Сергею, что Люся забыла о нем.

— Скоро вернется?

— Не знаю. Может быть, недели через полторы... Ну, так... раздевайся. — И внезапно оживилась: — Сейчас... Сейчас я начну угощать тебя. У нас свой погреб...

Теперь ему казалось, что Люся вся поглощена хлопотами. Носилась с кухни и на кухню, таскала на стол тарелки, вазочки, рюмочки, словно готовила стол на десятерых, и глаза ее опять щурились и поблескивали.

Он открыл чемодан, достал и неторопливо развернул сверток. В свертке был подарок племяннице — два метра голубого капрона. Он разгладил капрон на коленях.

— А где Таня?

— Мама забрала. На лето. — И засмеялась: — Алеша говорит — для нагула. Худющая. Есть ничего не хочет.

«Ну что ж, без меня сошьют платьице», — подумал он, свернул капрон и пристроил сверток на краешек дивана.

В раскрытую дверь балкона тек свежий воздух, от тюлевой занавески плясали в солнечном свете узорные тени. Люся выскочила на балкон.

— Вон, видишь? Это наш погреб. Алеша выкопал. Сам. И накрыл сам. И дверь... И замок — во какой! Я сейчас...

Сергей видел, как она, прямо в халатике, промелькнула по двору, потом, улыбаясь ему, несла из погреба моченые яблоки, соленые огурцы и помидоры.

И когда она появилась на пороге, Сергея снова поразило лукавство ее глаз. Он решил, что Алексею приятно возвращаться домой, где ждет его такая хозяйка.

Стол был плотно уставлен яствами, и Люся настойчиво угощала Сергея. Предлагала попробовать варенья (ягоды Алеша купил), заливной рыбы (поймал Алеша), грибов, которые они вместе с Алексеем принесли из лесу и замариновали. Подливала ему в рюмку густое сладкое вино (сами настояли) и говорила, говорила, то подсаживаясь к столу, то отходя. Порой она задумывалась, смотрела куда-то в сторону, потом спохватывалась и опять говорила.

— Нравится наша мебель? Гарнитур чехословацкий. Купили только-только. Шкаф! Низенький, а вместительный. — Она ласково поглаживала зеркальную полировку. — А ковер случайно достали. Совсем-совсем случайно. Большой — во всю комнату. — Она, подогнув колени, села на ковер, погрузила пальцы в густой ворс. — Алеша босиком ходить любит.

И опять Сергею показалось, что она забыла о нем. Но Люся вскочила.

— Еще рюмочку. Ну, пожалуйста!

Сергей косился на большой пузатый холодильник, перебирал взглядом дорогие (по его мнению) безделушки на полированном столике трельяжа и слушал.

— Телеантенна знаешь какая у нас? Дистанционного управления. Вот пульт. Принимаем... Знаешь, сколько стран принимаем?.. Алеша сконструировал.

В голове Сергея прыгали мысли. От выпитого вина он полон был благожелательства. Слушал Люсю и готов был отвечать ей, но мысли прыгали куда-то в сторону и текли по каким-то своим, неподвластным ему ручейкам.

Вот и хорошо, что у вас все так складно... А на письмо брату мог бы выкроить полчаса. Лет пять последних эта самая Люся только и подавала вести — куцые писульки к праздникам. А брат, Лешка? Полгода на антенну угробил! Дело, конечно, стоящее. Но... можно ли забывать родню? Забывать старое? Последнюю фотографию прислал с надписью: «Брату, другу и учителю». Ишь! И пять лет — ни звука. А не виделись больше. Семь лет прошло — срок. Семь лет могут вывернуть человека наизнанку — не узнаешь и брата. Раньше смешно было письма читать — одни восклицания. А теперь? Закопался, видно, в коврах, в уюте...

Он снова оглядел богатую обстановку квартиры. Вишь, как все у Лешки!.. Потому и забыл про деревню свою. Все, как было там, все так и осталось; и он, Сергей, как пахал землю трактором, так и теперь ковыряет ее. Годы крадутся незаметно, к сорока подбираются, а он так и живет в том доме, в каком родились они с Лешкой, выросли. Дом подновил, правда, фундамент подвел каменный, крышу покрыл черепицей... Ну, пол там... наличники новые... А все ж дом тот самый... Вот и не едет. В коврах закопался, вот...

«Да что это я распылился? — подумал Сергей. — И брата еще не видел, а уж разнос устраиваю, как инспектор какой». — И сказал примирительно:

— Налей-ка, Люся, еще рюмочку.

2

Люся постелила ему на диване.

— Отдохни с дороги. — И ушла куда-то.

Он усмехнулся: «Спать днем?» Однако прилег. И уснул.

Разбудили его воробьи. Он протер глаза и задрал голову. Сквозь тюль увидел воробьев. Они дрались на перилах балкона. Нахохлились, насакивали, как петухи, взлетали после каждого наскока и опять цепко па-

дали на перила. Он заворочался. Опустил на пол ноги и с удовольствием пошевелил пальцами — ворс на ковре был мягкий и теплый.

Крыши домов, деревья еще переглядывались с заходящим солнцем, но за домами уже тайлся ночной мрак.

«Надо же проспать столько», — подумал Сергей и потряс головой. То ли от выпитого вина, то ли с не привычки спать днем — голова дурно гудела. Он встал. На столе нашел записку: «Проснешься — пей и ешь. И не стесняйся. Я на заседании женсовета».

Он налил и выпил рюмку вина. Вино ему нравилось, и он выпил еще. На обратной стороне записки карандашом нацарапал: «Пойду посмотрю город». Взял кепку и вышел.

Он знал, что город этот небольшой, и потому дивился прямым опрятным улицам, газонам, скверам, высоким домам с островерхими крышами. Одноэтажные домики тоже были непривычны его глазу: каменные, под черепицей, с мезонинами. И везде зелень, зелень — цветы, яблони. Везде тротуары, выстланные сетчатыми плитками. Он ходил, повторяя: «Ишь ты, как чисто! Ишь ты!»

Встречную женщину спросил, как пройти к аэродрому. Та не поняла его и что-то сказала на незнакомом языке. Он опять удивился: «Ишь ты! Все равно что за границей. Прибалтика». И стал внимательно приглядываться к прохожим. Выбрал мужчину, внешне наиболее похожего на русского, задал тот же вопрос. Мужчина внимательно выслушал его, подумал и, коверкая слова, кое-как объяснил, куда идти.

Метров через двести Сергей остановился. Его заинтересовало таинственное звучание. Оно было приглушенным. Казалось, мелодией дышит сама земля. Он покрутил головой и догадался, что музыка слышна из раскрытых дверей высокого красного собора.

Оглянулся. Вокруг было пустынно, и он вошел. В костеле тоже никого не было. В глубоких нишах перед иконами горели электрические лампочки в форме свечей. Он решил, что музыку передают по радио, и стал осматриваться, ища репродукторы. Ничего похожего не увидел, подумал: «Ну и пусть». И тогда разглядел высоко под стрельчатыми сводами согбенного

старика. За точеной балюстрадой антресолей видна была в сумраке седая голова. Старик раскачивал туловищем в такт музыке. Перед ним стройными рядами возвышались светлые трубы.

«Орган!» — догадался Сергей и попытался разглядеть невиданный им, диковинный инструмент.

В костеле стояли странные, очень низенькие скамеечки; и он, опасаясь, как бы его не выгнали, примостился на одну из них и стал слушать.

Музыка не исходила оттуда, где сгибался и разгибался старик; музыка пропитывала все строение, стекала по стенам, разливалась по холодным плитам цементного пола, пронизывала воздух и обволакивала Сергея, погружала в какой-то сладостный сон наяву.

Музыка наплывала мягкими волнами. Даже тогда, когда орган звучал мощно и казалось, что сами потолки каменные, стены поют трубно, — даже тогда музыка не тревожила, а лишь плотнее охватывала и глубже погружала в этот цепенящий сон. Сергей чувствовал, что не в состоянии пошевелить рукой, даже пальцем, словно боялся, что при малейшем его движении что-то разрушится и случится непоправимое.

Орган стих. Но музыка еще жила какое-то время. Пропитанная ею громада собора еще долго источала неуловимое звучание, как камень излучает в вечернюю прохладу собранное за день тепло.

Когда Сергей поднял голову, то оказалось, что старика на балюстраде нет. Сергей долго сидел, но все было тихо. Старик не появлялся, словно бесследно и беззвучно растворился в каменных складках собора, в сумраке, затемнившем костел.

3

Сергей знал со слов Люси, что полеты будут ночные, и, пока не угас закат, не торопился. Шел медленно, думал об удивительной музыке, которую довелось послушать (каждый день слушай — не надоест), и окружающий мир воспринимал по-новому. То ли музыка была тому причиной, то ли полная отрешенность от забот, какую он впервые позволил себе в этот отпуск, но сейчас многое открывалось ему впервые.

Тот вечер был тих, а ночь, хотя месяц и не всходил,

по-летнему светла; в небе угадывалась синь. Звезды смотрели на землю не мигая, и слышалось в тишине, как стрекочут кузнечики, словно перетирают маленькие жернова. И Сергей, которого столько раз окружал их стрекот и ночью, и днем, впервые к нему прислушивался и удивлялся.

Очутившись на окраине города, остановился. Почудилось, что опять слышен орган, потому что звучание, которое он уловил, снова было всеобъемлющим, оно охватывало весь воздух, все небо, всю землю. Далекое, но мощное гудение было густым и ровным. Оно разрасталось и крепло, но это не был орган, и звуки эти не погружали в оцепенение, а взбадривали и пробуждали смутное беспокойство.

«Вот оно что, — подумал Сергей, — вон он где — аэродром». И стал ждать. Вскоре полеты начались.

Со стороны аэродрома слышался непрерывный приглушенный гром. Время от времени из чернильной гущи беззвучно вырастали разноцветные огни, разгоняясь, рвались вверх, превращались в одну светящуюся точку — слышался давящий свист; мгновенно все исчезало; чуть погодя земля вздрагивала от короткого взрыва, как будто весь небосвод приподнимался и снова падал на горизонт.

Через ровные промежутки времени все повторялось, и Сергей стоял и стоял, как прикованный. Выворачивал голову кверху, пытался разглядеть самолеты. Но, кроме несущихся в небе и исчезающих огней, ничего увидеть не мог.

«Днем летать будут — тогда и увижу», — подумал он и пошел назад, потому что было уже поздно.

Дверь оказалась незапертой, но Люси не было. В комнате горел торшер, постель, которую он прибрал за собой, опять была приготовлена на диване. Возле дивана лежала грозная записка: «Почему ничего не ел? Буду ругаться».

Он выпил два стакана молока и лег. Минут через двадцать пришла Люся.

— Слышишь, летают наши.

— А что это гукает, когда самолет взлетит? Стреляют?

Люся засмеялась:

— Нет. Звуковой барьер берут.

Он тоже засмеялся для приличия и стал думать. Что это еще за барьер? Ну, изгородь — барьер. Ну, туча. А звук?..

— Спокойной ночи, — сказала Люся, погасила торшер и ушла в спальню.

Вскоре Сергей уснул. Проснулся уже под утро. В дверь балкона заглядывал белесый рассвет, тянуло росной прохладой. С аэродрома все еще слышался гул, в отдалении время от времени гукало. Сергей повернулся на бок и, устраиваясь поудобней, через дверь в кухню увидел в окне силуэт Люси. Приподнял голову и окликнул:

— Что рано поднялась, Люся?

— Я не ложилась.

Он так и держал голову на весу. Настороженно спросил:

— Что так?

— Вдруг Алеша вернется...

«Вон как», — подумал он и опустил голову.

Немного погодя спросил:

— Так ждешь каждый день?

— Нет. Сплю. Полетов когда нет.

«Ишь! — подумал он. — Моя бы не стала ждать. Да и то... Если б такая работа...»

— А что, ни с того ни с сего возвращаются?

— Всякое бывает... Бывает, уйдет на полеты — ждешь-ждешь, а его и день, и два нет. Однажды через месяц вернулся.

— И не предупредил?

— Сам не знал.

— Как же ты?.. Каждый день ждала?

— Ждала.

— Ложись. Вернется — придет.

— Да... — Видно было, как Люся прижимается лбом к стеклу, кутается в платок.

— Ложись.

— Иногда не возвращаются... Другой раз уходит Алеша — и думаешь: «Неужто в последний раз целую?»

Сергей беспокойно заворочался:

— Алексею не говори такое.

— Что я, дура?

— И ведь не часто случается, наверно?

— Нет. А бывает — чудом спасаются, женам об

этом не говорят. Не говорят, и не спрашивай. Алексей пробасит, — она передразнила: — «Брось ерунду пороть!»

— Ну и правильно.

— Конечно. А только после того, как с Алешей случилось это, я не сплю, когда его нет и — полеты.

Сергей опять приподнялся:

— А что случилось-то?

— Помнишь, писала: Алексей в госпитале?

— Назад лет пять? Ну, ну?

— Разбился он.

— Как разбился?

— Самолет спас... В госпитале с год лежал

— А я-то думал, так что... И не написали.

— Не велел Алеша. А потом летать учился заново... А тут новые самолеты. И опять новые... Устает... В отпуск его — после того случая — каждый год заставляют на курорт ездить. Перегрузки снимать...

4

Высота была мала. Слишком мала. И когда оборвался рев турбины, он мгновенно оценил обстановку: сажать самолет негде. Обшарил взглядом землю и понял, что произойдет, если двигатель не заработает, и содрогнулся. Он сжал зубы и весь напрягся, ища выхода, и слышал, как метроном отщелкивал у него в мозгу секунды.

Самолет терял драгоценную высоту, а он пытался запустить двигатель. По радио доложил:

— Я двенадцатый. Отказала турбина. Я двенадцатый.

Он знал, каков будет приказ, и взялся за предохранительную скобу: сбросить ее — слетит фонарь, и в кабину ворвется гудящий воздух, и — можно катапультироваться.

Голос руководившего полетами подполковника Стывова был более спокоен, чем обычно:

— Высота? Квадрат?

Задавая эти вопросы, подполковник в то же время вспомнил, видимо, что двенадцатый только что взлетел. И тоже мгновенно, по-своему, оценил обстановку:

— Двенадцатый, катапультируйся! Двенадцатый!

— Вас понял — катапультироваться. — Он снял руку с предохранительной скобы. — Иду на вынужденную. — Не договорив фразы, он выключил рацию. Не слышал, как подполковник Стыров кричал: «Приказываю катапультироваться! Катапультируйся, двенадцатый! Почему не отвечаешь? Двенадцатый? Двенадцатый!..»

Истекали последние секунды. Еще можно было спастись. Но он пытался запустить двигатель. Он не мог катапультироваться. Под ним была окраина города. Хоть бы пустырь какой, хоть бы сквер! Цветная карта оживала в глазах домами, улицами, которые он хорошо знал. Места для посадки нет. Выхода нет...

Если бы чуть больше высоты и потянуть немного! За домами поле. Снизить угол падения? Рука наливалась свинцом, тянет ручку. «Нельзя!» Упадет скорость, самолет потеряет управление — рухнет вниз... Рухнет на дома, на людей... Самолет снижается без рева турбины, внизу не видят его... А рука опять тяжелеет, давит на ручку. Нельзя! Еще можно отвернуть немного влево. Влево, влево... Там меньше людей... Но вот уже все. Кажется, все. Сейчас самолет врежется в крыши, в дома, в машины... Все-все!

Рука тянется к предохранительной скобе... Справа церковь, а впереди — водонапорная башня. Еще бы сто метров высоты! Как раз за башней поле... Облегчить машину! Он упирается в педали, напрягается. Всем телом тащит самолет вверх. И чувствует, кажется, как самолет врезывается в водонапорную башню, как проламывает остроконечную крышу и с треском и грохотом валится вниз; и страх пробирается холодной лапой под комбинезон и сковывает; а внизу, рядом с водонапорной башней, какой-то цех и садик, где в перерывах курят рабочие; и нельзя, нельзя бросить самолет на них, и рука хватается на себя ручку управления...

Шпиль на башне был сорван. Но он не знал этого. Он только ощутил удар, и успел выправить самолет, и удержать его еще какие-то доли секунды, чтобы перетянуть через цех. Успел увидеть поле. Он угадал под самолетом пахоту и попытался притереть самолет на брюхо, когда приборная доска ринулась на него...

Больше он ничего не видел. Не видел санитарной машины, которая с воем сирены принеслась, когда еще

не осели на землю клубы пыли; не видел машины генерала, не видел толпы, обволакивающей самолет. Ничего не видел.

Окровавленного, страшного, извлекли его из кабины. Уложили в санитарную машину, сразу же на окнах машины задернули шторы.

Замерев, стояла толпа. И генерал стоял. И ждал, опустив голову, — большой и безмолвный. И толпа глядела на него, и людям казалось, что все зависит от генерала. И люди недоумевали: почему он стоит, почему ничего не предпринимает? Когда врач вылез из «санитарки» и подскочил к генералу с докладом, генерал жестом остановил его, сниженным до хрипоты басом спросил что-то.

Услышав ответ, кивнул. И, постояв, скосился на толпу. Хитроватая усмешка затеплилась в глазах генерала, и в толпе заулыбались, и всхлипнула какая-то женщина...

Алексей ничего этого не видел и не знал — с тех пор остался на лице шрам...

5

Днем Люся показывала семейный альбом. Больше всего было фотографий самой Люси и Тани — худенькой черноволосой девочки. Изредка встречались карточки Алексея. Сергей не узнавал его и никак не мог понять, то ли брат так изменился за эти годы, то ли виноваты были во всем любительские снимки. Наконец попался хороший портрет на коричневой матовой бумаге.

— Прошлый год снимался, — сказала Люся. — В личное дело.

С фотографии смотрел незнакомый здоровяк: хмурое лицо с бороздой на левой щеке.

— Шрам?

— Да. С тех пор.

Он внимательно вгляделся в фотографию брата, отыскал-таки знакомое; затаилась чуть приметная улыбка в губах — так Лешка всегда улыбался. И сразу лицо стало знакомым, близким. Время побежало вспять — возвратилась далекая мальчишечья пора, когда младший брат нуждался в его опеке, Обиженный кем-ни-

будь, он прибежал к Сергею. Не плакал, а только хлюпал носом. Уши его тогда пунцовели, губы тряслись. Такая жалость охватывала Сергея, что он, не говоря ни слова, шел отыскивать обидчика Лешки. И вот теперь, увидев на фотографии этот шрам, Сергей ощутил давно забытое чувство, желание заслонить брата от опасности, от беды. Он откашлялся:

— Неужто узнать нельзя — вернуться когда?

— Нет. Задание выполняют — вернуться.

6

Сергей не ходил больше слушать орган, потому что каждый день были полеты. То с утра начинались, а то с вечера — на всю ночь. Ночью летали чаще. Сергей выбирался за город засветло. На аэродром вела бетонированная дорога. Между плит пробивалась трава, встречались даже белоголовые ромашки; но на этой дороге, кроме военных машин, он никогда никого не видел и выходить на нее робел. Прямиком, лугами, уходил от города, шел к небольшому озеру в вязкой низине. Низина эта тянулась на многие километры — влево от озера терялась болотинами в глухих мшистых лесах, а вправо тонула в черных лужах, в трясинах с мелкой, зеленой тиной на застарелых дремучих омутках.

К заходу солнца над болотами поднимался комариный звон, чуть погода с озерных заводей вспухало лягушачье кваканье, и уж потом, из ольшаника, из приболотных частых, заматерелых кустов раздавался скрип коростеля.

Не дожидаясь, когда вечерняя тишина заполнится вековыми всхлипами ночи, за озером, за горбатой песчаной гривой, поросшей кривыми сосенками и сухими острыми травами, оживал аэродром. Его пробуждение Сергей никак уловить не мог, и лишь когда приглушенный гром покрывал привычные звуки ночи, он говорил себе: «Вот-вот, начинают».

Со стороны аэродрома слышался непрерывный грохот — то нарастающий, неистовый, иступленный, то притихающий. Время от времени над бугром, меж сосенок, появлялись желтые и красные или желтые и зеленые огни, стремительно бежали, уходили вверх — доносился пронзительный, давящий к земле свист; огни

и свист мгновенно отдалялись, исчезали; чуть погода земля вздрагивала от гулкового взрыва.

В отдельные дни самолеты взлетали прямо на город. Из-за гривы появлялись красные и зеленые огни, вдруг вырастали, близились; и самолет с грохотом и свистом проносился над Сергеем; и Сергей видел в ночном небе огромную тень самолета с пламенно-красным хвостом. Этот хвост раскаленным мечом разрезал небо и исчезал вместе с тенью, и грохотом, и огнями. Потом Сергей ждал, когда громыхнет в отдалении невидимый и непонятный ему звуковой барьер.

Днем гул на аэродроме был глуше, чем ночью; а самолеты вырывались из-за бугра неслышно, будто запущенные упругим толчком; нарастающий тяжелый свист долетал лишь тогда, когда самолеты, уменьшаясь, круто уходили вверх; где-то там, в бездонной вышине, они исчезали — опять, как и ночью, вздрагивала земля от взрыва...

Уходить не хотелось, и Сергей просиживал над озером долгие часы. Пытался и не мог представить себе Алексея. Никак не умещалось в голове, что его младший брат — властелин вот этого грохота и свиста, огня и огромных теней в ночном небе.

Отпуск подходил к концу, и Сергей опасался, что ему так и придется уехать, не повидавшись с братом. Последние дни считал с досадой. Наконец наступил канун отъезда, Сергей в это утро встал очень рано. Тихонько свернул постель, умылся и до самого завтрака неприкаянно сновал из комнаты на балкон и обратно. Потом Люся потащила его в город. Лазили по магазинам — Люся покупала подарки жене Сергея Анне и обоим его сыновьям — Петру и Юрию. Нагрузившись свертками, зашли в гастроном:

— Масла надо купить, — сказала Люся.

И тут над домами, над городом раздался знакомый уже Сергею свист и грохот. По улице скользнули тени.

— Наши! — закричала Люся. Подскочила к Сергею, чмокнула в щеку и вылетела из магазина.

Сергей засмеялся. Покрутил головой. Ну и ну! И стал в очередь. Купил полкило сливочного масла, подумал немного и снова встал в очередь — взял бутылку «Московской».

Сергей толкнул дверь — навстречу ему в коридор выбежала Люся. У нее были ошалелые от радости глаза, щеки полыхали. Увидев Сергея, она смущенно закусила губу и, еще больше вспыхнув, убежала назад. Сергею стало неловко. Он потоптался в коридоре. Снял кепку и, представив себе, как вернется Алексей, будет целовать Люсю, почувствовал что-то вроде зависти.

Время тянулось. Ждать Алексея было тягостно, и Сергей не мог усидеть на месте. Часто выходил на балкон, вытягивал шею в сторону, откуда, по его мнению, должен был появиться брат.

Было жарко. Город тонул в знойном мареве; редкие белые облака неподвижно висели в небе; даже беспокойные воробьи притихли, спрятались в кронах деревьев. Сергей уходил в комнату, но тут же забывал о зное и возвращался на балкон. А Люся весь день хлопотала. Казалось, она была везде сразу — на кухне, в комнате, в спальне. Занималась уборкой, накрывала стол, переодевалась, подкрашивала ногти. А как только хлопнула входная дверь, очутилась в коридоре. Оттуда раздавался ее смех, визг, поцелуи и стон:

— Медведь!

Потом Люся что-то зашептала.

В коридоре трубно раскатилось:

— Добро.

В комнату вошел кряжистый майор, с минуту хмуро разглядывал Сергея. Сергей в напряженной позе застыл посреди комнаты. Тоже смотрел. Смотрел с недоумением. Широченные плечи, тяжелые руки, лицо обветренное, красное — перед ним стоял человек, явно незнакомый. За спиной у майора давилась от смеха Люся.

Майор улыбнулся. И тогда Сергей признал в нем брата. Неловко развел руками.

— Ну вот...

Алексей сграбастал его. Сдавил так, что затрещало все внутри, и отпустил. Опять смотрел с минуту, смотрел сердито. Прогудел:

— Болен?

Сергей затряс головой.

— Кащей Бессмертный, — сказал Алексей веско,

Сергей засмеялся.

— Кость такая.

Алексей хлопнул по лбу. Побагровел.

— Не жрешь ни черта. Ах ты! Детишки. С деньжатами туго. А я-то! Память заело, забыл брата!

— Что ты? — засмущался Сергей. — Что ты? Жизнь хлопотливая — верно, а так... не жалуюсь.

Алексей положил ему на плечо тяжеленную руку.

— Говори-говори. Вижу. — И покачал головой: — А я-то!.. Каждый год к тебе собирался ехать. То одно, то другое... Да и ты хорош! Напишет, думаю, если что, — брат ведь.

— Ты вот что, — начал Сергей, — ты брось...

— Ладно, ладно, — остановил Алексей. — Слова — это слова. А дело делом. Так вот в деле я оплошал.

— Уезжать ему завтра, — сказала Люся.

— Как уезжать? — Алексей почему-то долго смотрел на Люсю. И глаза у Люси были серьезные. — Пусть еще поживет. — Перевел взгляд на Сергея: — Поживи! Хоть недельку!.. Нельзя?.. Вот черт! Вот черт!

— Зачертил. — Люся опять заиграла глазами. — Раньше возвращаться надо было. — И повисла у Алексея на шее.

Через четверть часа брат вышел из ванной освеженный. На нем были светлые брюки и желтая тенниска. Сергей подумал, что теперь он больше похож на того, давнишнего Алексея.

Уселись за стол. Алексей распечатал бутылку «Московской», повертел ее в руках и зло хлопнул себя по коленке.

— Вот черт! Выходит, мы с тобой и не выпьем по настоящему: полеты у меня завтра.

— Не сегодня же, — сказал Сергей. — Завтра.

— Нет. Не принято у нас. — Алексей похлопал его по спине. Улыбнулся: — Но стопочку я с тобой пропущу. За тебя, брат! — Опрокинул в рот затерявшуюся в его кулаке рюмку, хукнул с раскатом и сразу встал. Начал наваливать на тарелку Сергея всякой всячины: — А ну налегай. Закусывай. И вот: еще чарку. Тебе не летать. Тебе можно...

Когда незаметно для себя Сергей изрядно выпил, Люся занялась уборкой со стола, а они с Алексеем пересели на диван.

— Ну, рассказывай, — сказал Алексей и, давя стонущий диван, стал дотошно выпрашивать у Сергея про работу, жену, детишек.

Спохватившись, Сергей начал отбиваться:

— Ты про себя расскажи. Как ты?

— А что? — удивился Алексей. — Нормально. Летаю.

— На «мигах»?

Алексей взглянул на него с любопытством.

— Ты это о каких?

— О «мигах»... — Сергей пожал плечами.

— А-а... Ты, наверно, о семнадцатых. Бывает, и на них. Для отдыха.

— Хорош отдых! Слышал я: в глазах темнеет, кровь выступает в порах...

— Сказки.

— Лгут, значит?

— Лгут не лгут, — Алексей неопределенно крутил головой. — Перегрузки бывают.

— А говоришь, для отдыха?

— Мы давно на других летаем. Это машины!..

— Я читал, один летчик-испытатель быстрее снаряда шел, — сказал Сергей значительно.

Алексей заулыбался:

— Старо. Снаряд мы давно обогнали.

— Правда? — удивился Сергей. — У вас такие самолеты?

Алексей продолжал улыбаться.

— Хорошие.

Сергей искоса оглядел Алексея. Опустил ему на спину кулак — спина гулко отозвалась, и сердце Сергея захлестнула нежность. Защемило в груди. Опять время скакнуло назад, к далекой, мальчишечьей поре, как будто и теперь он был в ответе и за дела, и за жизнь младшего брата.

— Шрам вот у тебя, — сказал он. — Как случилось-то все?

Алексей отмахнулся:

— А-а, пустяки.

— Как же пустяки. В госпитале провалялся... Шрам вот...

— А ты не лежал в больнице? — спросил Алексей. — И у тебя вон шрам.

— Ну-у! — Сергей потрогал небольшой рубчик у себя за ухом.

Алексей обнял его.

— Ничего особенного. Отказала турбина, пошел на вынужденную. Посадил неудачно — вот и вся недолга. А у тебя не случилось аварий? Начальство у тебя — люди?

И опять Сергей долго рассказывал о своей жизни. Люся успела убрать со стола, перемыла посуду и сидела теперь рядом с Алексеем. Она взъерошивала ему волосы, заглядывала в лицо — глаза ее вспыхивали. Но он был занят разговором с Сергеем, и она, щурясь, гасила огоньки в глазах. Губы ее обиженно двигались, она молча льнула к Алексею.

Солнце клонилось к вечеру. Знойное марево поостыло, выделились четкие контуры крыш, домов. На освещенных стенах отпечатались темные тени. За тюлевой занавеской опять дрались воробьи, их крик как бы напоминал, что еще один день прожит.

В наступившей паузе Сергей взглянул на Люсю. Люся чего-то застеснялась, опустила глаза, щеки ее залил румянец. «Ах ты, пентюх!» — подумал о себе Сергей и встал.

— В город мне надо еще...

Выходя из дома, он крутил головой. Вот пентюх, вот пентюх! И думал, что уезжать ему завтра самое время.

8

Утром его разбудил тяжелый храп за стенкой — спал младший брат. Сергей долго лежал с открытыми глазами и улыбался. Следил, как розовеет за окном небо. Зазвонил будильник. Храп не прекратился. Послышался шепот Люси и вслед за этим басовитое: «О-о!»

Алексей, тяжело ступая, пошел босиком умываться.

Люся вышла одетая, причесанная, словно и не спала. Благодарно улыбнулась Сергею, будто он ей подарил эту счастливую ночь, по привычке сощурилась:

— Не раздумал ехать?

И сразу же занялась сборами. То, что она припасла для него, в чемодан не вмещалось.

— Ну зачем? — смущенно отбивался Сергей. — Что ж я... в пустыню?..

Появился Алексей. Он был в форме, в сапогах.

— Пять суток ехать... Возьми с собой погреб — и то мало. — И вместе с Люсей принялся набивать сетку.

Завтракали молча. Люся улыбалась и, видно, не могла свыкнуться с тем, что Алексей рядом — все льнула к нему. Но Алексей не замечал этого, он хмуро смотрел на брата. Кончив завтракать, сказал:

— Виноват я перед тобой, чего там. Давно у тебя не был. И сейчас видишь как получилось? Встретились — разошлись. Списать надо было... А теперь вот что: ты хотел самолеты увидеть?.. Подброшу-ка я тебя за город, к полустанку. Там и аэродром рядом...

9

Уселись в зеленый армейский «газик». Сергей и Люся на заднее сиденье, Алексей — рядом с молоденьким шофером в синем комбинезоне и пилотке.

— Прямо, товарищ майор?

Алексей кивнул, а когда машина тронулась, сказал:

— К полустанку.

«Газик» быстро пробежал ровные зеленые улицы. Мимо костела, высокой серой школы, домиков с мезонинами. Выскочил на асфальтированное шоссе и ровно катил километра три. Ветер свистел в ушах, рвал волосы. Свернули на бетонку — шофер прибавил газу. Дорога была пустынной — по дороге никто не шел, не ехал. Но и по бетонке они двигались недолго, съехали на лесной проселок, и машина, осторожно переваливаясь через узловатые корни, пошла медленно.

День обещал быть ясным. Сосновый бор наискосок был просвечен голубыми столбами, а над бором, в прогалинах, синело чистое небо. Сергей пытался представить себе самолеты в этом небе, и ему досадно было уезжать.

Выехали из леса и остановились перед невысоким забором. Дальше, к железнодорожной насыпи, к строениям полустанка, вела тропа. Алексей открыл дверцу и соскочил:

— Ну, вы тут погуляйте. Я сейчас.

И ушел к станции — маленькому домику в цветах.

Сергей поставил на землю чемодан, на чемодан — сумку с продуктами. Огляделся, ища аэродром. Ниче-

го похожего не увидел. Утреннее чистое небо высоко вздымалось над холмистой равниной. В низинах таяли поздние туманы, видны были кустарники, перелески, кое-где — матовый блеск озер.

— Хорошо-то как! — воскликнула Люся и, сощурившись, глянула на Сергея. — Приедешь? Еще приедешь?

Вернулся Алексей. Они постояли рядом, прислушиваясь к нарастающему шуму. Из-за леса выскочил рядный тепловоз, за ним — прокоптелые вагоны. Товарняк проскочил мимо, не сбавляя скорости; и шум колес постепенно затих.

— В сенокос здесь раздолье, — сказал Алексей. — А осенью охота хороша. На уток. Приезжай. А? Поохотимся.

Сергей понимал, что приехать сюда снова ему едва ли придется, и молчал. Было грустно.

Алексей еще раз обнял его:

— Вот билет тебе. До самой хаты. В Москве пересадка. Пиши. А лучше — приезжай. Знаешь, как важно увидеться. Я к тебе тоже приеду. Знакомых встретить хочется. Побродить...

Помолчали. Алексей показал влево.

— Взлетать будем вон оттуда. — Взглянул на часы: — Время еще есть — увидишь. Ну, а мне пора. Давай прощаться.

Сергею сдавило горло. Припомнил слова Люси: «Неужто в последний раз целую?», ткнулся губами в щеку Алексея и по-дурацки всхлипнул.

Алексей похлопал его по спине:

— Ну-ну. Все будет нормально. Пиши чаще. И если какие трудности — тоже пиши. Добро? А в отпуск я к тебе в этом году приеду. Заготовь там бражки покрепче.

— Ладно, — с трудом сказал Сергей. — Да только приезжай. Обязательно.

Люся обняла его за шею и поцеловала в губы.

— Вот так, — сказала она и засмеялась.

Простились как-то вдруг. «Газик» ушел. Улеглась пыль, а Сергей все стоял, глядел вслед машине. Потом опустился на чемодан, на колени поставил сумку. Голову повернул влево и, помаргивая изредка, стал ждать,

Туманы в низинах растаяли, стянули с озер матовый налет, и озера ослепительно засверкали. Было очень тихо. Но тишина не радовала Сергея. Ему казалось, что в тишине этой время бежит очень быстро.

Когда с аэродрома слышался гул, Сергей взглянул на часы и с досадой поднялся. Притиснул сумку к чемодану и стал беспокойно ходить, поглядывая на циферблат. Минутная стрелка совершала последние круги перед прибытием поезда.

Донесся зов тепловоза, поезд приближался. И тогда Сергей увидел: над купами деревьев, вдалеке, фантастической формы стрела беззвучно провела в небе стремительный изгиб, увеличилась в размерах — слышался нарастающий тяжкий свист; он постарался получше разглядеть самолет, но не успел даже понять его очертания — стрела круто ушла вверх, вдруг уменьшилась, скрылась из глаз и неведомо где с пушечным выстрелом прорвала звуковой барьер — как и ночью, подскочил и грохнулся небосвод.

— Вот, дьявол, что делают! — услышал Сергей и оглянулся. Говорил тучный лысый человек. — Встретишь их — в зеленых кителях — простые парни... А смотри, что вытворяют! Не верится!

Сергей взволнованно молчал.

Лысый неодобрительно оглядел его.

— А я вам скажу: это те же космонавты. То же мужество, тот же героизм... Повседневный только... Так ли?

Сергей глядел вверх.

— Э-э! — сказал лысый. — Понимает это не всякий.

Новая стрела перечеркнула небо, со свистом скрылась в вышине — там с грохотом лопнул барьер. И Сергей подумал, что первым, наверно, взлетел Алексей. И овладело им неожиданно несбыточное желание взлететь самому, очутиться в заоблачной выси и хоть раз почувствовать, как придавливает тебя скорость и как самолет, оставив далеко внизу свой звук, все рвется в беспредельную темную синь... Сергей вдруг ясно представил себе Алексея. Увидел его в прошнурованном костюме, в скафандре, увидел его лицо, сосредоточенное, хмурое, и разглядел чужь приметную улыбку и шрам... Беспокойно защемило в груди.

Сергей оглянулся, поезд прибыл. Лысый торопился к своему вагону.

— Брат мой летает здесь! — крикнул Сергей. Лысый не обернулся, потому что поезд трогался и рев тепловоза заглушил слова. Сергей кинулся к поезду. На бегу еще раз крикнул в спину лысому: — Брат мой летает здесь! Младший!

В ту осень

Осень выдалась необыкновенно теплая. Дни стояли тихие, сонные, с застывшими в вышине облаками, с длинными белыми паутинами в неподвижном зыбком воздухе, с проселками, пропахшими жнивьем, и яблоками-падунцами. Казалось, в мире все дремлет.

Но покой, тишина той осени были обманчивы...

Одни мальчишки не понимали этого, они бредили подвигами, таскали на груди деревянные автоматы, маршировали и нестройно выкрикивали: «Ви-ва Ку-ба! Ви-ва Ку-ба!»

Женька был среди мальчишек, пожалуй, самым отчаянным романтиком, потому что старший брат Женьки, Виталий, служил на флоте, плавал на атомной подводной лодке, приезжал этой зимой в отпуск и порассказал такое!.. Даже сейчас у Женьки грудь выгибается колесом, когда вспоминает он о Витальке. Тайнственным шепотом поведал Женька мальчишкам, будто брат его плавал вокруг «шарика»...

Виталий обещался приехать осенью насовсем, должен был вот-вот явиться, и Женька изболелся весь ожидаючи. Когда представлял себе, как Виталька распахнет дверь, вскинет к бескозырке руку, рывкнет на весь дом: «Здравия желаю!», у него даже мокрота выступала в глазах, в горле першило.

В тот Виталькин приезд Женька не успел расспросить его обо всем интересном. И не потому, что недолго брат гостил, а потому, что мешала Зоя эта — жена Витальки. Прилепилась к нему — и чего прилепилась? Будто интересно знать ей про плаванье подо льдом, — отцу и Женьке Виталий об этом рассказывал.

Эх, и порасскажет он еще! Такого порасскажет!..

Вечером, как и вчера и позавчера, по радио опять говорили о Кубе. Но сегодня говорили что-то особенное: и голос у диктора был необычайный, и родители внимали ему с какими-то перепуганными, застывшими лицами. Но Женьке было все нипочем, оторвавшись от кружки с молоком, он радостно сказал:

— Вива Куба!

Отец поднял брови, покрутил головой и вздохнул. А мать запричитала:

— Ах, господи-господи, что делается! Вот и осень тебе. Жди, говорит, осенью... Ах, господи! Господи! Что будет? Жить и жить молодым бы, а их в пекло в самое!..

— Да-а, — сказал отец. — Но тут уж, если начнется заваруха, всем достанется. Вся земля дыбом встанет. Не убережешь и таких вот.

Женька встретился глазами с тоскующим материнским взглядом и спрыгнул с табуретки. Нацепив на шею автомат, выскочил из кухни. В постели долго лежал с открытыми глазами и все шептал решительно и весело: «Вива Куба! Вива Куба!»

За перегородкой появилась Зоя. Женька слышал, как она говорила что-то и плакала и как родители успокаивали ее.

Допоздна раздавались на кухне тревожные голоса, а поутру как раз и начался тот день, который необычно прожил Женька. Отец и мать давно были на работе, а Женька все спал да спал и не слышал, что в доме стонет кто-то. Постонет немного и затихнет, через полчаса опять стонет — беспомощно, жалобно стонет.

Пробудился Женька, когда через окно припекло солнце. Полежал, прислушиваясь. В доме было тихо, и все-таки что-то не так было. Женька скатился на пол, потихонечку открыл дверь в горницу, и глаза его в страхе расширились. На высокой кровати, неестественно выгнувшись, лежала Зоя. Голова ее была запрокинута, рот напряженно раскрыт, слышалось сдавленное:

— А-а-а-а...

Под ногами Женьки скрипнула половица — Зоя вздрогнула и опустила грудь. Медленно, как бы нехотя, повернула к двери голову. Лицо у нее было испуганное.

— Маму... Маму позови, — сказала она слабым голосом и всхлипнула. — Позови!..

Женька стоял, вытаращив глаза.

— Маму... Маму!..

Он опрометью бросился из дома.

Ничего не соображая, неся по улице. Проскочил всю деревню, вдруг вспомнил, что надо было сворачивать в прогон, и повернул назад. В проулке наскочил на мать. Мать охнула, схватила его за плечи, потрясла:

— Что?! Зоя?!.. Ах, господи — рожает...

Женька похлопал белесыми ресницами и как-то сразу успокоился. Ах, во-она!.. Рожать вздумала. А чего стонет? Все рожают. Тетя Таня родила, соседка Клавдия Ивановна родила...

— Идол! Что молчишь? Идол! — закричала на него мать. — Беги! Беги что есть мочи! В медпункт беги! К докторше!

Женька стоял.

— Да что же это такое!

Мать наградила Женьку шлепком, и тогда он поплелся в медпункт к докторше, как звали в деревне фельдшера.

Докторша у них пробыла недолго. Из горницы вышла, весело говоря что-то и смеясь, и Женька твердо решил, что Зоя могла и не стонать. Но мать, видно, думала по-другому, она повторяла:

— Вот беда-то. Легко ли, легко ли родить-то. Вот беда-то.

Женьке она сказала:

— Из дому ни шагу. И если что... Но я скоро. Скоро. А ты ни шагу. Я скоро.

Женька побродил по комнатам, по коридору. Съел на кухне кусок пирога с картошкой, выпил кружку молока и включил радио. Говорили о том же, о чем и вчера, и позавчера, и раньше; и Женька забылся и стал шептать: «Вива Куба». Заглянул в горницу—Зоя лежала с широко открытыми глазами и, прислушиваясь к чему-то, тяжело дышала.

Мать пригнала тихую кобылку Донку, запряженную в рессорную легкую телегу. Помогла Зое выйти, уложила ее на пышно взбитое душистое сено, укрыла одеялом и все причитала:

— Ах, господи! Я бы сама, сама бы свезла, да уж

и так отлучилась с работы... Изболелась сердцем: моторы включенные, а провода искрят — и скотный двор сожгу, и деревню всю... Вот идол-то (тыкала в Женьку пальцем) проспал день-деньской. Прибежал бы пораньше! А ты не бойся. Докторша говорит... Не бойся. Рядом тут, за леском. Рядом роддом.

Тут она повернулась к Женьке:

— Вези осторожно. Не встряхни. Дерево не задень. Смотри, миленький. Ну... С богом...

Дорога была засыпана желтыми листьями, а лес стоял в чем-то теплом и голубом, как дым, но дыму не было. Женька держал вожжи, иногда дергал их, но править и не собирался. На Зою не глядел. Подумаешь, рожать едет. Все рожают. И у всех тихо. Нет ничего и — ребенок. А ту-у-ут!.. Думал еще о привычке матери: «Господи-господи... С богом...» Сама же говорит, нет бога...

Зоя повозилась сзади. Сказала обиженно:

— Что ты надутый какой?.. Слышал? По радио вчера?..

Он не ответил.

Подождав, она продолжала горестно:

— И осень кончится, а Виталий не приедет.

Хоть она и жена Витальки, а ничего не знает. И Женька пояснил:

— Он приедет осенью. Говорил мне.

— И мне говорил. — Зоя пошмыгала носом, всхлинула: — Не приедет он осенью.

Сообщение ее поразило Женьку. Но он сразу же усомнился в нем. Раз обещался Виталька, значит, приедет — и все тут. В это ему хотелось верить, и он поверил. Презрительно скривил губы: и зачем Виталька рассказал Зое, что подводником служит? Тайну военную выдал. Женька никогда бы не выдал тайну.

Зоя перестала всхлипывать, но Женька услышал какие-то другие звуки, незнакомые, и оглянулся. Зоя лежала, вытянувшись. Лицо ее было искажено. Она закатила глаза и кусала губы. Одной рукой, до синевы белой, уцепилась в край одеяла, мяла его, комкала, другую тянула к Женьке — рука дрожала, перебирала пальцами.

Женьке сделалось страшно.

— Тр-р-р! — Он повис на вожжах и, когда лошадь

стала, метнулся к Зое. Сцепив зубы, Зоя стонала, и он с трудом понял ее просьбу:

— Помоги... слезть...

Неумело помогал он ей сойти, и они вместе съехали с телеги, почти упали на траву, и он опять помогал ей, помогал отползти от дороги за кусты.

Он думал, что Зоя умирает, и давился слезами, и шептал:

— Зоя! Зоенька! Зоенька! — А потом с ужасом глядел в ее налитые болью глаза и шевелящиеся губы и с отчаянием кричал:

— Что?.. Что?!

Догадался наконец: она просила его уйти.

Женька слышал, как, мучаясь, стонала и вскрикивала Зоя. Он, держась за голову, повизгивал и метался вокруг телеги. Долго метался, пока не раздался за кустами дикий, не слыханный Женькой вопль, вслед за этим тяжкий стон, и какой-то совершенно непонятный звук — то ли плач, то ли писк, и опять стон, и что-то похожее на сдавленный смех.

Женька окаменел. Все стихло — бросился к Зое. Увидел сначала на зеленой траве кровь — много крови — и снова застыл. Похолодел. Уж если кровь, столько крови!.. И он провалился во что-то темное — в свое первое потрясение, потому что Зои (с которой он только что разговаривал, которая только что плакала), — Зои уже не было. А вместо нее!.. И как взглянуть? Что делать?

Потом внутри у него что-то колыхнулось: он одновременно услышал тот самый непонятный звук — то ли плач, то ли писк — и увидел жалкую извиняющуюся улыбку Зои.

Звук усилился — раздался надрывный и ликующий детский плач, и если бы Женька мог слушать такое, он бы пришел в восторг от этого крика, возвещающего миру рождение нового человека. Но Женька совсем одурел. Как же так? Только что Зоя умирала, а теперь у нее болезненно-счастливое лицо, только что ничего не было — и вдруг этот плач?! Понятно: кричит ребенок, в кофту свою кутает Зоя ребенка!

Женька не помнил, откуда потом взялись две женщины, как они оттащили его от Зои, суетились, спрашивали зачем-то у Женьки ножик, охали, делали что-

то с Зоей там, за кустом, причитая без конца: «Миленькая! Одна, в лесу! Как же это? Мыслимо ли! Миленькая!»

Женщины уложили Зою на телегу, долго шли рядом, говорили, говорили что-то. Зоя слабым голосом повторила несколько раз: «Не надо... Теперь доеду». И женщины отстали, наконец исчезли... А Зоя лежала в душистом сене, откинув голову с искусанными губами, с бледным отрешенным лицом. Лежала, как неживая, и только руки ее были живыми — надежно, бережно прижимали к груди орущий сверток.

Женька ехал в оцепенении. В другое время этот беспричинный детский крик обозлил бы его и он бы с ненавистью думал о плаксе, но сейчас он был поражен появлением у Зои этого младенца, а в глазах все стояла та страшная кровь, и ему было не до вопля ребенка.

Когда ребенок затих, а Зоя пошевелилась, Женька обернулся. Зоя с любопытством и нежностью вглядывалась в то, что было в свертке.

— А-а, умирают, когда ребенка?.. Когда...

Женька не знал, как спросить, но Зоя поняла его, глядела испуганно.

— Умирают... — Ужаснулась сказанному. Добавила чуть слышно: — Но редко.

Женька съежился:

— Зачем же тогда?..

— Дурачок ты. — И Зоя засмеялась. И смех у нее был тот самый, который нравился Женьке, почему-то волновал его, которым смеялась она, когда приезжал Виталька.

Может, пошутила? Про смерть. Но он сам видел! И ему опять страшно сделалось. Зои могло уже не быть. Она бы уже не смеялась. И... какая бы она была? Одного покойника он видел — мужчина утонул, лежал синий весь. Женьке представились руки Зои, белые до синевы, — комкают, скребут одеяло, тянутся к нему, дрожат. Он рывком обернулся. Зоя улыбалась ему. Смятение охватило Женьку. Все не так в жизни было, как представлялось ему до этого дня. Все не так просто было.

В молчании доехали до поселка. У самого роддома Женька спросил:

— А ты? Ты не умрешь?

Лицо Зои искривилось.

— А я... — Она нервно всхлипнула: — Ведь думала, все уж. Ведь думала... — И заплакала.

Ее приняли женщины в белых, пахнущих остро халатах. Бережно сняли с телеги и унесли на брезентовых носилках.

Женька долго слонялся возле роддома. Цепляясь за наличники, заглядывал в окна. Зою отыскал-таки. Лежала она в угловой палате. Глаза у нее были закрыты, а лицо белое и неподвижное. Ребенка рядом не было. Женька долго и почему-то с уважением смотрел на Зою.

Назад возвращался все той же дорогой, засыпанной желтыми листьями, но не видел ни дороги, ни листьев этих, ни самого леса. Оторопело думал: «Вот это да! Умирают!» А он теперь знал, как страшно это, когда умирают.

Мать накинулась на него с расспросами, он отвечал односложно. Отвез. Не, ничего не случилось. Положили в палату. Нет, ей ничего не надо. Вдруг сказал, что она родила. Его затормошили, закричали на него, но он не мог ничего рассказать толком, и мать бросилась за порог — звонить в роддом.

Женька лежал, уставив глаза в синее, ночное окно, и на этот раз не шептал бездумно: «Вива Куба!» В воображении его переплетались отрывочные видения — черно-белые, цветные. Бородатые солдаты с автоматами и женщины в белых хрустящих халатах, копыта лошадей на желтых шелестящих листьях и искаженное болью лицо Зои, орущий сверток и зеленая трава в крови. А в голову лезли непосильные мысли о «ребенках» и о мертвецах.

Когда захотелось спать и откуда-то с выси, из далекого теплого марева, посыпались на него с искристым звоном осенние, каленые листья, он громко прошептал вдруг: «Вот это да! Умирают, когда ребенка!..» И тут же улыбнулся — уже чему-то другому, и сознание его заволокла колыхающаяся дымка. И видел он счастливые сны в ту синюю ночь и спал, улыбаясь.

Люли, люли, люли

Старик приходил обычно часа в два, но она с утра уже караулила его, выскакивала на улицу и еле сдерживалась, чтобы не бежать за околицу. Наконец почтарь появлялся — она замирала у калитки, поджидала, волнуясь и кляня старика за медлительность.

Тот еле волочил ноги, отдыхал поминутно — опирался на палку и подолгу стоял. Чуть разгибал спину, пересиливая боль в пояснице, глядел на избы, припоминал, кому что несет, и опять волочился от порядка к порядку.

Завидя ее, тоже останавливался. Натужно дышал раскрытым ртом в усы и бороду. Ей казалось, что он больше не сдвинется с места, и она подбегала:

— Дедушка! Я письмо жду. Есть письмо?

Старик не отвечал, она думала, что у него, наверно, совсем нет памяти и он давно уж таскает с собой для нее весточку.

— Мне письма нет? Дедушка! Письма не было?

Старик лишь сильнее дышал, судорожно двигая каждым, и тряслась его сивая борода, и ходили ходуном на палке сухие руки в коричневых подагрических пятнах, а в бесцветных слезящихся глазах было столько усталости и застарелой немочи, что ей становилось стыдно. И за свой вид, за короткий свой сарафан, чуть прикрывающий тело, за молодость и красоту, за ровный, сильный загар и вообще за то, что она так бессовестно здорова.

В дом она возвращалась грустная и, забывшись, не обращала какое-то время внимания на следившего за нею мальчика. Тот чувствовал в ней перемену, и зата-

ивал дыхание, и бледнел лицом. Но длилось это всякий раз недолго — она замечала наконец его настороженность и будто включала себе другое настроение: до следующего дня весело хлопотала по дому.

Скоблила тяжелым косарем белые, шелковистые полы, протирала мыльной водой смолеватые потолки, стены и с песнями танцевала возле окон, надраивая зубным порошком давно блестевшие зеркально стекла. Как есть, в купальнике, носилась с ведрами через огород, скатывалась под косогор к озеру.

Мальчик всюду сопровождал ее. Не сбежав еще с кручи, она бросала ведра. Ведра со звоном летели вниз, а она, обгоняя их, с разбегу прыгала в темную холодную воду этого круглого, непомерно глубокого озера.

Говорили, будто стоял на этом месте в далекие времена храм, да ушел под землю, и образовалось озеро в бездонном провале.

Мальчик, не задумываясь, с криком кидался следом за ней в черную, жуткую пучину и, шлепая по воде ладонями, плыл, стараясь догнать.

На середине озера она разворачивалась и плыла назад. Выскикивала из воды, подхватывала полные ведра и бежала вверх. Тут он ее настигал. Пригоршнями хватал из ведра воду и окатывал. Она визжала, и, громко смеясь, пыталась уйти, и доносила до крыльца наполовину расплескавшиеся ведра.

— Видишь, что ты наделал? Видишь?

Он знал, что она не умеет сердиться, и закатывался, а потом кидался к ней, обнимал и целовал мокрый ее живот.

Больше всего он любил ходить с ней в лавку, где она покупала хлеб, масло, конфеты и чай в пачках с нарисованными пальмами. Она надевала белые босоножки на высоких каблуках, и от этого становилась еще выше, и в обычном своем сарафане выглядела такой нарядной и красивой, что он вышагивал рядом с ней вдоль порядков с гордостью человека, знающего, что ему не зря завидуют.

Деревня глядела на них с любопытством, а однажды в лавке к мальчику склонился высокий мужчина с бородкой и усиками.

— А ты кто такой? Откуда взялся?

В лавке все обернулись к ним, разглядывали теперь,

не стесняясь. Мальчик уцепился за руку женщины, прижался к ней.

— Ах, простите! — сказал мужчина с легким наклоном головы. — Я не заметил вас.

Она знала, что не заметить ее нельзя, и засмеялась, показывая два стройных ряда белых зубов.

С того дня по вечерам к ним стали приходить трое мужчин. Это были квартировавшие в деревне геологи — шумные, загорелые до матовой сизости, светлоглазые и с выгоревшими на солнце волосами.

Приходили они с вином и закуской — множеством всяких консервов. Мужчина с бородкой и усиками, тоже выгоревшими, приносил исцарапанную, побитую гитару, и по вечерам из их дома на всю деревню разносились веселые, молодые голоса, бречание струн и песни.

На гитаре, оказывается, играли все, все трое геологов; бородач пел баритоном (мальчик всегда с нетерпением ждал, когда тот начнет, и с удовольствием вслушивался в мягкий и звучный, с некоторой сипловатостью голос, хоть и не знал, что это баритон); с хозяйкой дома танцевали все по очереди, но бородач кружил ее чаще. Наклоняясь к самому уху, что-то говорил глуховато, она хохотала, закидывая кверху лицо, и качала головой. После каждого танца садилась рядом с мальчиком, заглядывала ему в глаза, обнимала.

Он был счастлив, потому что, хоть она и танцевала и веселилась с геологами, главным здесь был он. Геологи уже вваливались в дом, разгружали на стол вино и закуску, тренькали на гитаре, говорили о работе, шептались и хохотали, а она еще бегала в одном купальнике, поливала мальчику на руки, мыла ему в тазу ноги, собирала поесть и лишь потом продевала руки в бретельки сарафана, застегивала впереди длинный ряд блестящих пуговиц и садилась к столу. Но, и веселясь, не забывала о мальчике: частенько заглядывала в глаза — не клонит ли его в сон? Иногда мальчик нарочно делал вид, что хочет спать, и она опять забывала о гостях. Бегала вытрясать простынки и одеяльце, стелила ему на топчане и с хлопаньем взбивала подушки на кровати, где спала сама.

Геологи поднимались, желали им вежливо спокойной ночи. Бородач на прощание опять приглушенно

говорил что-то, склоняясь к ее уху, в ответ она только смеялась. Геологи уходили, а мальчик оставался с ней. Она убирала со стола, мыла посуду и отвечала на его вопросы, и они еще долго не спали.

Письмо, которое она так ждала, не старик принес, а его внучка, длинноногая, глазастая девчонка лет четырнадцати. Старика перед тем не было два дня, а на третий день явилась эта девчонка, вошла прямо в дом, когда они еще завтракали.

— Вам. Деда говорит, важное, велел отнести сразу.

Девчонка рассказывала, как старик собирался давече идти, да не встал, и сказал, что час его, видно, пробил, и упросил ее сбегать за почтой: мол, очень письма ждут...

Девчонка тараторила, а сама сверлила глазами платье, висевшее на стуле. Платье было такое яркое, что туда, где падал на него солнечный свет, было больно глядеть.

Женщина не слышала, что говорит девчонка, да и не видела ее. В спешке разорвала пополам конверт вместе с вложенным внутрь листом бумаги. Держа по половинке в каждой руке, побежала по строчкам глазами, прыснула, дочитала, краснея, и кинулась надевать босоножки. Прямо на купальник натянула узкое, яркое, как радуга, платье. Вдруг увидела мальчика, его встревоженное застывшее лицо и в растерянности остановилась. Присела перед мальчиком:

— Все, мой хороший! Ехать надо.

Подождала чего-то и поднялась. Повернулась на каблуках перед зеркалом — ткань полыхнула в солнечном свете.

— Надо, мой хороший. Надо.

И, глядясь в зеркало, стянула платье через голову, кинула на стул.

Постояла в задумчивости и опять надела примелькавшийся уже сарафан.

— Давай собираться.

Мальчика нарядила во все новое, привезенное ею из города и хранимое в тайне от него до этого дня. С торжественным видом достала поочередно из своего чемодана белую накрахмаленную рубашечку, короткие синие штанишки, полосатые носки и красные, вкусно пахнущие сандалетки. А всю его старую одежду запи-

хала в большую хозяйственную сумку поверх игрушек и тонких, пестро раскрашенных книжек.

Одевая, приговаривала:

— А ну-ка примерь... В самую пору! Как угадала! А это... Ну-ка, ну-ка...

Он выполнял покорно ее просьбы: садился, вставал, поворачивался и опять садился, но делал все это молча, без радости.

Напоследок она причесала ему волосы и взяла за руку.

— Пойдем?

Он взглянул на нее расширенными глазами:

— А платье?

— Пусть висит. В нем душно, в сарафане легче.

Тогда он показал глазами на все другое, что привезла она сюда и оставляла теперь в этом чужом доме, — на ее раскрытый чемодан, на расчески, баночки и склянки, расставленные и разложенные возле зеркала.

— Пусть, пусть, — сказала она.

— А мы куда?

— К бабушке. Заждалась нас бабушка. Блинами тебя накормит. Ведь любишь блины?

— А ты куда?

— И я к бабушке.

— А потом? В город?

— И в город.

Он глядел на нее и опять бледнел. Сколько помнил себя мальчик, она приезжала каждое лето, гостила у них с бабушкой и снова уезжала, а он долго-долго ждал после нового лета — видел ее в снах и, просыпаясь, плакал. Он знал: наступит минута, когда скажет она, что ей пора ехать, но такая минута ударила в этот раз слишком быстро и так неожиданно, что осень, сырая и скучная осень, и зима с ее непролазными сугробами и скулящими выюгами, которые уже стояли у него в глазах, представлялись теперь, после этого лета, такими тягучими, такими невыносимо долгими, что он заранее приходил в тоску и отчаяние, думая о них, и в нем вскипало горе, не находившее пока себе выхода.

Сюда, в эту знакомую мальчику местность, они приехали, а теперь не стали ждать автобуса и отправились в путь пешком. Шли деревней, как всегда в этот

час, пустынной, лугами, усеянными желтым курослепом, мелкими лиловыми колокольчиками да синими цветами истода. Очутились в лесу. Влажно-тугая тропа вилась над речкой, то скатываясь под уклон, то ныряя в орешник, то выскакивая к круче. Из-под ног стреляли кузнечики, в зелени мелькали лимонные крылья бабочек, а в реке, оставляя круги, плескалась рыба. Лето стояло дождливо-теплое — травы роскошно загустели, вымахали в рост мальчика, воздух в лесу был сырой и пахучий, — казалось, стоит его еще немного разбавить влагой, и не вдыхай, а пей большими глотками.

Женщина без умолку говорила. Рассказывала обо всем, что им встречалось, — и о кузнечиках, и о бабочках, и о рыбах. Убегала от тропы, звала за собой мальчика:

— Только посмотри!.. Что делается!..

Мальчик подходил, глядел на бугор, поросший лопчатыми листьями земляники, а женщина проводила рукой по листьям, и он видел россыпь крупных и темных, перезрелых ягод.

— Ешь, — говорила женщина, — знаешь, какие они сладкие?!

Он стоял и ждал, когда наберет она полную горсть, и прикивал к ее руке губами, и казалось ему, что это не ягоды, а ладони ее так сладко, по-земляничному пахнут...

Отдыхали они в заболоченной низине, возле родника. Она, видно, знала этот родник, потому что, как только река ушла в сторону, а справа, за ольшаником обозначилась лощина, она свернула с тропы, и побежала напрямик, и очутилась возле маленького, спрятанного в травах водоема. Неглубокая, круглая лунка была заполнена до краев такой чистой, такой прозрачной водой, что прозрачность эта скрадывала глубину, и пульсирующий на дне ключик бил, казалось, у самой поверхности, и непонятным становилось, почему текут, а не выскакивают в воздух прыгающие там песчинки.

Возле родника лежали в траве две подгнившие, но гладкие сверху плахи. Женщина отыскала возле них скрученный из бересты туесок, и они удобно сидели и пили быстро вытекающую из туеска воду — вкусную и до того холодную, что от нее ломило горло.

Женщина рассказала мальчику быль. Родник тот называли Плакучей Крыницей, потому что стоял некогда на том месте колодец, а жил возле колодца лесник, а у лесника была красивая, но неверная жена; и ушла от лесника жена с проезжим молодцем... Ушла да вернулась, но поздно было уже: не застала лесника в живых и дотягивала век свой одна, плакала каждый день над колодцем, пока не сгнил сруб — теперь в крынице осталось лишь одно бревнышко...

И мальчик увидел в воде, под травой край бревна. Ему стало грустно, захотелось плакать, но эта грусть была сладкой, как тот земляничный запах от рук женщины, и он подумал, что хорошо было бы вечно сидеть здесь, над родником, вечно слушать про лесника и неверную его лесничиху.

— О-о! Растревожила я тебя! — воскликнула женщина и засмеялась. Засмеялась тем самым смехом, каким отвечала бородачу, шептавшему ей что-то на ухо.— Бежим, бежим дальше! Бабушка заждалась! Блины печет, гостей высматривает!

Она потащила мальчика. И точно, ждала их бабушка. Усадила обедать за дощатый стол под вишнями, гладила мальчика по голове и потчевала блинами с вареньем. В саду было не жарко, в цветнике гудели пчелы, а над столом вились полосатые осы, лезли в варенье. Он безучастно глядел на ос, послушно и нехотя ел и все ждал, ждал чего-то. А когда женщина обняла его, целуя на прощанье, стала говорить, что мальчик он хороший, что будет слушаться бабушку, и все есть, и мыть перед сном ноги, он весь напрягся и, ничего не понимая, глядел на нее сухими глазами.

И когда женщина ушла, не плакал. Весь день был тих и пасмурен, весь день молчал, но вечером, когда бабушка готовила ему постель, горе его прорвалось наружу — он вдруг залился такими обильными, такими крупными и неудержимыми слезами, что бабушка вконец растерялась и никак не могла унять. Уговаривала, утешала, как могла. Пробовала рассказывать сказки, тоже всплакнула, а под конец стала баюкать, как маленького, и петь колыбельную — ту самую, какую пела над коляской дочери и какую некогда ей самой пела мать.

Люли-люли, лю-юу-у-ли,
Приле-тели гу-у-ули,
Сели на воро-о-отах
В червон-неньких бо-о-тах...

Она убаюкивала, пела, а он плакал. Плакал, плакал и плакал, потому что впереди у него не было больше светлых дней и ждали его впереди лишь мрак да скука, потому что не мог он жить больше вдали от самой красивой и ласковой, от самой близкой и нужной ему женщины — от своей мамы.

Бабушке было жаль его, ей казалась судьба мальчика горькой, и не знала она, как нужна ему сейчас печаль, не догадывалась, что плачет он теми живительными, врачующими душу слезами, какие никогда не приходят, наверно, к взрослому человеку.

Незаметно и быстро пройдут, улетят годы — в прошлом окажется вдруг детство, и все, что связано было с этой счастливой порой, сольется воедино, и горючие слезы мальчика осядут в памяти теплыми дождями да знойным светом вольготного того лета, взойдут синими цветами истода да молодым смехом белозубой матери, и останутся с ним на всю жизнь в воспоминаниях, как навсегда остается с человеком редкий, незабываемый сон.

День последний

1

Умер...

...Гроб посреди горницы, наискосок. Отец!.. Черные впалые глазницы... Надо подойти, наверно, заплакать—старухи в черном плачут. Стою у двери, каменею...

До этой минуты я видел его хохочущим. Прыгаю после грозы по лужам в траве, кричу что-то несусветное, а он стоит на крыльце — тяжелые сапоги, выгоревшая рубашка, во всю спину заплата... И хохочет—широко открытый щербатый рот, тусклый седой хохолок над темным, загорелым лбом, и руки на перилах — огромные работающие руки...

«...Придет, бывала-ча, на ферму, глянет: «А-а, делов-то! Тут мне-ка и делать неча...»

...О чем-то спрашивают, кому-то дают деньги, женщины кормят кого-то в закутках, мужики пьют водку, кто-то упрекает меня — не угостил шофера, который повезет гроб... В этом доме еще обязаны угощать...

Взялся за гроб — отстранили: «Тебе нельзя». Я покорно отошел, но все боялся, как бы не опрокинули гроб...

Помню музыкантов — в тени, на зеленой траве. Слышу оркестр, вижу огромную толпу одетых в светлые людей, помню свое безучастие, сухие глаза. У мастеровских, где работал отец, шествие останавливается на солнцепеке, кто-то появляется над толпой, говорит что-то, слышен плач...

Как добрались до кладбища — не помню. Меня подтолкнули: «Прощайся». Прикладываюсь губами ко лбу отца, лоб, как земля, холодный...

Тупые удары молотка, торопливый, поспешный какой-то стук земли по крышке гроба...

В горнице вместо гроба длинные столы — тарелки с едой, бутылки с водкой. Приходят люди, пьют, едят и уходят. Говорят ли о чем, молчат ли — не знаю...

Утро. Опять люди. Приносят памятник, сваренный из железа; растолковывают, что надо делать, чтобы установить памятник. Я ничего не могу сообразить...

Дня через два кто-то берется помочь мне. Могила осела, провалилась. Мы поправляем могилу, устанавливаем памятник, огораживаем. Все это красим веселыми красками...

Помню, как ненадолго пришел в себя.

У завалинки сочный пырей, на траве желтые крылья бабочек. Издали косится на меня голодная собака. Отец любил ее, заботился о ней. Собаку кто-то отвязал, собака натаскала полную будку лошадиных копыт, будку печет солнце, над будкой клубятся и жужжат мухи. Жужжат, жужжат!

Валюсь у крыльца, и катаюсь по земле, и вою...

2

Прошло семь лет. Иду лугами. Тропа пропадает, вновь появляется, опять пропадает; в бескрайних травах тонут озера, открываются, когда подойдешь вплотную. Травы еще не созрели, но где-то кто-то уже пробует косу. Птиц в траве тьма-тьмушая. Не взлетают, притаились. Остановишься, постоишь — с треском вырвется из-под ног бекас, вытянет вперед шило и низко-низко стремительно уносится прочь. И опять садится. Но тут взлетают потревоженные чибисы: «Чьи вы? Чьи вы?»

«Живности всякой, птиц в лугах тех...» — это последние слова, которые сказал мне отец...

Сердце сжимается. И уж в какой раз я чувствую вину перед отцом. А в чем я виноват?.. Я высылал ему деньги. Писал письма. Приезжал в гости. Последний раз гостил незадолго до смерти отца. Три месяца жил у него...

Знойное было лето, с частыми грозами... Во мне тогда прорвалось что-то, и наружу выплеснулась какая-то яростная вспышка жизненных сил, и жил я взаллеб, и мне постоянно не хватало времени.

Только пробуждался утром — слышал звон туго натянутых струн; струны эти были во мне, и нужно было немедленно отпустить колки — иначе они лопнут. Я вскакивал, видел свои холсты — меня охватывало нетерпение: к холстам! Быстрее! Быстрее!..

Палитра, кисти, краски — стоит мне взять их в руки, они исчезают, сливаются со мной, и чувствую я, как входит в меня какая-то волшебная сила, и я боюсь расплескать ее, растерять, я боюсь, чтобы кто-нибудь не помешал мне, и работаю, как одержимый, и мертвый холст оживает.

Я отбрасывал одеяло, кидался из дома, бежал к реке, с разбегу прыгал в воду, плыл рывками — быстрее!

А на берегу уже стояла Вера. Дни были жаркие, и Вера ходила босая, в одном сарафане, и ветер трепал сарафан и обнажал тело, покрытое ровным золотистым загаром, и когда я видел Веру, во мне опять поднимался звон, и я не мог медлить, я вскакивал из воды, хватал Веру в охапку, и она обвивала мою шею руками и хохотала:

— О господи! Ты не видел до меня женщины?!

У меня тогда все было так хорошо, так удачно все складывалось, что я на все глядел глазами счастливца.

Не забыть грозы, от которой бежал по голому полю. Хлестал ливень; от низких туч было темно; над головой ослепительно лопались молнии, с грохотом рушились рядышком в землю; я падал, вскакивал, бежал в ужасе; гибель казалась неминуемой; а в глубине где-то, как всегда в то лето, верилось в удачу.

В деревню я прибежал, когда дождь все еще лил, но гроза уже уходила и была нестрашна; сбоку откуда-то прорвалось солнце, и посеребрило нити дождя, и сделало осязаемым плеск струй, что падали с крыши. Вот тогда я и прыгал по лужам в траве и кричал несусветное, а отец стоял на крыльце и хохотал...

Я тоже захохотал и кинулся мимо него в сени, чтобы сбросить мокрое, схватить палитру, кисти и швырять, швырять на холст то необыкновенное небо, какого мне ни разу не увидеть больше, и выплескивать, лить на холст ту грозу, которая перемешала во мне все вместе: и воду, и огонь, и небо, и землю.

И весь день тот я провел с палитрой в руках, а вечером побежал к Вере и с ней ушел в луга; и мы раз-

рыли копну свежего сена и, счастливые, не заметили, как промелькнула короткая летняя ночь.

И так целое лето каждый день все повторялось. Мне далеки были заботы отца, и с ним мне было неинтересно. С детства он был привязан к бороне и сохе; всю гражданскую войну прожил где-то в болотах Полесья — плотничал, столярничал в глухих белорусских весках; в эту войну, будучи в армии, тоже не воевал, а работал. Строил что-то... Иной раз, чтобы исполнить просьбу отца, помочь ему по хозяйству, я с досадой отрывал время от живописи или от свиданий с Верой.

Теперь вспоминаю по крупицам все, что он рассказывал о себе, и жалею, что знаю так мало...

Несколько раз я ходил с ним косить. Уже стоял сентябрь. Выдался он влажным и теплым. Солнечным. Густо разрослись отавы. Сеновал отца был забит лесным метельчатым сеном с желто-лиловыми цветами иван-да-марьи, с бородавчатыми веточками бересклета и хрусткими лапками папоротника; но отец не мог равнодушно видеть, как пропадает отава, и каждый день отправлялся косить молодую осоку.

Уходили мы — чуть брезжило. Шли увлажненным росой проселком, сворачивали в лес. Бренчали косы, задевая ветки, по голенищам хлестал папоротник, резиновые сапоги, грязные на проселке, отмывались. Между высоченными темными елями открывался вдруг светлый плоскодонный лог — будто кусок футбольного поля среди черных скал. По краю лога, под лапами елей, в сыром черном русле струился ручей. Появлялось почти непреодолимое желание перенести все это на холст... Мы проводили брусками по отбитым с вечера косам и со взжиканьем врезались в луг. Охватывал азарт — пошире захватить прокос, пониже и поровнее срезать, положить повыше вал. Я чувствовал, как разогревается тело, и обо всем, кроме косьбы, забывал.

Когда отец молча вешал на ель косу, я уже не ощущал ни рук, ни ног, а только слышал усталый гуд во всем теле.

Мы садились посреди луга, на солнце. Из ветхой полевой сумки отец доставал вареные яйца, бутылки с молоком, черствый хлеб. Резал брусочками темную застарелую ветчину и извлекал из ватника четвертинку водки.

Мы пили из горлышка и закусывали крутыми яйцами, пахучей твердой ветчиной. За все утро отец произносил первое слово:

— Хорошо.

Завтрак мы заканчивали молча, отец убирал в сумку то, что оставалось от завтрака, и сидел, отдыхая. Я ложился, и тогда он начинал говорить, скупно роняя фразы. Рассказывал о своем детстве, о том, каким был в парнях, как познакомился с моей матерью и, по уговору с ней, выкрал ее у неуступчивых богатых родителей и как умирала мать после родов. Меня она родила тогда...

Рассказывал и про войну. Про бомбежки, про то, как саперы часами работали, стоя в ледяной воде под обстрелом, и как он тонул, когда артиллерийский налет накрыл переправу...

Слушал я плохо, думал о своем — мало запомнилось. В памяти остался лишь доверительный тон, каким разговаривал со мной отец, мое безразличие к его словам да то, что он рассказывал, когда мы косили с ним в последний раз.

Погода, помню, испортилась. Небо заволокло, деревья насупились, стали совсем черными, над вершинами куражился ветер, а отец, опустившись на сбитую в кучу траву, произнес свое «хорошо» еще до того, как мы стали есть.

А когда я отхлебнул из горлышка водки, отец снова заговорил. Он сказал:

— А теперь хорошо. На душе хорошо. Чисто.

Я уминал завтрак и думал о своих холстах, думал о Вере и видел, как бегу к ней, вернувшись с покоса. Отец глядел поверх моей головы и рассказывал:

— В восемнадцатом стряслось это... Еланка точно такая была. Взгляну — вспоминаю в одночасье. Точно такая. Разве посуше чуть... Третий взвод наш — вон там, у мочажины, в две шеренги. А они — вот тут, у былки. К расстрелу приговоренные. Промеж них девка была. Добрая девка, вроде Верки твоей!..

Отец не взглянул на меня, и я был рад этому и представлял себе, как Вера бросится мне навстречу, когда я приду к ней, и как я буду обнимать Веру. А отец не торопился вставать, продолжал говорить:

— Два мужика. Тех я запомнил. А с ними —

Колосков. Друг-приятель. Недолго, а все ж — сообщавшей кормили в окопах, махрой делились... Ямину вырыли — аккурат та мочажина, — понурились, ждут...

Отец долго молчал. Начал моросить дождь. По рукам потекли струи, и я обрадовался: не будем же мы косить под дождем. Отец отряхнул руки и поднялся.

— Может, и взял бы я грех на душу, да Колосков уберег. Топчется, рот перекосил, уставился и буравит, одного меня вроде буравит. Ну, и затекло во мне все — руки, ноги. Команды не слышал вроде. Приклады вскинулись, а мой — у ноги. Их высокородие подскакивают, ручкой по кобуре царапают, а Колосков буравит, ну, я и-и р-раз! С левого плеча... Их высокородие и плюхнулись — через мочажинник да в мочажину...

Мы возвращались домой под дождем. И небо, и воздух, и земля, и одежда наша — все пропиталось влагой; а сверху сыпало и сыпало — мелко, убористо. Я думал, что хорошо бы в такую погоду привести Веру к нам в дом и чтобы отец ушел куда-нибудь, и представлял себе, как замечательно было бы заниматься своими холстами под шум дождя на просторной светлой веранде, и знать, что в горнице Вера, и бросать иногда кисти, и бегать в горницу.

Отец брел рядом, ссутулившись, и, быть может, тогда уже был тяжело болен; и мне тогда же надо было увезти его в город, к профессорам, выхлопотать ему путевку в санаторий; быть может, было еще не поздно; но я не замечал, что он усталый и старый, и не подумал, что он больной. Он всегда казался мне одинаковым, и я не торопился обнять его за плечи, заглянуть ему в глаза — у меня для этого впереди была уйма времени.

Я только спросил, а что было дальше с той историей, с их высокородием; отец сказал:

— А ничего. Без команды стрелять — кто станет... А теперь хорошо. На душе чисто.

Мы докосили тогда осоку, вытащили ее из воды, а через несколько дней я уехал вместе с Верой, оставив отцу досушивать и вывозить сено.

Я беспечно махал ему на прощанье, кричал: «Жди на будущий год! Приеду! Обязательно!» Кричал, не зная точно, смогу ли приехать и захочу ли.

Он тоже махал, и ветер ерошил седой хохолок над его загорелым лбом, и он звал:

— Приезжай к сенокосу. Куриные болота осушили мы. Чапыга да мочажины были, а теперь травы посеяны. Луга! И час, и два идешь — луга, луга. Живности всякой, птиц в лугах тех...

И вот я иду этими лугами и чувствую боль в груди... Потом останавливаюсь: издали узнаю этот бугор, эти косматые березы на бугре — корявые стволы, сухие торчащие суки, обломанные, мертвые верхушки. На этом бугре, меж двух проселков, старое сельское кладбище. Там — отец.

Всю неделю твердила Лена, что в субботу они уедут на два дня в лес за черникой — год урожайный, весь город тащит корзинами ягоды. Касаткин слышал и не слышал, о чем говорит жена, не возражал ей, потому что работа у него не клеилась и ему все равно было, куда ехать и зачем. Но в пятницу, в канун поездки, когда Лена ни о чем уже больше не думала, кроме черники, Касаткин вдруг ощутил, что может наконец закончить картину, которую последние месяцы не снимал с мольберта, подолгу простаивая перед ней ежедневно без всякой пользы.

Весь день он работал, с радостью сознавая, что нашел-таки то, что чувствовал постоянно, почти видел и что никак не давалось.

На холсте была изображена река. Солнце село, деревья за рекой стояли черными силуэтами, за деревьями проглядывала синяя кайма леса и золотые вечерние облака, а впереди была широкая заводь, от края до края залитая отражением огненного закатного неба.

Когда Лена вернулась с работы, Касаткин, усталый и счастливый, сказал:

— Два-три дня — и все, закончу.

— Вот и хорошо, — беспечно ответила Лена. — Вернемся — закончишь.

— Нет, — сказал Касаткин. — Я никуда не поеду. Не могу.

Вот тогда и началось это. Лена расстроилась, обиделась на него.

Он не как все, и жить с ним невозможно. Он как торжник, и с ним она сохнет. Они никуда не ходят, к себе никого не приглашают — нельзя: квартира забита

холстами. Сам он всегда зачуханный, перемазанный, а толку с его пачкотни никакой — ни славы, ни денег...

Касаткин взорвался. Закричал, что он неудачник, а раз жене хочется сладкой жизни, пусть ищет себе другого, удачливого. Пусть уходит...

По натуре своей он был человек мягкий, всегда уступал Лене, и когда вдруг закричал, она с любопытством уставилась на него. Усмехаясь, выждала, когда он умолкнет, и как-то сразу успокоилась. Выложила из корзины половину всего, что было закуплено для поездки, проговорила негромко:

— И без тебя съезжу, конечно. А о том, что сказал, еще пожалеешь. Пожалеешь.

И ушла.

Касаткин представлял себе, как Лена одна явится к Виктору и как они укатят на «Запорожце» в Мещеру за ягодами. Место Касаткина рядом с Виктором займут корзины, а Лена всю дорогу будет шептаться на заднем сиденье с Варей, женой Виктора. Будет жаловаться на Касаткина...

И он видел Лену, ее вьющиеся каштановые волосы, светлые карие глаза, которые почему-то смеялись...

Лена красива. Очень красива. А у Касаткина внешность самая обыкновенная — волосы неопределенного цвета, нос ни к черту. Одни глаза, пожалуй, приметные — косо поставленные, зеленоватые, с острым, оценивающим прищуром. Но чего стоят глаза, если у тебя заурядная внешность!..

Касаткин часто удивлялся, как это Лена пошла за него, и гордился, что она — его жена, но теперь, поссорившись с ней, он думал, что сделал глупость, женившись на Лене. Такой женщине нужен совсем другой муж, такой, который бы дышать на нее боялся. А ему нужна не такая жена. Лена не понимает его, мешает ему, отбивает его от работы, в которой весь смысл жизни.

Он взялся было за палитру, постоял перед мольбертом, настраивая себя на работу, думая о том, с чего начнет завтра и как будет писать, но душевное равновесие, необходимое для работы над этой картиной, было утрачено, и он понимал, что и день, и два может топтаться теперь с кистями в руках, а толку не будет — раздраженность его обязательно выльется на холст, и картину он испортит...

Что за жизнь у него! И зачем ему эти мучения?! Ни выходных у него, ни праздников. А другие наслаждаются жизнью — кто за ягодами ездит, кто на рыбалку... Он ни разу на озере не был, на Воехре, а там, говорят, хорошо ловится рыба, растут белые лилии...

С попутной машины Касаткин слез на шоссе, потом километров пять плелся проселком. На базу рыболовов-любителей пришел ночью, в темноте, в морозящий дождь, и не видел, какой тут лес и хорошо тут или плохо, — сразу завалился спать. Под утро его раз за разом трижды будил треск мотоциклов — к озеру собирались ранние рыболовы. Зорьку Касаткин проспал и выбрался на крыльцо, когда солнце взошло и было уже тепло.

База стояла в сосновом бору. К озеру через топь вели хлипкие дощатые мосточки, на которых едва можно было разминуться при встрече. От туч, затянувших с вечера небо, не осталось ни облачка, а лес, промытый ночью дождем, исходил пьяными запахами, налитывая воздух белесым теплым туманом, и Касаткин, выйдя на крыльцо, сразу захмелел от этого высыхающего белесого тумана, от этих лесных запахов и подумал, что не зря перся в такую даль, таща на себе удочки, спиннинг, этюдник с холстом и красками и рюкзак, доверху набитый всякой снедью. Здесь он забудет и про жену, и про их размолвку, и время не уйдет у него зря — с лодки он будет писать для картины этюды...

Когда он собрался уже взвалить на себя в дополнение к тем грузам, которые принес сюда, еще и весла и двинуться со всем багажом к озеру, послышалось треньканье велосипедных спиц, и мимо базы, взглянув на Касаткина, проехала велосипедистка.

Касаткину показалось, что глаза у девушки необыкновенной небесной синевы, хотя позднее он разглядел, что никакие они не синие, а просто серые, и еще представлялась она ему ослепительной блондинкой, а потом он понял, что волосы у нее светло-русые и она выбеливает их перекисью водорода, и это заметно там, где волосы отрастают...

Желание писать портрет этой девушки овладело Касаткиным сразу и окончательно освободило его от груза прежних забот.

Работая, Касаткин всегда дорожил первоначальным своим видением каждой вещи и стремился, чтобы его полотна несли в себе этот заряд, усиленный и обогащенный цветом и светом. Во всем облике промелькнувшей мимо него девушки, в том, как она поглядела на него, в ее открытом, доверчивом взгляде, в улыбке — радостной, полной беспредельной веры девушки в свое счастье, — во всем этом Касаткину увиделся образ самой юности, самой чистоты, и Касаткин с радостью подумал: «Вот, вот что надо писать!»

Вдоль берега озера росла черная ольха, сам берег утопал в осоке, и неприятно было, наверно, пробираться через эту осоку по вязкому илистому дну к воде, но там, где остановилась девушка, ольха расступилась, и среди осоки открылась небольшая песчаная отмель.

— Какое здесь дно? — подойдя, спросил Касаткин и бросил на землю весла.

— Хорошее, — ответила девушка, поворачивая к нему голову.

— А рыбу ловить здесь можно?

— Можно. Хотя лучше все же пройти немного дальше.

— Я буду вам мешать?

— Нет. Для вас лучше. Здесь купаются, пугают рыбу.

Касаткин откровенно любовался девушкой, шурился, прикидывая, как лучше ее изобразить.

— Я половлю немного, а потом уйду.

— Как хотите. — Девушка пожала плечами. Прислонила велосипед к ольхе и села. С интересом наблюдала, как он налаживал спиннинг — закреплял катушку, привязывал грузило, блесну, — как раздевался.

— Купаться будете? — спросил Касаткин.

— Буду.

— Искупаемся?

— Искупаемся.

Она встала и начала медленно снимать платье. Глядеть на нее по-прежнему было неприлично, и он отвел глаза.

— Плыдем?

— Плывите. Я за вами.

Касаткин с разбегу бросился в озеро и поплыл саженками, высовываясь из воды чуть ли не до пояса. Он

быстро устал и оглянулся. Девушка была рядом. Она догнала Касаткина и кролем продолжала плыть дальше, и Касаткину пришлось тянуться сзади. Они были на середине, и он подумал, что никогда еще не решался заплывать так далеко от берега. В груди ощущалось застывшее сердце — так и утонуть можно, и останутся незаконченными картины...

— Девушка, — позвал Касаткин, глотая воду, — а вы не русалка?

Она дождалась его.

— Рискнул плыть с вами... Не утащите в пучину?

Она засмеялась. Волосы ее намокли, висели потемневшими прядями, и лицо от этого казалось еще более юным и милым.

— Плыдем на тот берег, — предложила она.

Касаткин со страхом подумал, что ему и так нелегко будет вернуться, а дважды пересечь озеро — это уж слишком.

— Нет, — сказал он. — Времени жалко.

Теперь он боялся, как бы она опять не перешла на кроль и ему снова не пришлось бы одному плестись сзади, и чтобы удержать ее рядом и не думать о глубине, которая под ним, Касаткин старался поддерживать разговор.

Когда до берега было уже недалеко, Касаткин почувствовал, как колотится его сердце, подумал, что тут вот и может случиться с ним самое страшное, ему даже показалось, что вот сейчас он захлебнется, и тогда он с яростью изо всех сил поплыл к берегу.

Из воды выбрался, пошатываясь, и сразу сел. А девушка долго еще плавала, скрывалась за осокой и вышла на берег, когда Касаткин уже отдышался и согрелся на солнце. В волосах у нее была роскошная белая лилия.

— Зря сорвала. — Девушка села рядом с ним. — Только вынешь из воды — она и завяла, погибла.

Касаткин глядел на нее с восторгом.

— Спиннингом рыбу ловили?

— Нет. Научите.

— Научу. А как вас зовут?

— Угадайте. Русалка.

Касаткин улыбнулся и стал старательно разъяснять девушке, как размахиваться спиннингом, как бросать

блесну и как останавливать катушку, чтобы леса не закручивалась в петли.

Порой он вспоминал об оставленной картине, но причину, приведшую его на озеро, забыл, теперь казалось ему, что, очутись он сейчас в своей квартире, перед мольбертом, он тут же примется за работу и будет писать и писать, без обеда, без завтрака.

— Мне пора, — заявила вдруг девушка.

— Как пора? — удивился Касаткин. — А портрет?

— Не понимаю. — Девушка тоже удивилась.

— Я хотел написать ваш портрет.

— А вы кто? Вы художник?

— Да. И мне думается, портрет удастся. Вы юная, обаятельная. Быть может, получится новая Джоконда...

— Напишите, — сказала с улыбкой девушка. — Только в другой раз. А теперь мне некогда.

Она вручила Касаткину спиннинг, натянула неторопливо платье и вывела на тропу велосипед.

— Вы кто? Как ваше имя?

— Зовут меня Таней. Буду пианисткой. Учусь в городе.

— В каком?

— Это секрет.

Она несколько раз оборачивалась и махала ему, а Касаткин глядел ей вслед и ощущал, как разрастается в нем сиротливое чувство утраты.

«Это что же такое? — подумал он. — Ну, ушла и ушла — мне-то что?..»

Сейчас он примется за этюды, а потом уедет домой. Его ждет картина... А портрет он может написать по памяти — сколько бы теперь ни прошло времени, а в нем навсегда останется ощущение юности и чистоты, которые исходили от этой девушки...

Он погрузился в лодку, сел за весла, отплыл немного от берега и почувствовал, что не хочет браться за кисти и что домой возвращаться ему тоже не хочется. Вспоминать о работе было даже неприятно. Такого он никогда еще не испытывал и с тревогой подумал снова: «Это что же такое?.. Время уходит зря — так и жизнь утекает. Безвозвратно и бесполезно. Бессмысленно...»

Весь день провел он в лодке, таская по озеру блесну. В лодке ел. С лодки купался. И все посматривал на берег, ожидая увидеть розовое ситцевое платье и голу-

бой велосипед Тани. Ему представлялся уже в подробностях ее портрет, и он уже точно знал, как надо его писать.

Под вечер причалил к берегу. Там, где с утра купались стайкой девочки-подростки. По его описаниям девочки узнали Таню и сказали, что приезжает Таня откуда-то на лето в деревню, а деревня в трех километрах от озера и туда ведет тропинка, что бежит лесом от базы.

Туда он пришел к вечеру. К деревне через пустырь, оставляя в воздухе пыль и молочные запахи, тянулось стадо, и Касаткин, чтобы опередить коров, ускорил шаг, на ходу отсчитывая дома, которые стояли, перемежаясь огородами, справа. Возле седьмой избы остановился. Сейчас он может подняться по ступеням на крыльцо, толкнуть дверь в сени...

Портрет получится убедительным лишь в том случае, если, работая, будешь видеть перед собой человека, видеть, как он разговаривает, смеется, хмурится — непонятным, необъяснимым образом все это, казалось бы, несовместимое, сольется воедино, останется в портрете...

Размышляя так, Касаткин увидел Таню, она шла пыльной дорогой куда-то в сторону от деревни. Он перемахнул изгородь и вскоре догнал ее.

— Ой! — удивилась Таня. — Вы?!

— Я искал вас, — сказал Касаткин.

Таня недоверчиво покачала головой.

За пыльным раkitником дорога свернула в сжатые поля — по желтой стерне были раскиданы копны соломы, на краю поля стояли высокие скирды.

— Куда вы идете? — спросил Касаткин.

— Никуда, — сказала Таня. — За цветами.

— Завтра приступим? Портрет удастся.

Таня остановилась, изумленно раскрыв глаза, даже задержала дыхание:

— Вы искали меня в самом деле?! А как нашли?!

— Нашел...

— А как?!

Касаткин глядел на нее, прищурившись, запоминая ее изумленные глаза.

— Так приступим завтра? С утра?

Таня молчала, с любопытством глядела на него, он взял ее руку, медленно поднес к губам, поцеловал.

— Не знаю, — испуганным голосом сказала Таня. Сзади у них, где-то в отдалении, гроыхнуло.

Таня обернулась.

— Гроза будет! Откуда тучи взялись? Какие страшные! Черные! И красные! Бежим назад!

— Не успеем. А дождь пройдет стороной.

Впереди и справа небо оставалось чистым, и не верилось, что приближается гроза, а сзади все потемнело, и с черных низких туч через кровавую полосу неба к земле потянулись уже мутные космы дождя.

— Быстрее, быстрее тогда! — сказала Таня.

Дождь настигал их, на дорогу упали первые крупные капли, и они побежали.

— Спрячемся! — крикнула Таня, сворачивая на жнивье. — Зароемся.

В скирде кто-то отсиживался до них. В соломе была вырыта широкая нора, и они забрались в углубление. Рванул ветер, взметнул кверху, закрутил в жгут пыль, разворотил копну соломы, и сразу пошел мелкий, тихий дождь.

— А если надолго?

— Отсидимся, — сказал Касаткин.

Громы ходили где-то вдали, а здесь все заполнилось равномерным шелестом мелкого дождя. Пахло соломой и пшеницей, и сидеть в сухом было тепло и уютно.

— Говорите что-нибудь, — попросила Таня. — Говорите. А что вы рисуете?

— Пишу... В основном пейзажи.

— А как?

— Сначала наброски, этюды, эскизы, а уж потом — картины.

— Большие?

— Всякие.

— И много у вас картин?

— Много.

— А можно их увидеть?

— Будет выставка — приглашу.

— Обязательно. Обязательно!..

Касаткин вдруг вспомнил, что сегодня не брался ни за карандаш, ни за кисти — а такого с ним давно, очень давно не было, — и потер с досадой руки. При-

вычно прищурившись, вгляделся в дымное за дождем жнивье и такой же дымный лес на краю поля.

Но почему он не захватил с собой этюдник?! Достал бы сейчас кисти, краски и стал бы писать! Можно было бы начать портрет.

Вздохнув, он повернулся к Тане.

— Вы знаете, что такое счастье?

Таня поглядела на него озадаченно.

— А разве вы не самая счастливая, когда сидите за роялем? Труд, который дорог тебе, без которого жить не можешь, — это и есть твоё счастье. Все остальное преходяще, мелко, ничтожно...

Он вспомнил о прерванной работе над картиной и умолк, задумавшись. Потом взглянул на Таню — ведь она пианистка, с ней можно говорить об искусстве, и ей будет интересно, и она все поймет...

И он загорелся и начал говорить о живописи, все больше увлекаясь.

— Человек — он полон музыки, — говорил Касаткин, — только тоньше любого инструмента, чувствительнее. Все-все — и вот этот дождь, и этот гром, — все отражается на его чувствах, на его настроении — вот человек... А если человек живет искусством, искренне отдается ему весь и чувства свои выливает в звуках, в красках, — он обогащает других, он творец, он счастливейший из людей!..

Касаткин умолк на минуту, всматриваясь в даль, и вслушиваясь в самого себя, и думая, что настроение его сливается сейчас с состоянием природы, и надо запомнить это, и написать потом это жнивье, и этот стог, и этот дождь, и Таню...

— Говорите. Говорите, — сказала Таня. — Вы интересно говорите.

— Я не могу без живописи, — сказал Касаткин. — Хотя порой ненавижу ее... Кажется иногда, что все средства в живописи использованы, исчерпаны и невозможно сказать что-то новое, свое... А это мучительно. Руки в такие минуты опускаются. Но сейчас, сейчас я верю в необыкновенное будущее живописи! Вы слышали о голографии? Это чудо! Настоящее чудо! Оно перевернет вскоре все вверх ногами — и в науке, и в технике, и в культуре! А изобразительное искусство — спасет! Возродит! Поднимет на небывалую высоту!..

— Как-как? Голография?

Он увидел вопрошающие Танины глаза и начал что-то путано объяснять, но вдруг заметил, что Таня глядит на него, скосившись, и улыбается.

— Что? Неинтересно? Непонятно?

Она закрыла лицо ладонями и захохотала.

Касаткину показалось, что она смеется над ним.

— Не о том говорю? Да?

— Нет-нет. О том.

Таня, продолжая хохотать, откинулась назад, приподнимая белые, круглые колени. Там, где колени были сжаты, Касаткин заметил на ее ноге розовое пятнышко.

«Как у ребенка», — подумал Касаткин, и снова его охватило чувство соприкосновения с юностью и чистотой.

— Говорите, говорите. Интересно, — сказала Таня и, пригнувшись, закрыла себе ноги соломой.

Он с трудом сдержался, чтобы не сбросить солому.

— Вы умеете говорить, — сказала Таня. — Умеете. Касаткин вздохнул.

— Голография — это будущее. Недалекое, но будущее, а пока художник ограничен, мечется, ищет, и доходит до полной абстракции, и возвращается к изначальному...

— К изначальному?

— Да, к тому, с чего начинали в каменном веке, в наскальной живописи. Но это уже насилие над собой, а всевозможные абстракционизмы, ташизмы... вообще бесплодны, потому что искусство рождено жизнью, и все в нем должно быть на реальной основе.

Дождь усилился, капли начали падать на руки, и Касаткин с Таней зарылись поглубже, теперь они сидели, прижавшись друг к другу плечами.

— Ой! — сказала вдруг Таня. — В глаз что-то попало! Достаньте быстрее!

Касаткин склонился над ее лицом, уголком платка вынул соринку из глаза.

Таня поморгала:

— Вроде еще колет. А может, и нет.

— Давайте посмотрю, — сказал Касаткин.

Таня опять подняла лицо, и он опять наклонился над ним, и тогда увидел близко от себя ее пухлые при-

открытые губы, и тогда разглядел, что глаза у нее серые, а волосы подкрашены. Вспомнил ее фигуру — широкую в бедрах, подумал вдруг, что, может быть, не такая уж она юная и чистая, как ему кажется... Другой на его месте стал бы сейчас целовать ее...

— Нет, — Таня потрясла головой, — ничего там нет, не колет.

— А что, если бы я вас поцеловал? — сказал Касаткин.

— Что вы?! Нет-нет.

Она прыснула и отвернулась, но Касаткин тут же увидел ее насмешливые, скошенные на него глаза.

«Как я смешон в ее представлении! — подумал он. — Ударился в рассуждения!..»

— А дождь кончился, — проговорила вдруг Таня. — Пойдем?

Касаткин промолчал, и тогда она встала, отряхнула с платья солому.

— Романтика! Правда? — в голосе ее Касаткину послышалась насмешка.

Пролившийся дождь впитался в пыль, и ноги ступали на твердое, стерня вдоль дороги, копны соломы побурели, а тьма сгущалась быстро, и скирды, дальние деревья чернели силуэтами, пахло дождем, пылью, над лесом блистали зарницы — далеко где-то шла гроза, а здесь было тихо.

— Сколько тебе лет? — спросил Касаткин, переходя вдруг на «ты». — Девятнадцать?

— О-о, если бы! — сказала Таня. — Мне уже надо скрывать свой возраст.

— Не больше двадцати. Так?

— Я же сказала: мне надо скрывать возраст.

Касаткин отстал, вычесывая из волос солому. Она дождалась его. Он скорее угадал, чем разглядел выражение ее глаз — открытый, простодушный взгляд, — решил, что все-таки ей нет и двадцати, и почувствовал, как меняется выражение ее глаз.

— Странный вы... Со мной такое творится!..

Она захохотала, вдруг толкнула Касаткина и пустилась бежать. Он догнал ее, она отпрянула в сторону.

— Извини, — сказал он.

— За что?

Она опять оттолкнула его, и опять побежала, и снова отскочила, когда он настиг ее.

— Извини, — еще раз сказал Касаткин и еще раз услышал:

— За что?

Таня приблизила к нему лицо, и Касаткин увидел, что она смеется.

— А мужчин любят за смелость. А мужчин любят за решительность. Сильных любят.

— И нахальных?

— За плохое как раз и любят мужчин.

Касаткин почувствовал, что краснеет. И зачем ему надо было бежать за ней?! Как он наивен и глуп в ее глазах!..

Таня неожиданно вздохнула:

— Не думайте обо мне плохо. Я люблю одного человека, а он... Он уехал...

Она опять вздохнула, помолчала и спросила весело:

— Так приходить на озеро? Рисовать меня будете?

Касаткин подумал, что не знает теперь, как приступать к портрету, и, помешкав, сказал, снова обращаясь на «вы»:

— Приходите.

— Прощайте! — выкрикнула Таня и, свернув с дороги, побежала к деревне.

— Прощайте, — сказал Касаткин.

— До свидания! — донесся из темноты голос Тани.

Наутро Касаткин с удивлением опять подумал, что вчера так и не поработал. Такой день он всегда считал потерянным, жалел о нем и тогда бывал расстроенный, мрачный. Но в этот раз он с легкостью решил, что наверстает упущенное, что сегодня он будет весь день писать на озере.

Лодка ему попала послушная, ходкая, грести было легко, и он с удовольствием махал веслами и быстро пересек озеро. С разгону врезался в тростники — лодка плавно остановилась, будто зависла в зарослях. На берегу стояли дубы, и все здесь было в прохладной тени, и отсюда хорошо было видно озеро, кутившееся еще туманом, угадывалась и тропа, ведущая к хлипким мосткам.

Возле тростника, в густых зарослях, у поверхности воды, возились рыбы, шумно всасывали что-то, пуская пузыри, иногда била хвостом щука, а может быть, крупный окунь. В тростниках тоже кто-то копошился, шуршал острыми листьями, шевелил тонкие, длинные стебли с темными кисточками наверху. А там, где не было водорослей и тростники стеной уходили от берега в чистую воду, там плавали на воде роскошные белые лилии.

Касаткин долго сидел не двигаясь, замерев, и вслушивался в эти шорохи и возню неизвестных ему, непонятных и любопытных тварей. Потом увидел, как среди водорослей проплыла медленно большая красноперая рыба, и поразился, что рыбы вольготно чувствуют себя среди скользких трав в этой таинственной черной глубине и свободно плавают у него на глазах.

Шуршание в тростниках усилилось, приблизилось и затихло. Пичуга повисла косо на стебле, с любопытством глядя на Касаткина. Блеснула бусинкой глаза и улетела, пискнув.

Касаткин засмеялся и открыл этюдник.

Сначала он написал большой этюд. Без всякой абстракции. Небо, тот берег, озеро, тростники на переднем плане. Потом принялся за небольшие и маленькие этюды. Сочными мазками вылепил в натуральную величину лилию, отдельно — стебель тростника, лист кувшинки, и черную воду, и водоросли в черной воде.

Туман высох. По берегам застыли рыбаки над своими удочками, и солнце жгло через листву. Касаткин мастихином счистил с палитры краски, до блеска натер ее тряпкой, вымыл с мылом кисти и руки.

На середине озера выкупался в теплой воде, с трудом влез в лодку и развязал рюкзак. Ел с аппетитом. Сваренные вкрутую яйца, копченую колбасу, помидоры, сыр, заливал из горлышка сухим вином. И все поглядывал на тропу к хлипким мосткам.

Еще утром сегодня он презирал себя за вчерашнее, но теперь, проведя полдня на озере, не вспоминал больше свои терзания, а представлял себе, как появится Таня, и как он возьмет ее в лодку и уплывет в дальний конец озера, где никого нет. Высадятся они на том берегу, разведут костер и пообедают вместе, и он все-таки попробует написать ее портрет.

Он не мог удержать в себе то, что увиделось ему в Тане при встрече, а раздвоенности в творчестве он не терпел и не любил писать, не зная твердо, чего хочет, но ему жаль было расставаться с образом юности и чистоты, который так ярко представился ему вчера и заставил его забыть на время обо всем остальном. Он то и дело возвращался мыслями к Тане.

Быть может, он и в самом деле был смешон в ее глазах, а быть может, она, будучи с ним, и не думала о нем, а смеялась потому, что представляла себе на месте Касаткина другого, того, которого любит, о котором знает, что тот вел бы себя с ней совсем иначе. Любил бы ее, и говорил бы ей о своей любви, и целовал бы ее...

А может быть, она еще совсем ребенок? Видит, что нравится мужчинам, и говорит, что взбредет в голову, не зная, чем шутит...

О жене эти два дня он почти не думал, но теперь, размышляя о Тане, все чаще вспоминал Лену. Видел ее то печальной, задумчивой, то веселой...

Лена его любит. А он ее любит плохо. Часто за работой забывает о ней. А у нее своя жизнь со своими заботами и радостями. И черника эта, и гости, и наряды — это ее жизнь. Ей хочется всегда быть нарядной, красивой, а он из-за принципов своих отклоняет выгодные заказы, гробит время на картины, которые никто не покупает...

Мог бы он жить иначе — нет, не может... Нельзя же писать то, что хотят от тебя другие, а не то, что тебе хочется. Ты тогда уже не художник. Ты тогда уже черт знает что!..

Лодка остановилась, леса ослабла, и блесна опустилась на дно, зацепилась там за что-то...

Потом он оборвал лесу. Но до того долго сидел неподвижно. Размышляя о тех картинах, которые не проходили на выставки, и о тех, которые попадали туда. Вспоминал, как о них писали потом в газетах. Ругали подчас...

Ругали за то, что он выносил в себе, выстрадал, за то, что он написал так, а не иначе, за то, что он не мог написать иначе, за то, что иначе он не видел и не чувствовал... А художник должен быть честным, до конца честным. Должен говорить людям то, что думает, что

знает, и люди в конце концов поверят ему, и поймут его, и будут благодарны ему за честность!

И если бы те, которые его ругали, если бы видели они в его картинах только то, что хотел показать Касаткин и что — показывал, а не приписывали ему всего, что выдумают сами, у Касаткина совсем бы другая жизнь была!..

И Лена не жаловалась бы на него Варе, жене Виктора, и он бы не убегал из дому сюда, на озеро...

И вот уже Касаткин думал только о Лене. Видел только ее. Представлял себе, как притащится она домой со своею черникой — уставшая, с царапинами на руках и ногах, — забыв о их ссоре, улыбнется ему, обнимет за шею, скажет, покачивая головой: «Ты все-таки самый лучший у меня! Самый добрый! Самый дурной!»

И хорошо было Касаткину, что он сможет открыто глядеть в глаза Лены и называть ее любимой, не делая ни с кем это слово.

День был жаркий — в небе ни облачка. Касаткин множество раз купался, еще два раза поел и выпил. Солнце напекло его, и он устал, таская за лодкой блесну, которую так и не взяла щука.

С базы ушел рано — до вечера было еще далеко, — тащился с грузом пыльным проселком в жару, и эти два дня, проведенные на озере, все дальше отодвигались в прошлое, к которому нет возврата, и было немного печально и жаль чего-то, все чудилось ему, будто там, на озере, он оставил что-то дорогое и навсегда утратил его.

Потом Касаткин ехал на попутной машине, сидя рядом с шофером. Обгоняя тягач с прицепом, шофер заехал на обочину, машину сильно тряхнуло — Касаткин испугался за свои сырые этюды, но тут же решил, что они ему, скорее всего, никогда не пригодятся, что картину свою он напишет без них.

Вспомнив о картине, он почувствовал, как не терпится ему увидеть ее, и потом уже до самого города думал и думал о ней и видел ее, видел такой, какой она должна стать. И хотя он не был на озере во время заката, озеро бросало какой-то отраженный свет на картину, и он представлял ее уже несколько иной, чем до

этой поездки. Он ясно видел, как подробно выпишет все на переднем плане, вылепит так, чтобы все было живо, осязаемо, чтобы дальше в картине, где и вода, и деревья, и другой берег будут тонуть в золотом закате, где все будет написано общо и не будет там никаких подробностей, чтобы и там каждый, кто посмотрит на картину, легко угадывал осязаемую живую явь — и тростники стеной, и воду, и черную ее глубину, и ее прохладу...

Он не думал о том, что этому своему видению картины обязан дням, проведенным на озере, и досадовал, что зря потерял время. А когда уже приближался к дому, вдруг в глазах его встало, как живое, озеро с возней рыб в водорослях, шуршанием и писком птиц в тростниках, рыбаками, застывшими по берегам, и ему почему-то представилось, что уехал он с Воехры только на время и что вскоре опять вернется туда. Сквозь озерную воду, сквозь тростники глянули на него глаза Тани, и почудилось Касаткину, что Таня, не мешая ему с Леной, каким-то чудесным образом уже вошла в его жизнь или войдет еще, войдет обязательно и навсегда останется в ней...

«Интересно, — подумал он, — представится ли ей Воехра, когда она будет глядеть на мою картину?» Вспомнил вдруг, что так и не узнал, где живет Таня, в каком городе, и засмеялся, потому что это уже не имело никакого значения.

Недавно прошел дождь, опять открылось полуденное небо, солнце припекло — и от земли поднимался пар, и парные запахи отсыревшей земли, промытой зелени, сохнущего асфальта текли в открытую дверь балкона. Ноги в теплых носках из белой овечьей шерсти лежали на желтом полу, стынувшая кровь не грела ноги, и приятно было, что их печет солнцем. Занавеска в зеленых кругах чуть шевелилась, и полоса жаркого света то ширилась, бежала вверх по ногам, то сужалась, и надо было встать и отгородить занавеску или повернуть шезлонг, но сделать это было нелегко, и он сидел, не двигаясь.

Альта, остроухая собачонка, беспокойно вертелась на балконе. Перед балконом постоянно вспархивали воробьи, взлетали голуби, и фурканье птичьих крыльев тревожило ее, и она вставала на задние лапы и косилась на безучастного к ее зову Матвея Степановича. Альта заглядывала вниз с балкона, принюхивалась к манящим запахам и возбужденно повизгивала. И понятно было, что ей не терпится выбежать вслед за хозяином в коридор, скатиться по ступеням с четвертого этажа, выскочить из подъезда и припуститься к лесу, время от времени возвращаться со звонким лаем, прыгать вокруг и кататься по траве, и опять убегать, разыскивая мышиные и кротовые норы, громко фыркая и отчихиваясь, раскапывать их.

Матвей Степанович глядел на нее из-под седых колючих бровей. Понимала бы Альта речь, сказал бы он ей, как хочется ему самому выйти из дома, побродить, поглядеть на мир, поглядеть, что нового в мире...

За бугристым полем, что лежит перед домом, за ле-

сом колхозная пашня, осенью пашню эту засеяли, наверно, озимыми, и озимые густо взошли и, когда вся земля уже была голой, поднялись сочной зеленью, а когда мороз иссушил, закаменил землю и выпал снег, то по ранней пороше на озимые прибегали жировать зайцы, а зимой были над посевами вьюги, носились по снегам лыжники и мышковали чуткие лисицы и вязали на снегах замысловатые цепочки следов. Потом снега стояли, и по лесным опушкам бродили парочки, ломали в оврагах черемуху, и черемуха пьяно пахла на сломе, и люди хмелели, и тянулись друг к другу, и забывались в объятиях... А позднее жухлая озимь распрямилась. Вымахали хлеба. Установились влажные, душные, морённые дни. Потому что едва клонилось к заходу солнце — начинал ворочаться за горизонтом гром и ночами шли дожди — шелестяще-звонкие, с грозами, вставало солнце — от земли поднимался туман да так и не высыхал за день, держался где-то в небе... Хорошо вызревали хлеба в это душное лето — жаркий ветерок гнал сизые тучки пыли над волнистыми голубеющими хлебами.

Охотно пошел бы глядеть на все это Матвей Степанович, но теперь и думать об этом нечего — сиди и вспоминай прошлое, вспоминай, что запомнилось.

Запомнилось многое. Носил он в памяти детство свое далекое. Далекое-далекое, разительно не схожее с тем детством, каким жила, к примеру, внучка его — Надюшка.

...Тормошат Митяя. Митяй сжимается в комок, будто не слышит. Его стаскивают с полатей. Темно на дворе, в светце лучина трещит, пахнет квашней... Жует Митяй черствый хлеб впросоньи, запивает квасом, квас шибает в нос, и он протирает глаза. На дворе побелела трава от инея, а до клина, до пашни, босиком бежать. Ноги враз наливаются жгучим холодом, заходятся до ломоты в костях...

Матвей Степанович возится в шезлонге, глядит на свои неподвижные ноги в теплых носках и кряхтит. Может статься, с тех холодов и сохнут ноги?

...Потом-то легче было. Подрос Митяй — попал в артель. В люди, говаривали, выбился. По праздникам рядился в суконную пару, напивался... А что делать было? Темень была. А тут война, революция...

Потом был нэп, потом — пятилетки... Первые пятилетки обошли город, остался он в стороне от крупных строек. Одна только улица и была камнем мощенная. А домов-то каменных много ли было?.. О диковинах всяких из газет узнавали. Из газет все узнаешь. Теперь-то вон... на Луне побывали люди... Да, что теперы! Теперь в телевизор все видно, а тогда из газет только вычитывали о разном. Про Днепрогэс писали, про Магнитку, про Чемберлена, потом про Гитлера, а потом... А потом опять война была...

Матвей Степанович тужится, пытаюсь обернуться, взглянуть на портреты сынов своих, которые с войны не вернулись, но сделать это ему нелегко, и он затихает, и по щеке у него скатывается слеза.

Эх! Разве припомнишь все, о чем помнишь!

Земля подсыхает, парит зной, и оглушает дрема, повисшая над землей синим маревом, и Матвей Степанович незаметно засыпает.

Подходит Альта. Нюхает упавшую на пол руку, сине набрякшие вены под дряблой прозрачной кожей, и ложится у ног, и смеживает веки. На балкон опускается голубь, стучая коготками, прогуливается по перилам — Альта настораживается и с визгом кидается к птице, будит Матвея Степановича. А он, пробудившись, сразу слышит приглушенный шум: пыхтение и рокот множества механизмов и машин — новый жилой массив возводится неподалеку, как раз между домом и лесом, на бугристом поле.

Был бы на ногах Матвей Степанович, не слышал бы этого шума — за работой шум механизмов не слышен.

Он закрывает глаза, двигает кистями рук и чуть раскачивается в шезлонге.

Споро мелькает в его руках мастерок, раствор ложится ровно, и кладка растет на глазах, и дом поднимается, и шагают светлые кварталы по садам и огородам старого города. Возникают заводы, широкие проспекты, скверы, парки...

Альта лежит на балконе, высунув красный язык, часто хакает. Под хаканье Альты, под шум стройки Матвею Степановичу начинает грезиться город, каким он станет в недалеком будущем, каким он красуется в макетах и эскизах. Из пышной зелени встают высокие белые дома, наступают один на другой, заслоняют друг

друга, и поворачиваются, сверкая гранями, и позванивают.

Просыпается Матвей Степанович от грохота и лязга под окном. Под окном по ухабам машины идут — в кузовах металлические грузы, пыль встает за машинами... Надо бы закрыть балкон. Скорей бы дорогу доделали! Не будет пыли. И грохота и лязга не будет. И приведут на столбы яркие светильники, и поплывут бесшумно по дороге троллейбусы...

И Матвей Степанович вытягивает старческую шею, глядит туда, где асфальтируют новую дорогу — будущую улицу. Медленно пятится самосвал, останавливается, будто в раздумье, дрогнув, начинает крениться кузов, все больше задирается, а из кузова ничего не валится, будто и нет там ничего, но вот рушится вниз черная масса, и кузов окутывается нежнейшим голубым дымом. И чудится, будто здесь даже пахнет этим горячим смоляным чадом. К черной дымящейся куче бросаются перемазанные женщины в белых платках, раскидывают, разравнивают пышущий жаром асфальт и оглядываются на желтый нарядный трактор, готовый уже тяжелыми катками примять, уплотнить, раскатать, сделать гладкой дорогу.

Только бы жить теперь! Через войны, разрухи, голод все что-то светило впереди, а теперь, кажись, вплотную подступает то светлое, что ожидалось долгие годы, вот-вот, кажется, наступит такая жизнь, какую и представить мудрено...

Побегут по земле, по небу бесшумные машины, люди станут ходить в светлом, прозрачном — чистые, открытые друг другу.

И явственно уже видится (уже не во сне) тот новый город, какой только что грезился. От волнения ершистые белые брови Матвея Степановича напряженно сходятся к переносью — дергается скула, и в сотый раз, наверно, возвращается Матвей Степанович к мысли, что хорошо бы через десятки лет, пусть через сотни, появиться опять на земле. Пусть в другом обличье, пусть другим человеком, но только бы с прежней памятью, со всем тем, что прожито в этой жизни...

Недавно как-то попросил он внучку списать ему из газеты одно хитрое слово. Надюшка засмеялась: «А для чего тебе?» — и печатными буквами сняла слово

то на клетчатый листок из тетради. Хитрое слово всякий раз забывалось, и он всякий раз, думая о нем, доставал тот клетчатый листок и читал, шевеля губами, а Надюшка глядела на него исподтишка и посмеивалась.

Словом тем назвали где-то в загранице науку целую, взялась которая доказать, будто память человеческая воскресать может, вот и пытался Матвей Степанович запомнить это слово. Профессор той хитрой науки уверяет, будто нашел он в Индии где-то людей, помнят которые все, что было задолго до их рождения. Не верит в это Матвей Степанович. Шарлатанство все это — а все-таки... На свете чего не бывает. Встречал он, к примеру, людей на своем веку, уверяли которые, будто сами видели привидения — белые тени людей с того света, но и в это не верит он. Да и какой прок являться тенью. Явиться бы человеком, постучать бы молоточком, потюкать мастерком, построить бы что-то нужное людям!

Опечаленный, засыпает опять Матвей Степанович. Снится ему трактор «Фордзон», трактор, который впервые увидел он на своем веку. Он с восторгом бежит за этим чудом по пахоте, и ему нестерпимо хочется сесть за руль, и он просит чумазого тракториста: «Дай! Дай!», а тракторист хохочет: «Где тебе! В гроб пора уж!»

Снова просыпается Матвей Степанович от ласкового прикосновения к его седым истонченным волосам — это Надюшка вернулась, купалась в Клязьме и вернулась.

— Де-ду-шка, — певуче говорит Надюшка, увидев, что он очнулся, и суется холодным, будто бы даже мокрым носом в задубелую дедову ладонь, и в ладонь повторяет: — Де-ду-шка!

Матвею Степановичу охота взлохматить короткие Надюшкины волосы, но рука занята, а другой не дотянуться, и он только вздыхает.

Вот кому светлая доля выпала. Счастливая будет Надюшка. Любо глядеть на счастливых, краса земли — счастливые!..

Долог летний день — солнце обшарило полнеба, а ночь далека еще, и Матвею Степановичу еще многое можно передумать за этот день — многое вспомнить и

представить многое. Мысли его колобродят, но все возвращаются к Надюшке, к ее судьбе.

Умная внучка растет, красавица — помех ее доле не будет. Война разве что... Эх! Всю землю начинили взрывчаткой: черкани спичкой — и нет земли!..

Он опять вспоминает погибших сынов своих и шумно дышит. В самом цвету были б дети! А ему вот повезло, старому. Войну одолел, после войны столько прожил, столько домов поставил, внучку вынянчил — считай, новую жизнь увидел...

Матвей Степанович сопит и возится в шезлонге. Надюшка отрывает нос от ладони деда:

— Больно? Ноги больно?

— Нет, Надюшка. Ноги мои сохнут, не болят. Грех жаловаться.

Надюшка смотрит ему в глаза, не верит.

Умная девчушка, пригожая, донельзя ласковая и на ласку податливая... Не сгубила бы только ее ласковость эта!..

Вот ведь, статья может, и без войны не увидит человек счастья...

Матвей Степанович вспоминает подсобницу из их бригады. Росла неприметная, голенастая, а потом как-то вдруг неожиданно для всех расцвела, раскрылась, словно бутон, и стали заглядываться на нее мужчины, парни почему-то не примечали ее, а мужчины так и глядели ей вслед, так и глядели...

Тоже ласку любила, тем и взял ее Прохоров. Про- раб Прохоров... У самого семья, дети...

Матвей Степанович опять думает о той светлой жизни, какая ждет Надюшку, и сожалеет, что пролезут туда такие, как Прохоров. Он вздыхает и сердито говорит:

— Отсеять бы их — а?! Вернуться бы, потюкать бы молоточком, мастерком потюкать бы...

— А?.. Чего ты сказал? — спрашивает Надюшка.

— Я-то? — отзывается Матвей Степанович. — Да нет, ничего... Причуды стариковские.

— Причуды? — Надюшка смеется. — А я... Знаешь, чего я видела?.. Высотный дом строят! Девять этажей выросло! Тебе бы туда! — Она умолкает. Пугается. — Дедушка!

Он кряхтит, вздыхает.

— Ничего. Ничего, Надюшка. Причуды... стариковские...

Надюшка глядит на него недоверчиво. Потом несмело улыбается:

— Причуды?

А Матвей Степанович думает о том, что так и не смогли его вылечить, и вспоминает, как ездил на курорт и как улетал оттуда.

День был пасмурный, мокрый, и серые тучи цеплялись где-то за дымные горы, и самолет опаздывал, и все напряженно вглядывались в небо, и самолет маленьким темным пятнышком появился наконец над горами и приземлился, наполнил все радостным мелодично-добродушным гулом... И в памяти с той поры навсегда осталась сказочная красота южного края, и влажная теплынь того мокрого дня на аэродроме, и тот веселый гул над горами...

До вечера все еще далеко.

Солнце, бывало, садилось прямо за лес. Уходило за макушки деревьев — и сразу наступал вечер, и тут же — ночь, а теперь солнце опускается к новостройке, повисает на стреле крана, и по тросу сползает вниз, и скрывается за пятиэтажными домами задолго еще до наступления вечера.

Матвей Степанович глядит на солнце и начинает успокоенно думать про этот год, про это проморенное лето, которое, может быть, последнее в его жизни...

На Севере это было, под Архангельском. В гиблых местах мы лес брали, к лесосплаву возили. Три года водил я там лесовоз. Болота, болота, куда ни глянь — болота. Грунта под собой не видел. Лежневка — настил из бревен под левые колеса, настил под правые. Едешь — зыбит...

Места дикие были, глухомань; может, сто верст, а может, двести иди — ни жилья, ни человека. Одна деревенька и была на всю округу — километрах в десяти от базы, вверх по реке. Маленькая, домов пятнадцать.

Женщин у нас на базе не было, стряпал на кухне и то мужик. Прожил я там зиму. Наступило тепло, зазеленело все, и такой беспокоящий дух от тайги пошел, что оставаться без дела, одному, неважноту стало. Выпадет свободный час — не знаешь, куда себя деть — бродишь, мечешься, будто что потерял, будто ищешь что. Вот так-то и занесло меня в ту деревню...

Тепло было, солнце. Я шел берегом. Река широченная — силища! — катит навстречу. Птицы кричат, смолой, хвоей пахнет. Одиноко, тоскливо. Хотел уж вернуться, наметил веху впереди, дойду до поворота, думаю, гляну, что там, дальше, и — назад. Присметил вдруг синее что-то вдали — дымок; и так потянуло на дымок этот, к людям, что поначалу бегом припустился.

Дома там ставят не такие, как здесь — под Москвой или под Калугой. Бревна в обхват, срубы высокие, оконца вверху маленькие, к сеням подняться — лестница ступеней двадцать. Не дома — крепости. В таком-то вот доме и повстречал я Клавдию...

Доводилось видеть, весну на картинках малюют? Точно такой и предстала мне Клавдия. Вижу: совсем молоденькая, а ростом по мне — статная, грудь высокая.

— Попить бы, — говорю, — водички.

Сам примечаю: голос у меня робкий, дрожит. А тут и она стушеввалась вроде: поднесла ковш с водой — румянец во всю щеку так и полыхает... Поворотилась спиной — коса толщиной в руку...

«Рождает же земля диво такое!..» — думаю...

Теперь-то и говорить об этом неловко, а только кто ты мне? Попутчик. Ночью подсел в вагон, ночью сойдешь — только и виделись... Такой она мне тогда предстала. Воды подала — и шашь в горницу, и нет ее. Делай, что хочешь, думай, что думается. Может, в горнице там муж у нее? Обнял, ласкаю... Постоял, постоял я, положил ковш на лавку и ушел.

Дом над самой крутизной выстроен был — будто с разгона к обрыву бежал да замер; и когда скатывался я вниз — обернулся. Почудилось лицо и льняные волосы в окошке. Ну, и задурил я с того дня. Хоть раз в неделю, а в деревеньку сбегаю. Разузнал: живут там семьями, Клавдия одна в девках, без родителей. В глуши, думаю, чудо такое без ласки на корню сохнет... Приворожу, думаю, увезу в город, разодену!..

Шоферы на базе поначалу подтрунивали надо мной, а потом кто-то из них возьми да и скажи: преемником, мол, Петра приехал, Петро, мол, больше года за ней таскался... Не по себе мне стало...

Петро моим лучшим приятелем был. Да что приятелем! Другом. Он-то и сманил меня под Архангельск. Приезжай, мол, себя опробовать. Работа, мол, здесь настоящая, мужская. Да и деньги хорошие платят... Приехал я, а его уж и нет. В болото Петро с машиной кувырнулся. Кабину открыть не успел — затаило...

Мы ведь не коротье какое-нибудь возили, а хлыст — бревна длинющие — сосна, ель, пихта. Ведешь лесовоз, машина качается, а вокруг топь — ни шагу ступить в сторону... Зыбит, зыбит, гнус тучами вьется... Раздумаешься, забудешь про гнус, про лежневку, про болото; колыхнет машину, груз накренится — замрешь, за руль уцепишься, зависнешь вроде, — пот прошибет...

Потом потихоньку дальше тронешься. Чуть отляжет, ну и саданешь — и в господу, и в бога, и в душу... Полегчает вроде.

Частенько вот так господу мы задевали там, а тут по-другому я о нем вспоминать стал.

Присох, мерекаю, Петро к Клавдии, думки и затянули его в болото. Мне бы из-за нее не кувырнуться. Охлаживаю так-то себя, а Клавдия встанет перед глазами во весь рост, поворотится... «Эх! — думаю. — Да за такую не только в болото кувырнуться, душу заложить не жалко! Только бы откликнулась, полюбила! Исцелую! Всю жизнь на руках носить буду!..»

Но не тут-то было. До поцелуев не доходило. Бежишь к ней со всей ласковостью — возьми, мол, делай со мной, что хочешь. Смеется. А чуть за руку тронешь — вывернется. Глазищи зеленые сузит, холодом так и окатит. «Э-э! — думаю. — Не весна в тебе — зима. Растопить твой лед — дело нелегкое. Но, — думаю, — растоплю! А растоплю — такой жар в тебе откроется, что жара такого и не придумаешь!..»

Про Петра вспоминал еще. Чаше и чаще. Сомнения взяли. Его, думаю, любит, забыть не может. Скучно мне стало. А в рейсах всего тягостней было, два раза чуть не кувырнулся. Ну, не пойдет так дальше, думаю. Спрошу-ка я ее напрямик. Про Петра спрошу. Если что, отступлюсь. Подам на расчет и уеду, чтобы враз покончить со всем этим.

Спросил.

Прикрыла глазищи — ресницы длиннющие... Глядит через минуту. Ясно так глядит, спокойненько. И отвечает спокойно:

— Надо еще помнить... — Опять сощурилась и добавила. Уже другим голосом: — Всех бы вас туда, мужиков! Следом!

И с такой злобой она в ту минуту на меня глянула, что у меня и язык к нёбу присох.

Допытываться я не стал в тот раз. Ушел. К прежним думкам другие подбавились. Кто же это, думаю, допек ее, кто ж это в душу наплевал, что мужиков она ненавидит так люто? И когда успел? Ей в ту пору, когда мы встретились, и было-то всего семнадцать. Да и кто мог бросить такую?

Наведывался я к Клавдии не часто, хотя и тянуло

к ней. Чего, думаю, зря тешить себя надеждами всякими, к чему?..

Дело шло к зиме. Выпала мне командировка в Архангельск. Запчасти привезти надо было. Единственный раз за те годы хорошую дорогу видел. А только не до нее мне было.

Собрался я, а надо мной опять подтрунивать стали. На экскурсию, мол, едешь. В приют. Мол, на дочку Клавдии поглядеть хочешь. Сказали — как ударили. Ехал в Архангельск, ни о чем другом и не думал — не верилось, что у Клавдии есть дочь и что Клавдия избавилась от дитя...

На обратном пути отыскал я приют, дом ребенка. Зашел, будто напиться мне надо было. Зашел, а детишки — мал мала меньше — увидели меня, сыпанули в разные стороны, будто я зверь какой страшный. Позабивались кто куда, затаились...

Подали мне воды, а я глазами по сторонам зыркаю.

— Откудова, — спрашиваю, — столько крох в приюте?

Баба в белом халате смеется:

— Аль не знаешь откудова?

— Не о том, — говорю, — родители помирают разом, что ли?

Опять смеется:

— Случается, и помирают.

— А еще, — говорю, — как бывает?

Объяснила мне баба. Если, мол, кто из нас, мужиков, обманет малолетнюю, а та родит, такого ребенка и берет себе государство. Растит, воспитывает. Бывает еще, говорит, когда лишают материнства по суду... Подивился я. Чего только, думаю, нет на свете.

Детишки промеж тем освоились — выглядывают потихоньку. И тут примечаю ребенка одного — будто знакомое что.

— Чье такое? — говорю. — Откудова?

Баба опять смеется:

— А все откудова. — Позвала: — Верочка... Верочка...

Выволокла из-за шкафа девчушку годиков так трех. Девчушка прижалась к бабе, на меня зверьком глядит, а я слово молвить боюсь: вылитая Клавдия...

Уходить надо, говорю под конец:

— Кто ж мать у нее? Хоть раз наведалась?

— Нет, — отвечает баба. — Разве такие приходят!

— А кто мать? Где живет?

— Сбежала, рассказывают, из города. Теперь в тайге где-то...

Ну, летел я из Архангельска! Как не сбил никого, как в аварию не попал — ума не приложу.

Поначалу жалел детишек. Верочка виделась. Волосики белые, вьются, глазенки большие, зеленые... А в глазенках — боль, совсем не детская!.. Такая жалость на меня накатила — хоть плачь. После раздумался — злость взяла. На Клавдию. Отчего все так случилось у Клавдии, не думал — ненавидел ее. Ненавидел люто. «Ах, стерва! — думал. — Зла в тебе больше, чем красоты! Грош цена красоте твоей!..»

Ворвался я в дом к ней — не видывала она меня таким-то: черт чертом. Испугалась, видно, — зарделась. Тут я и скажи ей:

— Как же это, гадина ты эдакая, дите свое бросила?!

Ну! Что случилось с Клавдией! Озверела совсем. Вот-вот шибанет чем попало по голове или глаза выцарапает.

— А ты что за судья мне?! Ты откуда такой взялся?! Видывала таких-то!..

Вытолкала за порог, с крыльца спихнула...

Шел я от Клавдии — плевался. «Кроме зла, ничего в тебе нет, — думал. — Зверь и тот дите свое кормит, пока не вырастит. Хуже зверя ты», — думал.

Не ходил больше к ней. Перекипит все, решил, забудется... А душой изводился. Все Верочка в глазах стояла. Крошка такая пригожая. Вначале Клавдию одну во всем винил. Одну ее, никого больше. После подсчетами занялся — в каком году родила, да сколько годков самой тогда было... Брала оторопь — дите дитя родило!..

Выходило, что вина Клавдии — дело второе, а первое — беда. Может, над ней надругался кто? Может, насильничал?.. В тайгу от позора сбежала...

Явиться к ней опять не решался — еще раз выставит... Тут зима подступила. Травы померкли, землю морозцем сковало, вот-вот снег повалит. Еду как-то,

раздумался, как быть. Забыл про лежневку под колесами, забыл про лесины, что сзади мотаются, вдруг вижу: Клавдия. Притулилась к сосенке — выходит, меня ждет. Дрогнуло во мне что-то — притормозил.

— Как про дочку узнал? — спрашивает.

Говорю:

— Видел. — А сам на нее гляжу. Лицом переменялась, потемнела. Глаза впали, горят. И такая жалость охватила меня, такая жалость! Так бы и выпрыгнул к ней, взял бы на руки!..

— Не тужи, — говорю. — Не горюй, не пропадет девочка...

И тут пришло ко мне то, чего и сам не ждал и не думал о чем.

— Удочерил я, — говорю, — дочку твою, Верочку.

Что тут с Клавдией случилось... Переспросила:

— Удочерил? Как удочерил?! — Да как кинется к машине, ко мне рвется, норовит глаза выцарапать: — Ты кто такой?! Тебе что надо?! Чего в душу лезешь?! Ненавижу! Ненавижу! Ненавижу!

Тянет это она меня из кабины, царапает, и вижу, впрямь ненавидит, а сзади другой лесовоз гуркает — все ближе да ближе. Обидно, зло, стыдно. Отпихнул я Клавдию, дверкой хлопнул и дал газ.

Верочку, думаю, все одно удочерю. Ты хоть лопни от злости, а девочка моей будет!..

Скорость там не разгонишь — зыбит, глянул вроде ненароком в зеркало — Клавдия сзади. Бежит следом, машет, кричит что-то. Вижу, на корч налетела — плюхнулась, лежит, будто мертвая.

Ну, и даванул я на тормоза! Так, что машина юзом пошла — задние-то колеса с лежневки и съехали...

Э-э! Делов было!.. Лесовозы скопились. Дудят. Шоферня повыскакивала, лазиют, гыгыкают. Срам, да и только.

Аж до вечера новую дорогу мостили, тягачи подгоняли, кран...

Вот так-то я удочерил Верочку. Другие женятся сначала, а я сначала обзавелся дочкой, а уж потом женился. Столько лет прошло, а для меня будто вчера все началось и вчера кончилось. Будто вчера...

Что потом было, где живу? А про то не спрашивай.

То дело десятое... Скажу только вот что: как бы жил, не знаю, не случись со мной всей истории этой... Не пойдя я тогда на дымок тот, не заверни в приют... И за всю жизнь не узнал бы, может, ни тоски настоящей, ни радости. Так-то вот...

Ночью сойдешь?.. Ну, спать давай. Поздно уж...

Здесь кончался город. Электрические огни бежали под уклон, и у крайнего высоченного дома улица обрывалась вдруг. Здесь стоял последний столб с лампочкой под жестяным конусом, свет выхватывал из тьмы стены дома, облицованного белыми плитками, и контуры двух-трех сосен. А дальше — и в вышине, над светлым домом, и прямо, куда сбегала под уклон улица, и внизу, за высоченными соснами, — везде все было черно и пусто. Казалось, там кончалось все: и столбы, и дома, и деревья; и нет там ничего больше, кроме черного, необъятного и пустого провала.

Об этом думал Ченцов. Думал так неспроста. Знал, что дальше, за домом сразу, начинается непролазная глушь: дикий лес гниет в буреломах, пучатся топи; в мшистых завалах гнилья, в болотах плодятся, множатся несметные тучи гнуса. В таком проклятушем месте и растет этот новый город.

Ченцов сегодня раздражен, на душе у него черно, как эта ночь за городом. Сегодня на его участках много простаивали, — не было раствора, — и Ченцов бесновался весь день, поругался даже с тем, кого втайне возвышал над другими, — с начальником строительства Белогрудом Семеном Сидоровичем.

Завтра выходной, послезавтра первое число — невыполнение так и останется; и потом ничем не докажешь, что не твоя вина в этом. И выходной завтра будет не выходной, хоть и так не разгуляешься здесь, у этих болотин. Город тоже! Дыра. Да еще этот навязался бригадир штукатуров с пятого участка — Пискунов. Идет и гудит, и гудит — масла в огонь подливает!

— В управлении что!.. В управлении заделов!.. На полгода заделов... Твой простой по карману не стукнет. Им что... А ты рубли, рубли роняешь. Ты, Иван Матвеевич, плюнь, плюнь на них — закона нет, не удержат.

А он и плюнет. На черта ему, чтоб его ни за что ни про что за чужие промахи секли, как мальчишку. Хватит! За других отдуваться хватит!

— Строек этих — ум-м! — не чета нашим строечки! Требуют люди грошики!

А на черта ему стройка! Жизнь собачья! Начинай с колышка, гнус корми. На черта ему это!

— Махнем на Север! Деньга бешеная, отпуска двойные!..

И там с колышка. А встанет город — живут другие. И как живут! Ремонтно-строительными управлениями обрастают... Тоже строители! Смех! Тут вот пяток лет — город отгрохали; завод, улицы, проспект...

— Раскланяться — плевое дело. Поцапался — хлоп заявление, и тю-тю!.. А Север — ум-м! — Север!..

На черта ему Север! Работы и здесь по горло. Город — по совести — дыра, но не все сразу... Дворец строится, а там и театр...

— Житуха на Севере! Деньжат сколотим и-и-и!.. По курортам!..

— А бригадир-то — хапуга.

— Одному несподручно, а с тобой!.. У тебя, Иван Матвеевич, хватка!

Ченцов остановился.

— Катись-ка ты, Пискунов!..

На лице Пискунова все задержалось: скулы, нос, губы:

— Ты зря это, я ведь так это, а Север — оно что, оно неплохо...

Круглые глаза Ченцова не мигали, и Пискунов знал, что можно ждать при этом, и попятился:

— Ну ладно, ладно, Иван Матвеевич... Ладненько...

В понедельник Ченцов шел к Белогруду с твердым намерением. Сейчас он ему все выскажет по порядку! Как строим?! Как?! Лишь бы средства освоить и объект сдать!.. Начал завод работать — ну и хорошо, дома заселили — ну и ладно, а что территория не благоустроена, что с недоделками объекты сдали — нас не касается: пусть другие доделывают!..

Он, Ченцов, строил бы не так! Да не так и строил... Пытался строить. А его то и дело с участка на участок перебрасывали — где прорыв, туда и кидали.

Вспомнил бас начальника строительства: «Жилье сдал — нечего тебе там делать больше. Что там осталось — беседки, газончики?! У нас на главном корпусе завода прорыв! Понимаешь, прорыв! А ты со своими газончиками!»

Сейчас он все ему выскажет, а если Белогруд поперет свое, он вежливенько положит на стол заявление и выйдет. И пусть...

У конторы толпились строители. Увидели Ченцова, окружили. Подскочил Сезнев, прораб с подсобок:

— Иван Матвеевич! Мысль! Своих послать на растворный узел! Вроде фирмы получится. Людей меньше останется, зато раствор на участках всегда будет. Как?

Иван прикинул в уме — мысль дельная.

А Сезнев бежал рядом:

— И в октябре полторы нормы грохнем. Как?!

Распахнулось окно на втором этаже конторы. Бас Белогруда перекрыл говор:

— Ченцов! Зайди-ка!

И только он перешагнул порог, загремел:

— Слыхал? Перебазируемся!

В голосе Белогруда Ченцов уловил нотки, какие появлялись у того на митингах, когда закладывали первый дом, когда пускали цех...

— Город готов! Стоит! — Белогруд саданул по столу пухлым, тяжелым кулаком. — Расти городу. Строй-управление в трест преобразуется. Как думаешь, Иван Матвеевич, кого в тресте оставим? Так сказать, в наследники.

От глаз Белогруда по его толстому лицу побежали добродушные морщинки, и Ченцов насторожился, нащупал в кармане заявление.

— Как думаешь?

Ченцов молчал.

— Посоветовались мы... — Складки возле глаз Белогруда расправились, и глаза — маленькие, светлые — холодно блеснули, скользнули по лицам собравшихся в кабинете людей. — Тебя оставить решили, Иван Матвеевич.

Ах, вон что! Ну, конечно... Ченцов колючий. Ченцов несговорчивый...

— Вот так, — мягко сказал Белогруд.

Все глядели на Ивана. За длинным столом собралось все начальство: секретарь парткома — с хитрой веселостью в глазах, будто радовался за Ченцова; председатель стройкома — сонный, безразличный; главный инженер — один глаз прикрыт, другой блестит зло; начальник отдела кадров — ну, вредная морда! — и как Ченцов не заметил раньше?

«Сговорились», — подумал он и в упор уставился на Белогруда. Будто через увеличительное стекло, разглядел все сразу: белый, нежный, словно у младенца, пушок на голове, невыбритую щетину в складках тяжелого подбородка, глубокие черные поры на массивном носу. Сказал тихо:

— Ну, дудки!

— Что дудки? — Белогруд откинул на спинку стула тяжелый торс. Повысил голос: — Что дудки?!

— Со мной этот номер не пройдет, — сказал Ченцов.

— Ба-а! Ты никак плохо выспался? — Белогруд задрал на середину лба густые темные брови. — Ба-а!

— Я вам не пешка, — сказал Ченцов. — Куда захотели, туда и поставили — не выйдет.

Белогруд захохотал так, что на графине стакан звякнул.

— Слыхали, а?! Слыхали?!

Все заулыбались, начальник отдела кадров открыл редкие, ехидные зубы, и Ченцов взорвался:

— Меня спросили — останусь?! Решили... Я сам решаю. Сам!

Белогруд оторвался от спинки стула, наполз, наехал на стол всей тушей.

— А что спрашивать? От барачников отделаешься, от палаток, от огрехов!.. — Ченцов узнал свои слова, которые говорил не раз, которые в субботу еще, обозлясь, говорил Пискунову, а глаза Белогруда недобро сузились, совсем спрятались в красных мясистых складках лица: — Строить будешь не так, как мы, в спешке. Чин чином будешь строить...

Ченцов скомкал в кармане заявление.

— Слова, — сказал он. — Это слова.

Белогруд выпростал глазки из складок.

— Слова? А что такое — слова? Слова — что такое, я спрашиваю?!

— По делам судили бы. Первые колышки — Ченцов, объект на прорыве — Ченцов, а теперь — оставайся...

— Первые колышки?! — взревел Белогруд. — Надоели тебе первые колышки! Огрехи тебе надоели! За пять лет подай ему сады Семирамиды! Нет, брат! Ты возмись и доделай! И всяческие сады, и...

Телефонный звонок прервал Белогруда. Он снял трубку, с минуту слушал, потом проговорил:

— Я же сказал... Ну? Ну? Что Ченцов? — Свирепо скосился на Ивана. — Что Ченцов?! — И вдруг успокоился, закончил тихо: — А впрочем, пусть. Ему доделывать.

Иван усмехнулся:

— Опять Ченцов. Напортачили — теперь Ченцов. Оставайся! Доделывай! Отдувайся!

Белогруд побагровел, колыни иголкой — кровь брызнет, спросил свистящим шепотом:

— Трусишь? За чужой спиной — смелый, а как самому — трусишь? Вон ты каков! Все против да против — мы и подумали...

— Ну, так легко вы от меня не отделаетесь, — сказал Ченцов и резко повернулся.

Белогруд вскочил:

— Не отделаемся?! Его выдвигают в начальники треста, а он... Мальчишка!

Опять задребезжал стакан на графине. Секретарь парткома протянул руку и снял стакан.

Ченцов глядел на Белогруда и не понимал, о чем тот кричит.

На трест? Его? А он такое тут нес!..

Кабинет был ярко освещен боковым солнечным светом, и Ченцов в упор разглядывал уже самого себя, разглядывал глазами Белогруда: выгоревший на солнце мальчишеский ерш, выпуклый, шелушащийся от загара лоб и воспаленные от солнца и ветра белки круглых упрямых глаз.

А Белогруд кричал, розовая кожа под белым пушком взмокла. Ченцову захотелось подойти к Белогруду, обнять его большие огрузневшие плечи, сказать что-то доброе, как отцу.

— Нахал! Нахал! — гремел Белогруд. — Глядите на него — улыбается! Нахал!

— Извините, — сказал Ченцов. — Извините, Семен Сидорович... Простояли в субботу, вот и взвинтились, вот и...

Белогруд тяжело перевел дыхание.

— Мальчишка. — И сел. — Его на трест? Нет, мальчишка. — Тяжелой ладонью сдвинул на край стола раскиданные перед ним бумаги, потом стал бесцельно перебирать.

Все нервы истрепали эти проклятые стройки. Да еще такие вот Ченцовы...

— Нет, мальчишка! Не серьезен — на трест.

— И с начальством ладить не умеет, — подсказал Ченцов.

— А был бы таким с подчиненными, мы бы... — Белогруд вдруг осекся. — Что? Отказываешься? — Лохматые брови опять полезли на середину лба.

За столом задвигались. У секретаря парткома исчезла хитринка в глазах, он глядел вопросительно, выжидающе. Председатель стройкома мигал, будто только что отошел ото сна, начальник отдела кадров ухмылялся, а у главного инженера в обоих глазах — злость. Ну, понятно, главному инженеру Ченцов больше всего перепортил крови.

Опять зазвонил телефон. Белогруд снял трубку. Выслушал, стал доказывать кому-то, что на строительство очистных сооружений бетонщиков можно перебросить с любого участка.

Ченцов стоял боком к собравшимся. Представлял себе этот город, в котором его хотели оставить. Он знал его весь, до последнего столба, до последней канавы. Но теперь город этот показался ему осточертелым, а не таким сказочным, каким представлялся, когда они, сжираемые гнусом, вели разметку, и не таким, каким виделся во сне, когда поднимали первые объекты... Теперь что? Теперь город стоит. Он есть. На домостроительном комбинате городские кварталы с конвейера сходят. Настоящему строителю тут делать нечего.

Белогруд положил трубку.

— Тут легче. Не с колышка начинать будешь.

Ченцов сцепил зубы, с трудом разжал:

— Что строить тут?

— Беседки. Газончики. Не ты ли их требовал? — Голос Белогруда опять загредел: — На главных корпуса завода прорыв! Отстойники заморозили! А он — тротуа а-а-ары!

Ченцов молчал.

— А-а?! — Белогруд похлопал себя ладонью по шее: — Вот ты где у меня со своим благоустройством!

— Это принципиальный вопрос, — сказал Ченцов, — как проектировать и как строить.

Белогруд потер шею.

— Ну-ну. Принципиальный? Ну-ну...

— Принципиальный, — повторил Ченцов. — Я за то, чтобы после нас другому строителю тут сто лет делать нечего было.

— Ну-ну. Так. — Белогруд поплотнее уселся, будто собирался долго, внимательно слушать, и вдруг вскинулся весь: — Гони все под одну гребенку?! И главное, и неглавное?! И много построишь так-то?!. — Он подождал ответа. — Ну что ж, тебе и карты в руки. На практике проверь. Самостоятельно. А у меня свои принципы: всегда упор делай на главное! — Он несколько раз прихлопнул ладонью по столу: — Главное, главное, главное! Некогда зализывать. Сам видишь: только бы размахнуться вовсю — бросай, главное сделано, город стоит! Разворачивай другую стройку! Опять с колышка!

Те самые, торжественные, митинговые нотки снова уловил Ченцов в голосе Белогруда; и вмиг представил, как будет вырастать на пустом месте новый город, новее этого и краше — совсем новый...

— С колышка, — сказал он, — может быть, весь смысл жизни строителя — с колышка...

Белогруд добродушно хохотнул:

— Может, и так. Но ты это еще успеешь. Лучше тебя объекты города никто не знает. Закончишь их — переведут. — Он тяжело повернулся к начальнику отдела кадров, придавил кулаком стол: — Готовь документы. Оставляем Ченцова.

— Нет, — сказал Ченцов, — не останусь.

От глаз Белогруда опять побежали морщинки.

— С колышков и здесь начинать немало. Школы, стадионы, больницы, парки... Трест не зря создается. И

ты должен рассуждать по-партийному. Не мальчишка.
— Нет-нет, — сказал Ченцов. — Одно дело — на голом месте начинать...

— Да пойми ты! — В какой раз за это утро Белогруд побагровел. — Сам! Сам строить будешь! Сам!

— Нет-нет, — повторил Ченцов, — не останусь. Не останусь! — И, резко повернувшись, пошел из кабинета.

Все молча глядели ему вслед, и только когда за Ченцовым хлопнула дверь, начальник отдела кадров покрутил головой и сказал то ли осуждающе, то ли восхищенно:

— Характерец!

Белогруд крикнул. Постучал ребром ладони себе по шее и перехватил взгляд секретаря парткома:

— Не косись, не косись. Не потому оставляю. Расти ему надо. А характер... С таким характером... Уж если решит... — Белогруд трубно хмыкнул, дернул головой, повторил: — Уж если решит, если решит... — И снял трубку. — Горком. Дубовецкого. Андрей Андреевич? Белогруд. Думаем оставить вам Ченцова.

Долго слушал усмехаясь.

— Молодой? Ничего. Я начинал моложе. А у него жилка есть — прирожденный строитель. И мыслящий. — Он многозначительно поднял палец: — С перспективой!

Опять слушал, усмехаясь. Переглянулся с секретарем парткома.

— А что — характер? Ничего характер. Углы обломываются, а характер останется. — Умолк. Брови его вдруг подскочили: — Явился?! — Он торжествующе обвел взглядом сидящих за столом. — Я так и знал! Явился потому, что оставаться не хочет. Вот и толкуй с ним. Сам. Сам договаривайся. — И, захохотав, размашисто положил трубку.

На Сунгире

1

То, что смешно, интересно, а что интересно, то и ценно,— таков основной закон тяготения Витьки. Шрам через всю щеку длинного Витькиного лица—очевидное свидетельство силы этого закона.

В детстве он по целым дням гонял на велосипеде, и ему смешно было видеть вытянутые рожи, когда несся он в стойке на руках по крутому Летнеперевозинскому спуску. Тогда и лег на его лицо шрам, а теперь Витька объясняет, что те эксперименты с велосипедом способствовали развитию вестибулярного аппарата всего рода человеческого.

Он трижды терпел велосипедные катастрофы, дважды сбивала его машина, пять раз клялся он не дотрагиваться до велосипеда, а тот, словно издеваясь над ним, сам вскидывал на себя его тощее тело. Это было смешно, надо было разобраться во всей этой механике, и Витька очутился в автодорожном техникуме.

Если бы многочисленные его изобретения узаконили, то весь мир хохотал бы, глядя на эти устройства, но ему не выдали ни одного патента, ни за одно открытие не вознаградили, хотя в журнале «За рулем» и писали о приспособлениях, которые выдумал Витька и которые теперь применялись на авторемонтном заводе.

Среди трех знакомых имен, упомянутых в журнале, его имя не фигурировало—это было смешным уже в самой природе человека, и Витьке показалось забавным заняться препарированием всевозможных гидр, а через это глубже познать человека, и повлиять на дезоксирибонуклеиновые кислоты, и научиться управлять наследственностью, и он оказался на биофаке университета.

В университете он тоже экспериментировал — колдовал в лабораториях, наслаждаясь бурлящим кипением холодных жидкостей и часто устраивая взрывы, разнесившие в осколки бесчисленные мензурки, пробирки и колбочки. Собирался заняться переклассификацией растений: ведь смешно, что травы, дурманный медовый запах которых слышен за версту, травы, которые и мать, и бабка, и прадед Витьки звали медуницей, ученые нарекли неведомым именем, а медуницей именовали почему-то весенний цветок, не имеющий запаха.

Кто знает, куда бы привел в тот год Витьку основной закон его тяготения, если бы не узнал Витька, что все его эксперименты — это сущая мура по сравнению с той ямой, которую выкопали тем летом где-то на Сунгире. Та яма перевернула научные представления о человеке эпохи палеолита, сложившиеся в течение всех предыдущих исследований. И Витька проявил всю изобретательность, даже изворотливость, на какие был способен, чтобы добиться своего — прервать незаконченные опыты и уехать с экспедицией на раскопки.

2

На Сунгирь ехали «спецавтобусом». Было душно, через окна пекло, но в автобусе всю дорогу кричали песни, пробовали плясать и, красные, распаренные, доехали до Владимира незаметно.

Город открылся неожиданно — автобус вынырнул из леса, и впереди встали на холмах скопища новых белых домов, и машина сразу выкатила на широкий проспект. Но вдруг замелькали по сторонам старые приземистые здания, колокольни, церкви, соборы...

Все вертели головами, шарахались от окошка к окошку, и «спецавтобус» скрипел, переваливаясь, как утка, со стороны на сторону, а молодой бородатый кандидат наук, сидевший рядом с водителем, изрекал:

— Земляной вал и Златые врата — двенадцатый век; Успенский собор — фрески Андрея Рублева; жемчужина древнерусского зодчества — Дмитриевский собор; Рождественский монастырь — захоронение Александра Невского... Неподалеку от Владимира — Боголюбovo, Суздаль — абсолютно уникальный город...

Разве не смешно слушать все это?! Обшарь пол-России — не отыщешь столько старины, сколько собрано здесь, в одном месте.

Ухмыляясь, Витька думал: а не заняться ли ему историей?..

3

Схема будущих взаимоотношений наметилась в дороге, а при разбивке лагеря утвердилась опытным путем и закрепила на все лето пары — Игоря из Новосибирска и Валю из Тулы, Олега из Москвы и Лену из Харькова, Сашу из Омска и Нину из Горького. Некоторым, правда, для уточнения связей потребовалось еще несколько дней, и тогда уже все взаимоотношения сложились окончательно, и пары каждый вечер, уединяясь, разбредались и возвращались по одной под утро в лагерь.

Без пар остались Витька и бородатый кандидат наук, временно, до особого случая, возглавлявший экспедицию.

Кандидат был поглощен будущими открытиями и, кроме раскопок, ничего вокруг не замечал и ни на что не обращал внимания — не знал, когда кто ложится спать и встает, не понимал, почему некоторые целыми днями клюют носом.

Витька, хоть и жаждал открытий, но все замечал, все понимал и во всем отыскивал смешное.

Неподалеку от раскопок находилось древнеславянское городище — окруженный ровом холм с вогнутой, наподобие блюдца, вершиной. Городище было удивительно своей близостью к памятникам других веков, других эпох — с его вершины видны были и церковь Покрова на Нерли, и Владимир, и Боголюбово, и раскопки. Но Витька иронизировал не над этим.

Остатки земляного вала по краю вершины холма заросли ивняком и ольхой, там, на вершине холма, и ставила экспедиция палатки, там и складывались окончательно пары. В первый же день Витька произнес программную речь. Он заглянул в глубь истории, нарисовал картину прошлого, когда вершина этого холма была огорожена бревенчатым частоколом, тесно уставлена хижинами и перенаселена голой ребятней, параллельно Витька коснулся наших дней и на примере великого

поселения данной экспедиции сделал вывод, что смешно было бы провести социологические исследования среди счастливых семейных пар — все они оказались бы результатом случайных знакомств...

Закончить речь Витьке помешал кандидат наук.

— Пошли, — сказал он. — Пошли.

К раскопкам шагали торжественно притихшие и какие-то испуганные. Где-то на пустыре, среди свалок, остановились на краю карьера четырехметровой глубины. Кандидат наук торжественно провозгласил:

— Вот! Здесь!

И замер в благоговейном почтении.

Витька заглянул вниз — обыкновенная ямина, глядеть там не на что — и заржал.

На него оглянулись с возмущением, и он умолк, закрыл физиономию ладонями.

4

Настали будни. С вечерами у дымных костров, с обедами на солнцепеке, с однообразными неделями копания в земле. Прежде всего безбоязненно снимали верхний слой. От нулевой отметки копали осторожно. И вот — первая находка, какой-нибудь камушек, на котором кандидат наук обнаруживал следы обработки — ретушь. Начинался культурный слой — и тогда продвигались ощупью, срезали землю лопатами по сантиметрику, каждый камушек, каждое пятнышко расчищали осторожненько ножами, обметали кисточками, обдували, извлекали с величайшими предосторожностями. За лето раскопали немало костей бизонов, северных оленей, диких лошадей, мамонтов. На гигантский тазовый пояс мамонта глядеть приезжали ученые из Москвы. Встречалось немало кострищ, каменных скребков, костяных подвесок, кремниевых наконечников. Это были рядовые находки, а новой сенсации не было. Никак не могли наткнуться на погребение древнего человека.

Находки нумеровались и складывались в строгой очередности. Доходили до последнего горизонта, зачищали дно и начинали копать рядом, превращая только что вырытый с такой скрупулезной тщательностью карьер в отвал свежей земли.

Кандидат наук ходил перемазанный глиной, нечесаный, плавки его еле держались на ослабшей резинке, ремешки босоножек от частого лазания из карьера в карьер лопнули, босоножки держались на ногах чудом, но кандидат не обращал внимания ни на что, кроме раскопок.

— Арнольд Павлович, — приставал к нему Витька. — Давайте выроем одну яму поглубже. Метров десяти.

Арнольд Павлович глядел на Витьку, будто того только что откопали после тысяч лет лежания в земле.

— Давайте! — настаивал Витька. — Тут древние города, городище, стоянка эта, а может, тут же, поглубже только, останки какого-нибудь неандертальца, синантропа или даже питекантропа? Смешно? Правда, смешно?

Арнольд Павлович тряс головой.

— Нет. Этого не может быть. Это исключено.

— Почему? Но почему? — приставал Витька. — Почему не попробовать?!

Арнольд Павлович какое-то время глядел на Витьку так, будто и его собирался пронумеровать и отложить в сторону для будущих исследований, потом отворачивался, сонным голосом говорил что-то об археологии, о том, что это за наука и какими законами она руководствуется.

— Эту стоянку вскрыли экскаватором! Случайно! Экскаватор ковшом перевернул все ваши законы!

И тут Арнольд Павлович преображался. Впечатление было такое, будто фокусник какой подменял на глазах у всех кандидата наук. Он начинал говорить взмахом, речь его не поспевала за мыслью, и он, раздражаясь, изъяснялся косноязычно, произнося слова невнятно, глотая окончания слов, старался все объяснить, все доказать жестами.

— Завелся, — говорили студенты и подступали к Витьке и Арнольду Павловичу. Работы надолго останавливались.

Однажды после подобного диспута Витька, посмеиваясь, выбрался из карьера и долго бродил в окрестностях раскопок, пока нашел подходящий камень с острым сколотым краем. В обеденный перерыв камень этот он натер влажной глиной, зарыл на глубине треть-

его горизонта, а землю сверху утрамбовал и загладил лопатой.

Когда находку раскопали, очистили от налипшей земли и кандидат наук с ученым видом изрек: «Скребок», Витька во второй раз за все это время заржал.

Кончилось тем, что с Витькой переругались почти все, находя на камне все новые и новые следы человеческих рук. На камне поставили белой эмалью номер и камень аккуратно упаковали вместе с другими ценностями.

5

Сенсации ждали все, но сильнее других ее ждал, наверно, Витька, так как время, по его мнению, уходило без пользы, а это было не смешно и не интересно. Витька заскучал. Вспоминал университетские лаборатории, жалел, что не закончил опыты, и всячески старался отлынивать от работы.

— Рой глубже, швыряй дальше, — говорил он, глядя на старания других и посмеиваясь.

Те, кто вернулся этой ночью в лагерь лишь под утро, не выспались, охотно поддерживали Витьку, а это расхолаживало всех, и вскоре в экспедиции работали по-настоящему лишь в присутствии Арнольда Павловича да тогда, когда обнаруживали какую-нибудь находку и у всех пробуждался интерес к открытию.

Арнольд Павлович, казалось, по-прежнему ничего не замечал, кроме раскопок, и плавки уже готовы были совсем свалиться с него, а каждая босоножка держалась на ноге лишь на одном ремешке. Студенты замечали, что Витька все чаще «заводил шефа», и радовались этим веселым передышкам.

Как-то в полдень, когда Витька стоял, прислонившись прокаленной спиной к холодной стене ямы, к нему через весь карьер прошагал Арнольд Павлович и тихо сказал:

— Я вас выгоню.

Витька опешил.

— За что?

Арнольд Павлович оглядел теперь Витьку не так, как оглядывал прежде, оглядел так, будто Витька — экспонат, уже изученный, и его можно положить в кла-

довую, на самый низ, под другие, такие же, как он, не нужные пока экспонаты.

— Сами знаете за что.

Арнольд Павлович повернулся спиной и пошагал прочь, в другой конец карьера, а Витька глядел ему вслед, на его сутулую волосатую спину, на обвислые грязные плавки, на кривые и тоже грязные, волосатые ноги, и чувствовал, как от обиды у него холодеют губы.

«Ах, землеройка! Ах, крот!» Витька сам бросил свои научные опыты, сам себя превратил в робота, в лопату, гробит ради этого землекопа свои драгоценные дни, и — на тебе: «Выгоню!»

6

Весь другой день Витька работал с показным усердием, весь день старался быть на глазах у Арнольда Павловича, весь день шутил, будто и не холодели у него вчера от обиды губы.

Когда далеко за полдень раздался крик: «Охра! Арнольд Павлович! Охра!», все кинулись к верхнему карьеру. Порошком охры в эпоху палеолита густо посыпали могилы, и понятно было волнение, охватившее всех, — не зря перекопали столько земли! Новое погребение!

Виктор тоже подошел. Выглядывал из-за спин, посмеиваясь.

— Охра, охра! — слышался снизу вдруг осевший, незнакомый голос Арнольда Павловича. — Охра! Осторожненько, ребятки! Теперь осторожненько!

В тишине слышалось дыхание сгрудившихся людей, шарканье ножа и кисточек. Потом снова раздался голос Арнольда Павловича, голос опять-таки незнакомый, но уже другой какой-то, вроде бы жалостный:

— Ярко что-то для охры. Охра бледнее, ребятки...

Еще минут через пять Арнольд Павлович выбрался из толпы и, отойдя немного, сел на дно карьера, прислонившись спиной к сырой земле. Сидел он, сгорбившись, левой рукой безуспешно пытался поудобней пристроить на переносье очки, которые вдруг стали мешать ему.

А еще минут через десять студенты окружили его. У них были вытянутые лица. Кто-то из ребят прогово-

рил: «Вот» — и к ногам Арнольда Павловича лег влажный желтый кирпич с круглыми дырками.

Все долго стояли, переминаясь с ноги на ногу. Девчата вздыхали. А Арнольд Павлович, не поднимая головы, молчал и все никак не мог справиться с непослушными очками.

Наконец он, начав от волнения заикаться, спросил тихо:

— К-кы-кто это с-сделал?

Все подавленно молчали, и он все так же тихо повторил свой вопрос, потом поднялся, постоял на месте и повернулся лицом к стене карьера, спиной к людям.

К ступеням, выдолбленным в конце карьера, он не пошел, а стал выкарабкиваться наверх здесь же, где стоял. Уцепиться было не за что, и он упал. К нему подскочили, но он оттолкнул протянутые руки.

Глядя на Арнольда Павловича, теперь Витька испытывал почему-то стыд. Припоминал, как вчера вечером он отмачивал в воде кирпич, а потом выдалбливал на дне карьера шурф, закладывал туда кирпич, присыпал сверху желтым кирпичным порошком и слой за слоем утрамбовывал сверху землю. Теперь Витьке стыдно было вспоминать, с какой радостью ждал он весь день вот этой минуты, которая задаст новую загадку всезнающему кроту-кандидату и поставит его на подобающее ему место.

А Арнольд Павлович стоял у стенки карьера, с каким-то затравленным видом, с влажно блестящими из-за очков глазами, глядел на всех сразу.

— П-поймите, если этого н-никто из вас н-не д-делал, т-то здесь уже все п-пер-рекопано, и все наши открытия — это б-блеф.

Он задержал взгляд на Витьке:

— Я п-прошу, п-прошу вас! С-сознайтесь! Ин-н-наче, ин-н-наче...

Он опять отвернулся и теперь уже пошел к ступеням.

В кругу оказалась Валентина из Тулы.

— Ну, ребята! Ну! Ну, как же это?!

Она, тяжело дыша, остановилась перед Витькой, глаза ее гневно блестели.

— А что шуметь, — сказал Витька. — Археология — наука? Наука. Она разберется во всем.

И вслед за Арнольдом Павловичем выбрался наверх и зашагал к лагерю.

7

Арнольд Павлович лежал в палатке девчонок на раскладушке, закрывшись с головой одеялом. За день палатку напекло, в палатке стояла невыносимая духота, но он не двигался и не подавал признаков жизни.

Прошла ночь, и утром обнаружилось, что он не изменил позы, хотя и видно было, что дышит. Вызвали «скорую помощь». Врач выпростал из-под одеяла руку Арнольда Павловича и нащупал пульс. Тогда Арнольд Павлович заворочался и сел.

— Убирайтесь! — сказал он.

Врач пожал плечами, оглядываясь.

— Убирайтесь, — повторил Арнольд Павлович.

— Ну, знаете!.. — Врач возмущенно подхватил свою сумку.

Арнольд Павлович глядел на всех своим прежним взглядом — спокойным и даже как будто равнодушным. Очки прочно сидели у него на переносье.

— Вот и все, — сказал он. — Продолжим работу. Кирпич этот пусть останется на совести у того, кто его закопал. Нам не придется начинать с нулевой отметки... Пошли.

Все шумно задышали, загалдели, двинулись из палатки, и тогда Витька почувствовал, как у него опять холодеют губы.

— Стойте. Стойте, — сказал он и, глядя прямо в очки Арнольда Павловича, тихо проговорил: — Это я сделал.

— Знаю, — тут же ответил Арнольд Павлович, и глаза его чуть прищурились — глядели на Витьку несколько секунд то ли с любопытством, то ли с жалостью. Потом Арнольд Павлович отвернулся: — Пошли работать. Пошли.

И встал.

Витька стоял, с тоской слушая, как удаляются шаги, и думал о том, что все происшедшее здесь за эти сутки совсем не смешно. Не смешно, а грустно...

Хотя смешному в природе нет границ, а все смешное интересно AD INFINITUM — до бесконечности..,

И разве не смешно будет, если он, который больше всех рвался в эту экспедицию, останется теперь здесь?..

Витька стоял, соображая, как ему быть — идти на раскопки или нет; но казалось ему, что тревожит его другое что-то, более важное. Вдруг возникло неосознанное ощущение тревоги, будто он упустил что-то в жизни своей, не заметил, просмотрел и жизнь свою придется ему теперь начинать заново. С нулевой отметки.

Пожар

1

Только возникли перед Леной в этот раз мастерские, только померещились ей, и сразу охватил ее страх. То ли слышалась ей за стенами старого барака возня какая, то ли чей топоток, то ли почудился плач ребенка...

«Кошка! Кошка заперта в коридоре!..» Мысль эта исчезла так же мгновенно, как и появилась. Уже не тревожили звуки. Пугал свет. Он плясал в боковом окне...

Лена закричала. Вернее, крикнула — испуганно и коротко, а закричала чуть позже, когда ощутила жар огня и поняла, что в бараке пожар. Уж не снится ли ей все это?! Она почувствовала свою беспомощность, и тогда закричала, и ужаснулась, сознавая, что кричит во сне и ее никто не услышит.

А огонь полыхал за окном, и Лена кинулась к окну, и легко, беззвучно, как мыльный пузырь, выдавила стекло руками, и полезла головой вперед в чадный дым.

Осколки стекла раскроили на ленты подол, оцарапали ей бедра, впились в тело, но боли она не ощутила. Обрадовалась, что попала в мастерскую Василь Василича — это он варит всегда кофе, это он не выключил электроплитку, это у него занялось!..

Огонь гудел. Скручивал в трубки обои. И Лена опять закричала — за этими обоями, за стеной, был склад. Ее склад. Лена кричала и кричала, а крик вместе с дымом лез назад к ней в рот, сдавливая горло, душил...

В отсветах пожара металась Лена по длинному тем-

ному коридору в поисках огнетушителя. От страха ноги не повиновались ей — она с великим трудом двигала их; кричала в телефонную трубку, а голоса у нее не было — едва ворочался во рту разбухший язык...

Мелькнула мысль: «Сбить огнетушителем замок на двери в склад...», а Лена уже сгребала в охапку все, что было на стеллажах склада, и сыпала, выпихивала за окно...

Делать это было бессмысленно, потому что и за окном все сгорит, как только пожар охватит мастерские снаружи, но Лену это не тревожило, важно было выпихнуть за окно все, что валится у нее из рук, рассыпается по полу, не лезет в окно...

И в сознании Лены, и в глазах все было неясно, расплывчато. Все было во тьме и дыму. Но вдруг отчетливо увидела Лена, как обои в желтых крупных цветах вспучились на стене, закурились голубым дымом и сразу все вспыхнули красным огнем.

В ту самую минуту, как услышала явственно Лена шум пожарных машин, звон стекла, стук топоров и людские крики, она поняла, что именно в эту минуту потолок в мастерской Василь Василича и стена, отделяющая мастерскую от склада, рухнули — клубы пламени, искр и дыма взметнулись над зданием...

В тот миг, когда сознание Лены меркло, Лене почудились оранжево-огненные одежды странных людей...

2

В тот день у нее был выходной, и Лена ездила в областной город за покупками. Моталась в самую жару по магазинам, устала. А купила всего одну косынку — в пронзительно ярких цветах, мягкую, как пух, и шла уже к автобусной станции, чтобы выстоять в очереди за билетом на обратный путь, когда ее будто бы толкнуло что в грудь, остановило. В огромной стеклянной витрине магазина увидела она деревянную фигурку, самолично упакованную Леной с месяц назад в картонный ящик.

В магазине нашла Лена и другие изделия, которые когда-то сама заворачивала в тонкую папиросную бумагу и укладывала в коробки и ящики. С замершим сердцем долго любовалась ими, такими знакомыми и

такими вдруг чужими. Ей хотелось купить что-нибудь из своих сувениров, но лежали они рядом с драгоценными камнями, серебром, золотом, и Лене казалось, что у нее не хватит денег на покупку.

Кроме Лены, в магазине посетителей не было, но продавщицы не обращали внимания на Лену. Наконец одна из них, накрашенная, с высоко взбитыми, жесткими на вид волосами, подошла:

— Вы хотите что-то купить? Здесь все продается на иностранную валюту.— Усмехнулась: — У вас сертификаты?..

Лена выскочила на улицу и стояла там, издали вглядываясь в нарядную, залитую зеленым неоновым светом витрину. Тогда и увидела она, как вошли в магазин необычно одетые люди — их черные тела до самых пят были завернуты в яркие оранжевые ткани, а ноги были почти босы — на ногах болтались какие-то примитивные, вроде бы даже деревянные сандалии.

Лена дождалась, когда эти темнокожие вышли из магазина, и долго-долго шла следом за ними, дивясь их одеждам и стараясь угадать, что купили эти люди...

Вернулась Лена домой истомленная духотой большого города и сразу прилегла. Только смежила веки, и ей опять увиделись те странные люди в оранжевом, и Лена улыбнулась, представив, как приедут они к себе домой и своим детям, таким же, как сами, черным, завернутым в оранжевое, привезут сувениры, упакованные в коробочки ее руками...

Лена опять шла, долго шла за этими людьми, все глубже погружаясь в сон, в тот самый сон, в котором ждал ее пожар.

3

Пробудившись, она вскочила. Бросилась к окну. Не слышно было набата, криков. Небо лежало над городом темное, в звездах. Лена тихонько засмеялась. Засмеялась по привычке в кулак. Разделась, а потом притворила дверь в сени — в сенях гулял ночной ветерок, дверь поскрипывала... Это дверь разбудила ее...

Легла Лена, и на нее навалилась тоска. Что за жизнь у нее? Зря она живет. Никому не нужна... Были бы у нее дети!.. Много детей. Маленькие, пухлые.

Или случился бы в самом деле пожар, и кинулась бы она в огонь, упала.

И уже не во сне, а в воображении своем увидела Лена снова огонь, мастерские в огне...

Нет-нет, без мастерских у нее совсем не будет жизни, куда ей деваться потом в этом городе, где ей знакомо все до мелочей, где, кажется, ее все знают и она — всех... Всех, кроме туристов. Да и туристов знает — в большинстве своем каких-то одинаковых — в мятном, несвежем, заспанных, равнодушных к Лене...

4

Города этого последние столетия как будто не касалось время. Все менялось вокруг — над городом с ревом набирали высоту реактивные самолеты, по-за городом с громом и лязгом шло стороной шоссе, — а город, все такой же сонный и пыльный, как сотни лет назад, все дремал в запустении и все больше дряхлел.

Вспомнили об этом городе совсем недавно. Спешно стали чинить и подкрашивать, обновлять старину, со всего света зазывать сюда туристов. И улицы города переполнились приезжими людьми, и город быстрехонько превратился в многоязычный базар, днем шумный, как никогда раньше, пыльный, а к ночи замусоренный и по-прежнему безлюдный.

И тут жизнь Лены, до той поры скучная, однообразная, переменилась. Открыли в городе мастерские. Приспособили к делу старый барак — тесовые стены и крыша, узкий коридор с дощатым прогнившим полом и частыми скрипучими дверьми по обе стороны. Подоконники, двери, полы выскоблили, помыли, стены изнутри оклеили обоями, собрали в барак из окрестных сел и деревень умельцев и приколотили над входом вывеску. Лену туда зачислили завскладом — это и приукрасило ее житье.

За дверьми, в тесных темных комнатах барака, работали с медью и деревом — чеканили, паяли, резали, выжигали, плели сувенирные лапти (по ногтю лапоток); в каждой комнате шла своя особая жизнь, из-за каждой двери в коридоре слышались свои особые запахи, шорохи и стуки...

В мастерской Федора Ивановича, горбоносого стари-

ка с мохнатой седой головой и жилистыми желтыми руками, в воздухе всегда висел тяжелыми пластами синий дым — в горле першило от крепкого самосада; из мастерской Ксении Андреевны, полной молодящейся женщины, в коридор тянуло ароматом пудры; из-за двери Василь Василича, сухонького быстроглазого мужика, по всему зданию несло запахом черного кофе; из мастерской Игнатия Лаврентьевича, длинного, важного молчуна, по всему зданию разносился вечный гром меди.

К мастерам Лена заходила редко, только по делу, хотя ей иногда и хотелось посидеть возле мастера, затаившись, понаблюдать, как он работает, увидеть, как эти ежедневные таинственные шорохи и стуки за дверьми рождают на свет красивые вещицы, которые потом готовыми поступают к ней, Лене, на склад.

Прежде чем упаковать изделия, наклеить сверху на картонную коробку ярлык с надписями, Лена подолгу разглядывала каждый сувенир. Любовалась рисунком, формой. Иногда думала, как надо было бы изменить что-нибудь, и тогда сувенир стал бы еще краше, привлекательней. Думала, что как-нибудь явится на заседание художественного совета и выскажет свое мнение по каждому сувениру, и все будут внимательно слушать ее, и все поймут, что она не просто завскладом, что она понимает в красоте.

Тут она конфузилась и, закусив губу, начинала быстро-быстро упаковывать рассортированные и разложенные по стеллажам, согласно разнарядке, изделия.

Мастера иной раз сами заходили к Лене — может быть, для того, чтобы еще раз взглянуть на то, что вышло из-под их рук и уйдет теперь навечно, неизвестно к кому и неведомо в какие края, а может быть, для того, чтобы, посмотрев как бы со стороны на творения, ставшие уже чужими, проверить свои тайные задумки.

Чаще других навевывался Федор Иванович. Всовывал к ней в каморку горбатый нос, говорил басом:

— А ну-ка, покажь-ка мне ту, эту, как ее...

Лена чутьем угадывала, на что он хочет взглянуть, доставала сувенир и, если он был уже уложен, распаковывала.

Федор Иванович брал в свои желтые руки вырезанную из дерева фигурку в подпалинах, сердито всматри-

вался, поднося к самому носу. Ставил на стеллаж и разглядывал, отдаваясь, шарил по карманам в поисках курева и тут вспоминал про Лену. Из-под косматой брови скашивал на нее хитрый глаз. Кашлял.

— Что?.. Нравится?

Стушевавшись, Лена кивала, Федор Иванович снова кашлял и, отдавая ей сувенир, уходил довольный. А если Лене не нравилось что в фигурке, она отворачивалась, чтобы взглядом даже не обидеть старого мастера. Федор Иванович молчал. Лена слышала, как он безуспешно искал в кармане курево, наконец говорил сердито:

— Ты... вот что... Ты погоди заклеивать коробку-то.

И уносил фигурку. Иной раз возвращал через месяц. Молча ставил перед Леной. Фигурка менялась до неузнаваемости. Лена думала порой, что Федор Иванович подменял сувениры, приносил другие, теряясь, склоняла к плечу голову, а Федор Иванович смеялся:

— Что?.. Как?..

По-отечески трепал жесткой рукой голову Лены.

— Ишь!.. Чутье-то есть у тебя, есть!..

После таких слов его Лена уходила с работы веселая. Шла улицей, изукрашенной наличниками, на углу перебиралась через лужу и оказывалась возле белых стен Спасо-Ефимиева монастыря. Здесь задерживалась. Отсюда видны были на том берегу Каменки другие стены — белые и красные — и бесчисленные купола, маковки, луковицы и шатры соборов, церквей, колоколен, архиерейских палат и монастырей. — Покровского, Ризоположенского, Васильевского, Александровского, и Лена в какой раз спрашивала самое себя: «Кто ж это додумался поставить их вместе? Кто же это выстроил такую красоту?»

Потом Лена опять углублялась в путаницу деревянных улиц, закоулков, тупиков — приближалась к своему дому и все больше грустнела, думая о своей внешности, о себе самой, о том, что никому-то нет до нее дела, никому-то она не нужна и никто никогда не полюбит ее, дурнушку.

Правда, жил на земле человек, который вроде бы отличал ее от других и который успел заронить в ее

сердце смутную надежду, не оставлявшую ее теперь вопреки всему. Человеком этим был шофер автофургона, увозившего из мастерских упакованные сувениры.

Пока Лена отпускала товар — выписывала накладные, по списку выдавала коробки, — пока загружали фургон, шофер молча стоял у двери, на которой белым по черному было написано: «Посторонним вход воспрещен!» Наконец его окликали.

— С-счас,— говорил он и все стоял. Вытянув губы, глядел то ли на Лену, то ли мимо нее, глядел куда-то вниз.

Постепенно привыкла Лена и к шоферу. Думалось ей, что шофер относится к ней точно так, как ко всем остальным людям, и что ему все равно, какая у нее внешность, но все же, когда он появлялся в мастерской, она всегда помнила, что он стоит тут, глядит, может быть, на нее; и это ее немного тревожило, волновало приятно, и она все ждала тайно, что шофер вдруг возьмет да и скажет ей что-нибудь совсем неожиданное и приятное; представляла себе, как он пригласит ее в кино, и как они будут сидеть рядом в темном зале, и как он дотронется до ее руки...

И шофер однажды сказал, глядя на нее диковатыми испуганными глазами:

— Замуж тебе не пора?.. Я вот жениться надумал...
Одному не то как-то...

У Лены внутри сорвалось тогда что-то, упало; почувствовала Лена слабость в ногах и, пока не уехал шофер, стояла, чуть живая спиной к нему, не зная, что сказать, что подумать. И уж такая счастливая возвращалась в тот день с работы, что не прятала ни от кого глаз и ловила на себе внимательные, любопытные и даже веселые взгляды прохожих.

Но счастье ее кончилось так же внезапно, как и возникло. В тот же день, вечером, увидела она шофера вместе с другой женщиной. Он молчал, опустив голову, а женщина хохотала, глядя на него сбоку. Шофер приметил Лену, и замер, и уставился на нее, а Лена бросилась в сторону и побежала домой. Дома долго гляделась в зеркало, сравнивая свое скуластое конопатое лицо с лицом той женщины. Да разве могло быть у кого еще такое противное, как у Лены, лицо! Эти скулы, эти маленькие глазки и этот большой нос!..

Когда Лена, вволю наплакавшись, ложилась спать и со зла стянула с себя вместе с платьем комбинацию и отражение ее тела забелело в зеркале, Лена опять стала вглядываться в стекло и сравнивать себя с той женщиной. Та женщина маленькая и тощая, а у Лены полные длинные ноги, тело тугое и чистое. Увидел бы ее сейчас он!..

Стыдясь самой себя, краснея, Лена поворотилась перед зеркалом, оглядела себя со спины, а потом бросилась к выключателю. В темноте залезла в постель и проплакала всю ночь.

6

Родители Лены давно умерли. Лена жила одна в старом деревянном доме. По ночам в углах дома, под полом и на чердаке что-то поскрипывало, потрескивало и шуршало, Лена привыкла к этому и не боялась темноты, но после той проплаканной ночи, после того, как она вымыла слезами, вытравила из своего сердца шофера, этот дом, его темные шорохи, его скрипучая пустота опостытели ей. Лена с радостью согласилась бы жить в мастерских, если бы разрешили ей приткнуться куда-нибудь в угол склада раскладушку и оставляли бы Лену в складе на ночь. Не смея об этом просить, Лена старалась как можно дольше пробыть в мастерских — позже всех уходила с работы и раньше всех приходила.

Как-то прибежала еще затемно. Долго ждала, когда появятся уборщицы, отопрут дверь, а потом сидела у себя в каморке, слушала шум уборки и думала о шофере. Представляла себе шофера, его коренастую фигуру, круглое лицо с надутыми, детскими губами, и в Лене пробуждалась постепенно странная, вроде бы материнская нежность и даже как будто жалость к шоферу, и Лена подумала, что, если бы знал он о ее тепле к нему, не стал бы глядеть на то, что она некрасива лицом, полюбил бы ее...

Лена всплакнула, а потом взяла липовую чурку и стала ножом срезать острые торцовые углы. Не слышала, как ушли технички, как наступила недолгая тишина, и как приходили по одному мастера, и как барак заполнялся своими обычными запахами, шорохами и стуками.

В тот день Лена вырезала из дерева свою первую фигурку — отдаленно похожую лицом на шофера, неказистую и потешную. До того смешны были ее тщедушное тельце, и большие ладони лопатами, и тяжелые, как окатыши, ступни ног, что Лена, глядя на фигурку, может быть, впервые в жизни по-настоящему громко хохотала.

Не слышала даже, как сунул в каморку лохматую голову Федор Иванович. А когда спохватилась, и сорвала со стеллажа фигурку свою, и запрятала, было уже поздно.

— Доченька! — взмолился Федор Иванович. — Доченька! Покажь-ка мне, что прячешь! Покажь... Откуда у тебя такое? Уж больно любопытно сделано. Я и не видывал никогда такой фантазии! Покажь!..

Лене было стыдно до слез отказывать в просьбе старому мастеру, а вынуть, представить его суду свою нечаянную поделку уж совсем казалось невозможным, и только привычка Лены отмалчиваться в любом случае и прятать от других глаза помогла ей пережить тот стыд свой, тот неуважительный свой отказ Федору Ивановичу, — пережить тот свой позор.

И потом не раз допытывался у нее Федор Иванович, что же это любопытное такое прятала она от него, но так ничего и не узнал. А Лена с того памятного дня всякий раз тщательно проверяла запоры на двери склада, прежде чем приняться за новое вырезывание.

Все ее фигурки лицом походили то на самое Лену — преувеличенно скуластые, то на шофера — с толстыми, по-детски надутыми губами, а то на Федора Ивановича — как моржи, усатые и горбоносые, но все они были одинаково тоненькими, скособоченными и смешными — с непомерно большими, вывернутыми в разные стороны кистями рук и ступнями.

Закончив фигурку, Лена ставила ее на стеллаж и, подражая Федору Ивановичу, щурилась, склоняя набок голову. Сначала радовалась, тихонько, в кулак, смеялась, а потом начинала вглядываться в свою работу с придирами и находить в ней все больше и больше несовершенного — не было в ее фигурках ни той твердой, даже лихой небрежности, с какой наносит на свои изделия опытная рука каждый штрих, ни той одинаковой во всех сувенирах, почти машинной похожести, ка-

кую придает сувенирам массовое производство, а главное, поделки ее казались ей абсолютно нелепыми, потому что совсем не были похожи ни на один сувенир, какой доводилось ей видеть.

Вконец расстраиваясь, Лена все более стыдилась своего тайного увлечения и украдкой уносила фигурки домой. Теперь они стояли там, выстроившись в длинный ряд на полке в темных сенях. Нередко Лене хотелось вынести их на свет, рассмотреть еще раз, нодумалось ей, что не стоят они этого, и Лена, проходя мимо полки с фигурками, старательно отворачивалась, будто фигурки были ей безразличны.

7

В тот вечер, когда приснился Лене пожар, она опять плакала. Задремывая, снова увидела огонь, и кинулась в огонь, и снова очнулась. Стала перебирать в памяти важнейшие события своей жизни — первых туристов в городе, открытие мастерских, встречу с шофером, первую свою фигурку; и вдруг пришло к Лене странное нетерпеливое спокойствие, будто огонь, который давно горел незаметно в ней, вдруг вспыхнул ярко, разросся в пожар, и Лена решилась уже на какой-то отчаянный шаг, который все перевернет в ее жизни.

Так и не уснула больше Лена в ту ночь. Всю ночь пролежала с твердым, закаменевшим лицом и сухими глазами. Думала о своей жизни. Думала о том, что надо ей в этой жизни что-то менять — не могло ведь случиться такого, чтобы на земле, на всей огромной земле, не нашлось для нее счастья.

Там на Севере

День пасмурный. За открытым окном мокрая теплая муть; по карнизу то и знай принимается стучать дождь; стихает — издалека тогда слышен гул машин на шоссе. Завтра воскресенье, и если завтра не будет дождя, мы уедем на весь день в сад. Деревца у нас совсем молодые, нам не верится, что отведаем когда-нибудь собственных фруктов, и мы весь участок вскопали под огород. Привезем свою огородину и попробуем этот месяц обойтись без базара... Зарплата пойдет на другое: как-никак отправляем в первый класс Иринку...

Я лежал на диване, вслушивался в мокрую тишину за окном и соображал, что надо купить дочурке прежде всего...

Платьице форменное... Туфли новые. Книги, тетради... Пенал...

Не ходить на базар — можно будет, не влезая в долги, купить все сразу...

— Нравится тебе ее костюм? — спрашивает вдруг Варя.

Варя шьет передник Иринке. Скрючилась у окна в кресле.

— Нет, — говорю я.

— Что так?

Я молчу. Злюсь на Варю за эти дурацкие вопросы, вспоминаю Ольгу и еще больше злюсь.

Ольга моложе меня на семь лет. За те годы, что мы не виделись, ничуть не изменилась — все такая же тонкая, белощекая, говорливая. Встретили мы ее с Варей, накинулась: «Ой! Как я рада! Где ты пропадал?..

Рассказы мои читал в альманахе?.. Книга скоро выйдет... Пишешь?»

«Нет, не пишу», — сказал я. Она не поверила, я не знал, как объяснить, мямлил, что увидимся еще, что опять живу здесь, в городе.

«И давно?.. Больше года!! И не пришел?! Не позвонил!.. Бессовестный...»

Варя потом допытывалась: «Кто это? Молодая, Красивая. Давно знаешь ее?»

«Так... В литкружке занимались вместе».

«Ты не рассказывал о ней».

«Много нас там было».

«А она... Кто она?..»

Тогда Ольга училась в девятом классе, тогда я знал о ней все, а теперь она инженер... Мне это ни о чем не говорит.

Не дождавшись ответа, Варя вздыхает:

— Она не замужем?

— Не знаю.

— Что так?

И я опять злюсь. Чтобы успокоиться, думаю о своей жизни с Варей. Живем мы хорошо, согласно. Нас любят в подъезде, и мы дружим со всеми соседями...

Да и как не дружить? Колобаев и Мошков вместе со мной работают на стройке, Бутина, Егорова и Митин — на одном заводе с Варей, а с Панкратовым весь подъезд ладит. Панкратов — шофер. То дрова для ванн привозит, то цемент на ремонт квартир, то за грибами с ним ездим. А уж в огороде, в саду без Панкратова делать нечего. То навоз надо подкинуть, то бочку...

Сад, огород теперь у каждого, под выходной Панкратов всем нужен... Ну, а сделает Панкратов езду — соберемся, сбросимся по трешнице — и пошло у подъезда веселье.

Женщины наряжаются в шелка, в цветастые креп-дешины, заводят песни — всегда одни и те же: «Ой, рябина...», «Подмосковные вечера», «Ой, кто-то с горочки спустился» и «Меж крутых бережков». Из подъезда высыпая на тротуар, женщины начинают плясать — топают, кружатся, взмахивают косынками и такие частушки выкрикивают, что у людей непривычных уши вянут.

Варя кончила передник, примеряет на себя.

— А о чем она пишет? Ты читал?

Далась ей Ольга! Дважды столкнулся с ней, оба раза на глазах у Вари. Ольга не может забыть прошлого, все ей кажется, что я такой же, каким был семь лет назад, тараторит о книгах, о стихах. А Варя думает невесть что.

— А тот, кто хорошо писал сочинения в школе, может писать рассказы?

— Нет. Да и зачем тебе? У тебя данные актрисы — развивала бы в себе это.

Варя сутулится — значит, попал в точку. Не лезла бы с дурацкими разговорами!

Писать я начал лет десять назад. Тогда я работал в передовой бригаде строительного треста, был комсоргом и писал о нашей работе, о комсомольцах... Первый же мой рассказ напечатали в газете, а за третий или четвертый я даже премию получил. В литкружке при газете и познакомился с Ольгой. Она тогда стихи писала, ей очень нравились мои рассказы, и я, кажется, нравился...

— Думаешь, я не мечтала стать актрисой? Думаешь, не жалею, что все получилось не так, как хотелось? — У Вари на глазах слезы. — Зачем напоминаешь об этом? Зачем больно делаешь? Из-за нее?

— Дура!

Варя отворачивается, и мне жаль ее.

Поженились мы с Варей на Севере, куда я уехал семь лет назад по комсомольской путевке рубить лес... Стране бумаги не хватало, а мне хотелось, чтобы бумаги было вволю, чтобы на этой бумаге печатали мои рассказы, чтобы выходили мои книги... На Севере я и полюбил Варю — артистку народного театра, игравшую на клубной сцене роль Вальки-дешевки в «Иркутской истории».

Сначала на Севере мне нравилось все — непролазные топи, буреломные леса, тяжелые лесовозы, тянущие лес хлыстом по хлипким бревенчатым лежневкам. Нравились люди — огрубелые, горластые, сильные... Нравилось работать с ними. Никто не неволил, но вкалывали по десять, двенадцать часов в сутки. Деньги на Севере платят хорошие — только давай лес. Приятно было возвращаться измороженным в барак, зная, что день

прожит не зря, что ты один навалил горы леса и что лес этот растечется по всей стране, где его так ждут.

И теперь, уехав с Севера, уехав потому только, что детям моим — Иринке и Павлику — постоянно требуется парное молоко, свежие овощи, фрукты, и вспоминая Север — свирепые морозы, звон пил, скрип и стон падающих деревьев, смолистый запах древесины, — я вспоминаю, как что-то приятное, постоянную усталость в теле и чувствую, как сладко сжимается сердце, и мне хочется опять уехать на Север...

Хотя не все было на Севере так хорошо, как теперь кажется. Народу понаехало всякого. В магазине было полно спирта. Некоторые часто и помногу пили. Зимой пили, чтобы не задубеть на морозе. А в дождь, в слякоть, — чтобы прогреть, просушить кости. В слякоть возвращались с работы мокрые до нитки, жарко натапливали печи, от сохнувшей одежды в бараках поднималась вонь; разморившись, играли в карты и пили.

И в бараках, и в клубе вечера часто кончались драками. Не помогали ни товарищеские суды, ни показательные процессы, что устраивались у нас в поселке...

Не забыть Вжигина, этого горлопана. У Вжигина был приметный лоб — узенький и выпуклый, лоб выпирал вперед, нависал над лицом, как балкон — глубоко под этим балконом прятались, таились глаза в белых ресницах...

Помню, Вжигин только вошел в клуб, и я сразу увидел его лоб и удивился такому лбу. А Вжигин натянул какой-то девчонке на нос косынку, заржал и ударил меня плечом в грудь: «Гы-гы-гы! Шустрый, как венник, наглый, как танк!» Я отступил, а Вжигин еще раз толкнул меня. Вот тогда я и разглядел его глаза — маленькие, светлые и холодные.

В затылке у меня сделалось жарко, кулаки сами собой сжались, но я хорошо знал, чем все это может кончиться, и опять отступил. С того раза Вжигин начал меня изводить — задирали при каждом удобном случае. Вскоре я уже ненавидел не только Вжигина, но даже имя его, и он это понимал, а я чувствовал, что мне с ним не разойтись миром.

Была в клубе списанная гармошка. Гармошку я отремонтировал. Месяца два вытачивал из латуни новые

планки, строил голоса, склеивал мехи, красил. Вечера в клубе стали проходить весело — с песнями, танцами. Но однажды явился туда Вжигин. Увидел гармошку, гыгыкнул и ткнул кулаком — смял, порвал мехи, потом бросил гармошку на пол.

Вжигина все боялись, и, когда он ударом ноги отбросил гармошку к стене, кто-то из парней пнул ее — и тут началась потеха: под крики и смех пинали гармошку.

Когда она попала ко мне, я поднял ее. Все знали, что гармошку чинил я — сразу сделалось тихо. «Шустрый, как веник», — сказал Вжигин, кто-то из парней хихикнул, и опять стало тихо, и я понял, что пришла та минута, о которой я думал и которой боялся.

Если бы не было стольких свидетелей сразу, я, наверно, уступил бы Вжигину и, когда он шагнул ко мне и, посмеиваясь, сказал тихо: «Отдай. Соплей перешибу», — швырнул бы я ему гармошку. Подавись! Но тут все не сводили с меня глаз, все затаились, заранее предвидя мой позор, мое унижение, независимо от того, отдам я гармошку или нет. Я понимал, что Вжигин не остановится ни перед чем, чтобы утвердить свое превосходство, хотя бы минутное, над всеми, кто слабее Вжигина, кто боится его, потому что самовольство — это единственное, чем он может возвысить себя над другими и, хотя бы для видимости, утвердить самого себя.

Вжигин был намного дюжей меня, и противостоять ему я не мог. Но в каждом человеке, если он, конечно, человек, есть что-то такое, чего он никогда не уронит и никому не позволит истоптать, если даже будет ему за это грозить смерть. И когда Вжигин вплотную подступил и с веселой наглостью сказал: «Ну», — и протянул к гармошке руку, я ощутил, как по спине у меня пополз холодок страха, но я уже знал, что не отступлю, не сдамся, и повернулся к Вжигину спиной, и отдал гармошку кому-то из девчонок.

Вжигин хохотнул, но, прежде чем он успел развернуться, я пригнулся и изо всей силы ударил его снизу в челюсть. Всю ненависть, которая накопилась во мне к Вжигину, я вложил, видно, в этот удар, потому что Вжигин, здоровенный, страшный Вжигин, рухнул.

Помню, как он поднялся потом, стоял, пригнув в коленях ноги, помню его перекошенное лицо, один глаз из-под низко опущенного лба.

Вжигин вытер лицо ладонью, и я тут же увидел в его руке нож. Вжигин, наверно, зарезал бы меня, если бы кто-то не сунул мне в руку ножку от табуретки. После я узнал, что этим кем-то была Варя. Мне удалось выбить нож из рук Вжигина, и мы вцепились друг в друга, и Вжигин пытался схватить меня за горло, а я колотил его по голове деревяшкой, колотил до тех пор, пока нас не разняли, не растащили.

Судили обоих. Вжигина посадили, а мне дали условно год.

До той драки и после я много писал. Обо всем, что видел, что думал. Рассылал в разные газеты. Ответы приходили уклончивые, ядовито-вежливые. Никто не печатал мои рассказы...

У Вари все было наоборот. Их спектакль показывали по телевидению, и Варю после этого стали звать в Архангельский театр, приглашали сниматься в кино, но как раз в то время у нас с ней начиналась любовь, и Варя никуда не хотела ехать из поселка, а когда родила Павлика, потом Ирину, ее уже забыли и киношники, и в театре...

— Часто видитесь?

— Нет.

— Что так?

Я уже не злюсь и думаю, что надо, наверно, сказать Варе, что я люблю ее, Варю, одну ее, что с Ольгой нет у меня ничего общего...

Я, сколько помню себя взрослым, всегда зарабатывал себе на жизнь своими руками. Школу окончил вечернюю. А Ольга после десяти классов поступила в какой-то институт, теперь где-то кем-то командует... Варя выросла в детдоме, на все, что у нас с ней имеется — и на этот диван, и на кресло, и на квартиру, — мы сами заработали, накопили денег, а Ольге квартиру построили в кооперативном доме родители, родители купили ей полированную мебель... Что пришлось испытать Ольге? Что знает она о жизни, о чем пишет?..

Думая об этом, я всегда вспоминаю Север, нашу жизнь на Севере, работу...

И почему все, что связано с той работой, с той

жизнью, вспоминать приятно? Даже та усталость, которая частенько валила с ног, представляется теперь какой-то отрадной. Работали мы за деньги, да, за деньги, но было в нашей работе, в нашей усталости и другое. Были митинги, и почетные грамоты, и переходящее знамя, и статьи в газетах...

Самое страшное в жизни людей — это война. Но тот, кто был на войне, и прошел ее, и остался живым, — тот вспоминает о военных годах с гордостью. Что-то большее, чем память о страданиях и ужасах, принесли в себе фронтовики с войны.

И в той нашей жизни на Севере — в плохом и хорошем — было особенное что-то... Потому, может быть, что люди там, как на войне, раскрывались начисто. Хапуг, сквалыг, подонков сразу видно было. Если припомнить, то из-за них, пожалуй, и случались все скандалы, все побоища...

Шумный показательный суд надо мной и Вжигиным не помог будто бы. Вскоре одна за одной произошло сразу несколько драк. Но случилось так, что шумихи из-за них никто не поднимал, никого не судили. А потом в поселке как-то сразу тише стало. Я снова клеил мехи гармошки, в клубе опять наладились вечера, пить вроде меньше стали... Хотя драки случались, но и они переменились, потому что дубасили всякий раз таких, кто позарился на чужое, и таких, кто похож был на Вжигина. Судов больше не было...

— Варя... Помнишь суд? Меня судили...

Помолчав, Варя отвечает нехотя:

— Угу.

— А если бы опять Вжигин встретился? Теперь вот?

Хмыкнув, Варя поворачивается ко мне.

— Как быть? Опять драться, под суд идти?

— Так ведь он... — Варя задумывается. — Такие всем мешают, как же с ними... Таких убивать мало!

Варя вдруг пугается:

— Ты видел его?!

Я качаю головой.

Варя смотрит недоверчиво, потом пожимает плечами и снова отворачивается.

Дождь давно стих. Развиднелось. Кричат воробьи.

— Варь...

Она молчит.

— Варь, а Варь! Мы давно в лесу не были. Поедем?

— А ты хочешь?

— Хочу.

Варя глядит на меня во все глаза.

— Правда?!!

И мы начинаем собираться в лес. Достаем из кладовой рюкзаки, резиновые сапоги и плащи.

— А то все лето — в огород да в огород. Надое-ло... — Варя глядит весело. — И поесть возьмем, и выпить. Полежим на траве. Помнишь, как там, на Севере?..

— Помню. — Я целую Варю и думаю о том, что трава сегодня в лесу мокрая.

— А с ней ты встречаться не будешь? И писать не будешь?

— Писать?

Не получилось из меня писателя. Грамоты маловато, что ли?.. Из газеты одной, куда я трижды посылал с Севера толстые бандероли, прислали как-то ответ. Обстоятельный, с советами и пожеланиями. Выходило, что меня захлестывает материал, но я не знаю жизни и пишу без разбору сразу обо всем... «Автор смакует экзотику Севера и этот же Север населяет людьми-антиподами, создавая дисгармонию людей и природы, перемежая ударные трудовые будни с попойками и драками... Рассказы пестрят отталкивающими сценами, искажая тем самым нашу героическую действительность».

Интересно, попади этот газетчик туда, на Север, столкнись с Вжигиным, стал бы он писать об этом?..

А как не писать? Хочется, чтобы кто-то вместе с тобой любил то, что любишь ты, и ненавидел то, что ты ненавидишь... Хочется, чтобы вместе с тобой другие дрались с такими, кто мешает жить, кто пакостит жизни... Но газетчик не заметил в моих рассказах того, что меня волновало...

«Автор опусов, к сожалению многочисленных, грешит нередко неправильно построенной, безвкусной и даже, я бы сказал, иногда безграмотной фразой». Дальше в том послании из газеты целая страница была исписана навыверганными из моих рассказов корявыми речениями...

Выходило, я не могу писать так, как надо... Я выбросил тогда все свои рассказы, все заметки, дневники и записи... Бросил в печь. Сжег...

— Что молчишь? — спрашивает Варя. — Будешь?.. Не будешь?

— Писать?.. Не знаю.

Варя глядит на меня встревоженно, и я опять целую ее.

Мы берем рюкзаки, захлопываем дверь и впервые за последний год уезжаем из города не по делам, а просто так. Отправляемся в лес, похожий на тот, который мы полюбили на Севере. Лес уже тронула желтизной осень, и он притих и стоит мокрый, пропахший влагой, рябиной, палой листвой и грибами.

В забытом клубе

Он листал журнал. Он сидел и ждал, когда за ним придут и поведут по хорошо знакомому когда-то, длинному коридору, и по длинной лестнице вниз, и по другой, короткой, вверх, и очутятся они на пустой, ярко освещенной сцене. Назовут знакомое уже всем из афиш имя его, и он, помешкав и откашлявшись, начнет говорить.

Говорить он будет долго. И даже, может быть, увлечется, приметив в зале чей-то внимательный, а возможно, и восхищенный взгляд...

Будет читать свои стихи. Он хорошо сделает это привычное и обыденное дело, как делал его уже десятки и сотни раз во множестве городов, во множестве залов...

Он листал журнал, а она спрашивала его и спрашивала. Спрашивала, как он живет, как и о чем пишет, скоро ли появится его новая книга и как ее достать. Он отвечал ей. А сам думал, что для себя даже трудно уяснить — как живешь?.. А еще трудней рассказать, как пишешь, и о чем пишешь, и пишешь ли...

Как объяснить, что сейчас работа над книгой, которая давалась так легко, вдруг, без всяких видимых причин, застопорилась. Остановилась. Зашла в тупик...

Неизвестно, допишет он ее или нет. А если допишет, то кто знает, что получится из этой книги? Как примут ее в издательстве? Что ответят ему в рецензиях и редзаключениях?..

Потребуют, может быть, ненужных, а может быть, непосильных для него доработок и переделок? А возможно, примут, одобрят без всяких замечаний? Или

вернут с вежливым письмом на издательском бланке: «Откровенно говоря, рукопись Ваша понравилась нам, но...»

Сколько этих «но»!..

И если бы только в тех бумагах, что пишут ему! Сколько этих «но» у него самого!..

Она все спрашивала и спрашивала. Иногда, отвечая, он поднимал от журнала глаза, поворачивал к ее столу голову и видел ее полыхающие щеки, и сияющие глаза, и улыбку — и всю ее. Светящуюся, ждущую от него чего-то необыкновенного. Каких-то особенных мыслей, каких-то ярких слов, глубоких, блестящих умозаключений. Он видел все это, а думал о том, что годы пошли ей на пользу, что она постройнела, похорошела, стала более женственной, привлекательной, и жалел, что нет уже у него и не может быть к ней никаких теплых чувств, никакого желания близости или хотя бы откровенности...

Когда за ними пришли и он очутился в коридоре, его толпой окружили. Мужчины и женщины. Они улыбались ему, что-то говорили наперебой, жали руку, и он, глядя на них, понимал, что был когда-то знаком с этими людьми, и отдельные лица напоминали ему о чем-то, но он никак не мог выискать в памяти, кем были эти люди и что связывало его когда-то с ними.

Она стояла тут же. И радостнее всех улыбалась, и больше всех говорила. А когда его повели по коридорам и лестницам на сцену, и он выступал, и кланялся на аплодисменты, и отвечал на записки, и снова кланялся, он ни разу не подумал, а есть ли она в зале, слушает ли его, видит ли.

На сцену поднялись девушки, пунцовея, сунули ему в руки охапки белых и красных георгинов. И он, встретившись взлядом с глазами этих девушек, почти девочек, понял, что они влюблены в него. Когда снова вели его по коридорам и лестнице, он опять увидел в окружающей его толпе их лица. Подумал и тут же забыл о том, что влюбляются в него не потому, что он лучше других или красивее, а потому, что он — поэт... И не догадываются, влюбляясь так, что не все люди, чьи стихи печатают, — поэты... С каким трудом порой приходится проталкивать в журнал одно-единственное стихотворение!..

А главное, не думают сейчас эти девушки о том, какой пропастью разделяют его с ними года... Не знают, не испытав того, что такое гастрит, хронический перитонит, больная печень...

В ее кабинет он вернулся лишь для того, чтобы надеть плащ и взять отмеченную ею путевку. Она долго и сосредоточенно писала, а он стоял и ждал. Потом, не взглянув на то, что она навыдумывала и написала, и расписалась ли там, где надо, и поставила ли печать, машинально сунул путевку в карман и так же, как делал в подобных случаях всегда, стал раскланиваться. Подчеркнуто вежливо, подчеркнуто учтиво.

— Спасибо! За встречу спасибо! Большое спасибо!

Она вдруг поднялась и протянула ему что-то черное, поблескивающее лаком и позолотой.

— Возьмите. Может быть, именно в ней напишется вам что-нибудь очень хорошее. Может быть, самое хорошее...

Ему было неловко принимать от нее этот сувенир, эту записную книжку с миниатюрой, выполненной на лаковом переплете кем-то из мастеров знаменитой мастерской живописи. Неловко было принимать подарок от женщины, любившей когда-то его, но совсем забытой им...

Один, только один вечер провели они вместе. Сидели в ресторане, и он много пил и, видя ее восторженный взгляд, говорил, говорил, говорил!..

Он тогда был влюблен в свои стихи. Он читал их. Глупо все это было...

Из ресторана они шли пустынными, темными улицами, и опять он говорил и говорил. И все больше пьянел. Целовал ее. И совсем опьянел. И не помнил, чем кончилась та встреча, тот вечер, та ночь...

Кажется, кончилось все как-то очень скверно...

— Возьмите, — повторила она, протягивая ему теперь свой подарок. — Возьмите, пожалуйста!

— Что ж, — сказал он, беря поблескивающую лаком и позолотой книжечку, — спасибо!..

Едва ли он напишет что-нибудь в этой вещице.

Совсем неожиданно, бывает, зародится в нем что-то неясное, но желанное и как будто живое. Тревожит его. И живет он тогда, не видя ничего вокруг и не слыша. Так складывается в нем то, что называется стиха-

ми. Что-то определенное, четкое и точное. Ясное в своем ритмическом строе... И пойдет потом, и пойдет из него само. Стремительно, безудержно! И пишет тогда он на чем придется — на измятых и замусоленных страницах затасканных в карманах пустых блокнотов, на обрывках газет, на папиросных коробках!..

И счастлив бывает тогда!..

Только тогда и бывает счастлив. И не требуется ему никаких записных книжек в дорогих лакированных переплетах!..

Но случается такое с ним все реже и реже. И все трезвее, все холоднее оценивает он то, что собирается вылиться из него, выплеснуться...

— Только зачем это? — сказал он. — И что бы это подарить мне вам в ответ?.. Нет у меня ничего такого...

— Подарите свой автограф.

Она протянула ему его книгу. Он думал об этой книге, что издали ее зря. Что не надо было ее издавать, что писал он ее в спешке, заканчивал к сроку, обусловленному договором с издательством. Многие в ней надо было переделать, исправить, убрать...

— Да-да, — сказал он. — Да. Конечно.

И написал под своим портретом что-то обычное в таких случаях, необязательное и неискреннее. Расписался. Подумал и поставил дату — обозначил в дате этот день, который уже был прожит.

— Я все думаю о вас, — сказала она, принимая от него книгу с трепетом. — Все думаю, думаю... Какой вы счастливый! Вы такой счастливый!

— Что вы?!

Он отвернулся и сморщился. Вздохнул и опять повернулся лицом к ней.

— Да-да! Счастливый! — повторила она. — Счастливый!

Он увидел, что на глазах у нее наворачиваются слезы, и стал поспешно прощаться:

— Спасибо. За все спасибо. И за подарок спасибо, и за теплые слова... Спасибо и еще раз спасибо...

Потом он шел под дождем, подняв воротник плаща и сгорбившись, и думал, что зря взял у нее подарок, эту блестящую безделушку.

— А как было не взять?..

Ему надо было добраться до гостиницы, лечь в по-

стель и постараться уснуть. Ненадолго. В три часа ночи он должен был сесть в поезд и поехать к себе, в город, где жил теперь.

Неуютная квартира. Захламлена. По комнатам разбросаны книги. И на кухне книги. Стоят и висят везде исправные и сломанные кинокамеры, фотоаппараты, увеличители, магнитофоны...

Надо будет как-нибудь повыкидывать все лишнее, прибрать везде...

На троллейбусной остановке скопился народ. И он стоял вместе со всеми, мокрый и озябший. Стоял под дождем и втягивал в плечи голову.

Дождь моросил и моросил, а троллейбус все не шел. Троллейбуса все не было и не было. Приходилось стоять вместе с другими и терпеливо ждать, и он стоял и ждал. И уже ни о чем не думал.

Повести

Мягкий свет

Выпадал он потасно, бесшумный и невесомый, почти бесплотный, опускаясь, лишь высветлял слабо ночное небо тонкими, как паутины, мгновенно тающими линиями; и город спал, не видя его и не слыша, не зная о нем.

И Семен Артемьевич спал. Спал, не подозревая о его пришествии. Пробудившись по давней своей привычке ровно в восемь, он подумал сначала, что не услышал сегодня, как встала Руфина Викторовна — это она зажгла свет, и он проникает в спальню из комнат или прихожей. Но тут он услышал ровное дыхание жены и понял, что свет этот — ровный, белый свет — идет из окна. Неужто снег выпал?.. На него накатило что-то давнее и веселое, забытое вместе с детством. Он не привык к таким чувствам, не поверил им и не прислушался. Выпростал из-под одеяла ноги, нащупал на ковре тапочки и, подойдя к окну, отодвинул в сторону тюль.

Да, выпал снег. Как рано, черт бы его побрал! Сразу прибавилось забот коммунальникам. Город туристский — гляди в оба.

Семен Артемьевич насторожился: может, снег уже убирают? Нет, за окном было тихо. Спят.

— Что? — сонно спросила жена. — Проспали?

— Проспали. — Семен Артемьевич отпустил тюль, ощупью отыскал кресло и стал натягивать штаны. — Снег выпал... а они спят.

— Снег?! — Руфина Викторовна подхватила с постели и раздернула тюль. — И правда! Ах, как славно! Светло, чисто!

Руфина Викторовна была в нейлоновой ночной сорочке — Семен Артемьевич увидел на фоне окна округлую, гладкую фигуру жены и с досадой подумал, что проснулся поздно, что день впереди хлопотный — времени только-только хватит на то, чтобы умыться да позавтракать.

В машине сидел он неподвижный и молчаливый — жена и шофер хорошо знали эту его привычку сосредоточиваться с утра.

Сначала оперативка. Тут все ясно: срок, конечно, мал, что и говорить — чуть больше полутора месяцев — бабки надо подбить в декабре, ну, в крайнем случае, третьего-четвертого января, а он дал слово, и слово это по инстанциям дошло до министра, освоить на данном объекте до конца года семьдесят тысяч... На оперативке следует четко определить фронт работ — производить лишь то, во что можно вложить максимум средств... Конечно, он выслушает требования строителей, но, главное, пожалуй, надо решить, какие изменения внести в проект ведения строительства и соответственно в карту комплектации стройки железобетонными конструкциями, тогда можно будет обеспечить всем необходимым монгаж...

Семен Артемьевич подвигал затекшей ногой и навалился спиной на сиденье, с удовольствием расправляя плечи. Монтаж каркаса и станет тем фронтом, на котором можно дать эти семьдесят тысяч. Дать во что бы то ни стало!..

Из всех вопросов, которые ежедневно обступали Семена Артемьевича, которыми приходилось ему заниматься и решение которых зависело от него, он постоянно выделял те, какие были связаны со строительством. И не только потому, что в город с каждым годом ехало все больше туристов, и город был на виду, и не заниматься вплотную ростом, благоустройством города было бы верхом безответственности (как говорил он своим подчиненным), но и потому еще, что сам он в прошлом немало строил, знал и любил это дело, занимался им с удовольствием.

Он мог не ездить на оперативки, потребовал бы от Вахтеева, ведавшего строительством, чтобы тот сам вникал во все, сам все решал, но он ездил. Усаживался за скрипучий прорабский стол в прокуренном и про-

копченном вагончике и будто возвращался в свою молодость — в годы, начавшиеся после института.

По совету старших, примерил на себе все низовые должности. Начиная с бугра, как зовут бригадиров на стройках, был мастером, прорабом, начальником УНР.

Встречаясь теперь с этими людьми, недоверчиво, с пристрастием присматривался к каждому; и на лице у него появлялось блуждающее, непонятное для окружающих выражение: не находил у этих людей того, чем отличался когда-то сам. Не было у них ни его изворотливости, ни хватки, ни напористости, а без этого не пробьешься, не выразишь себя — один до пенсии проходит в буграх, другой — в прорабах...

И не в том дело, что должности их малы, хлопотны — у него забот побольше, наверно, — но сколько над этими людьми начальников! И едут, и едут, и звонят, и вызывают!

И он начальник, но он не в счет. Он инженер-строитель: на всех этапах работ — от проектирования до сдачи объекта в эксплуатацию — вопросы решает профессионально. Взять тот самый дом... Сколько крови испортил с ним — и себе, и архитекторам, — пока наши устраивающую всех планировку! А как жестко пришлось контролировать работы!..

Иначе нельзя было — в случае малейшей промашки любой потом мог над тобой посмеяться: как следует, мол, не построил даже тот дом, в котором собирался жить сам.

Его знают на всех стройках. Все знают — и руководители, и рабочие, — его мнение имеет вес. А сколько таких начальников, кого не следовало бы и близко подпускать к стройкам! Тот же Вахтеев. Умен, деловит. И хватка у него есть. Спуску никому не даст, с кого угодно спросит. Но строительной специфики не знает, не чувствует — отсюда и перегибы, и конфронтация...

Подобрать, может быть, ему другую должность? Работник дельный, перемещение только на пользу пойдет. Надо продумать это хорошо, обсудить. Но сегодня все-таки послать на оперативку следовало его — пусть бы решал и отвечал после за все.

А сам заглянул бы в тот дом. Давно не был — неделю, наверно.

Дом, по существу, готов. Осталось облицевать плитками туалеты, ванны и кухни. Узнать надо, непременно узнать у Пузырькова, отыскал ли он желтую плитку. Голубую чаще завозят, желтую — редко.

Семен Артемьевич сидел неподвижно, занят был мыслями и тем не менее внимательно глядел по сторонам, надеялся еще увидеть, что где-нибудь начали убирать снег.

Выпало снега мало — лишь побелило город, — убирать почти нечего, но тем и хорош первый снег, тем более такой внезапный, ранний, что дает возможность коммунальникам испытать себя. Нет, снег никто не убирал, никто не проверял готовность к зиме своих служб.

Впереди вспыхнул красный свет, «Волга», клюнув капотом, остановилась, но все же выехала на белые полосы переходной дорожки, Семен Артемьевич недовольно взглянул на шофера, отвернулся и тогда увидел на темном, подтаявшем тротуаре человека, идущего к переходу: невысокого, щуплого, с тощей рыжей бородой — точь-в-точь как у козла...

Вытянутое, желтоватого цвета лицо пешехода показалось знакомым, Семен Артемьевич поспешно отвел глаза — с ним часто здоровались, и не хотелось опять попадать в неловкое положение: то ли ждать, когда человек сам дотронется рукой до своей облезлой кроличьей шапки, то ли кивать первым — человек заговорит, и не будешь знать, кто он и что ему отвечать: может, встречались когда, ты забыл, а он помнит и ждет от тебя нужного ему решения?.. Семен Артемьевич незаметно покосился: неужто с ним учились в одном классе? Похож, похож...

Года три сидели на задней парте... Да, три года. А потом Вадька Левенцев уехал куда-то с родителями, и будто провалился — фамилия даже забылась — и вот выплыл. Все вспомнилось — и прозвище по фамилии: Ливан...

Семен Артемьевич улыбнулся: и у него было прозвище, непонятное и грозное — Меликасет...

Как Ливан тогда кричал ему, в слезах, в отчаянии, в злобе: Меликасет, Меликасет!..

Но почему он тогда порубил рыбу Ливана? Весь улов?.. Не отнял, не унес к себе, а взял и порубил, просто порубил — на мелкие кусочки, прямо на песке,

вместе с куканом из черного конского волоса... Мальчишка, глупый мальчишка.

Меняя ряд, «Волгу» объехал, «газик» — справа от Семена Артемьевича возник зеленый, захватанный масляными руками капот; Семен Артемьевич повернул голову и увидел за рулем «газика» совсем молоденького, замызганного, как его машина, парнишку.

Похоже, сельский, подумал он, а парнишка по-своему, видно, понял его, признал в нем начальника, привыкшего к беспрекословному повиновению, и засуетился. «Газик» фыркнул, дернулся, отполз назад, и тут Семен Артемьевич глаза в глаза встретился взглядом с рыжебородым — тот глядел, прищурясь, и было в этом прищуре что-то настораживающее — то ли нагловатое любопытство, то ли ирония. Вдруг Семен Артемьевич понял этот взгляд — он сам порой, оценивая кого-нибудь, глядел так; и он, так всегда бывало с ним в критические моменты, не зная еще, что ему надо делать, уже что-то делал: поднял приветственно руку и повернулся в одну сторону, потом в другую — к шоферу. Тот сразу догадался, что от него требуется: перегнулся через спинку, багровея от натуги, потянулся назад, между Семеном Артемьевичем и его женой, открыл дверку.

— Садись, — сказал Семен Артемьевич. — Узнал?

Левенцев пожал плечами, усмехнулся и кроличьей своей шапкой вперед полез под черный лак кузова.

Семен Артемьевич повернул висевшее впереди на штыре зеркало, глядя в него на Левенцева, повторил:

— Узнал?

— Узнал. — Левенцев опять усмехнулся, и усмешка эта застыла на его лице.

— Знакомься: моя жена, — сказал Семен Артемьевич, не оборачиваясь ни к Левенцеву, ни к сидевшей рядом с ним Руфине Викторовне — миловидной чернобровой женщине в темной норковой шапочке и кримпеновом пальто с норковым воротником.

— Очень приятно! — Не меняя выражения лица, Левенцев чуть наклонил голову в сторону женщины, та приветливо улыбнулась ему.

— Это сколько же мы не виделись?

— С седьмого класса, — подумав, сказал Левенцев.

— Да-а, с седьмого... И давно ты объявился?

— Объявился? — Усмешка не сходила с лица Левенцева, и Семен Артемьевич, чтоб не видеть ее, повернул зеркало к шоферу.

— Ну, ты ж уехал.

— Учился. Кончил — опять вернулся.

— Давно?

— Что давно?

— Вернулся.

— Да уж лет двадцать, наверно, прошло.

— Двадцать?! — Семен Артемьевич хотел обернуться, но раздумал. «Надо же! — удивился он. — Столько лет живет человек в городе, а о нем и не знает никто, будто и нет его здесь». — Ну и чем же ты занят?

— Я художник.

— На заводе где-нибудь, в клубе?

— Нет. Просто художник.

По тону, с каким прозвучал ответ Левенцева, Семен Артемьевич понял, что тот все еще усмехается.

— Что, картины рисуешь?

Левенцев шумно хмыкнул:

— Рисую.

— Ну и как?

— Что — как?

— Получается? — Не дожидаясь ответа, Семен Артемьевич пояснил: — А я совсем по другой части пошел.

— Слышал, слышал.

— Ну да, конечно... А художником, по-моему, мало чего достичь можно.

— Смотря что считать достижениями.

Судя по голосу, Левенцев уже не усмехался, и Семен Артемьевич подумал о нем с нежной жалостью: «И у него, видно, есть свои достижения...»

На какое-то время, на минуту, а может, на две, он забыл о своих спутниках — об однокашнике, у которого теперь своя неведомая и, наверно, малоинтересная жизнь — мелкая, с мелкими заботами, и о жене, которая давно привыкла уже к таким его кратковременным уходам в себя — знала, уходы эти выработал он, экономя время: сидит где-нибудь на совещании, а может быть, сам проводит его — речи, шум, споры, — а он отключится от ненужной этой, но обязательной шумихи, будто закроется в глухом помещении, будто отго-

родится от всех мыслями о том, что считает главным.

Придет сегодня Семен Артемьевич после оперативки к себе, а у него в кабинете соберутся руководители СМУ и СУ, УНР и УМСР, начальники производственных отделов и старшие прорабы, соберутся те, от кого зависит выполнение годового плана по строительству, а план этот, по предварительным расчетам, находится под угрозой срыва, и не по каким-нибудь показателям, а по главным — по освоению средств и по вводу в строй... Надо сегодня же договориться, надо решить, твердо решить, на чем сосредоточиться — на каких работах и на каких объектах: освоение и ввод, ввод и освоение — и ничего больше! План должен быть выполнен, чего бы это ни стоило! Это главное!..

Конечно, на совещании будут Сергей Михайлович с Андреем Макаровичем, а может быть, кто и повыше, но совещание-то он проводит, и определиться заранее надо ему...

Семен Артемьевич мысленно выписывал столбцом тезисы своей речи, но, не доведя до конца это занятие, так как тут ему все было ясно, и он хорошо знал, что сказать, как и чего потребовать и кому подтянуть гайки (кому для вида, а кому посильней), стал думать о втором вопросе, который поставлен будет на совещании, — о качестве.

Во всех организациях, все, все до последнего рабочего, должны быть мобилизованы — так и надо будет сказать — мобилизованы! — на неуклонное выполнение плановых заданий — это главное, главное для всех, а качество... За качество несут непосредственную ответственность они — начальники! Качество должно быть их повседневной, ежечасной заботой — они не имеют права выпускать качество из-под своего личного контроля!..

Для примера можно было бы упомянуть о том самом доме... Лестничные марши ставили вкривь и вкось, полы настилать пытались сырыми, набрякшими досками. Штукатуры... Впрочем, все — и штукатуры, и сантехники, и электрики — переделывали свою работу по два, по три раза. Пришлось под конец бывать на стройке чуть ли не каждый день — вот таким и должен быть контроль. Но опять же: не упускать сроки...

В те минуты, пока Семен Артемьевич был погружен в мысли, Руфина Викторовна незаметно изучала внеш-

ность Левенцева. Отмечала, что лицо у него интеллигентное, а взгляд умный, но уморенный и... едкий какой-то... Надо же, человек этот учился в одном классе с Семеном Артемьевичем! Счастье, как говорится, у всех разное... Шапка-то у него, шапка! Они бы такую из дома вышвырнули!..

Левенцев с минуту чувствовал, что его рассматривают, и подумал, что зря старается эта женщина — не зная ничего о человеке, его не увидишь, и еще он подумал, что бывший его однокашник доволен, наверно, своею женой, а она им довольна.

Несколько секунд, всего один миг, пожалуй, Левенцев испытывал зависть к людям, у которых все просто и ясно и которые всем довольны; а потом вспомнил опять об Антонине, опять увидел ее, а вернее, не ее, а тот образ, какой оставила Антонина в его воображении при той первой встрече...

Он сразу же тогда представил себе ее портрет, стал мысленно помещать его в раму и сразу пожалел, что не может познакомиться с женщиной, стоящей у его картины. Не может, потому что не пишет портреты...

Думал так, а сам все представлял себе этот портрет: лицо выполнено лессировкой, почти без белил — смуглый румянец просвечивает сквозь верхний прозрачный слой, а волосы взяты общей массой, легко — в тенях сквозит голый холст, — и кинуты сверху сильными мазками эти роскошные светлые завитки...

Руфина Викторовна с удивлением заметила, как изменилось у Левенцева выражение лица, каким острым и задумчивым сделался его взгляд. А он в это время видел Антонину и думал, что женщину с такой фигурой лучше писать, пожалуй, во весь рост — хорошо прорисовать, голову тщательно вылепить, а все остальное дать общо. И поместить портрет в высокую, узкую раму...

Но зачем он так часто думает о ней? Почему? Из-за ее внешности? Красота, конечно, для художника важна. Разве стал бы он, например, всю жизнь писать один и тот же город, если бы город этот не был так красив?.. И если бы в красоте этой не открывалась ему духовная возвышенность тех, кто веками строил город и обживал...

А женщин красивых встречал он немало и раньше. Любовался и забывал, как забываешь красивую безделушку... Но с Антониной вышло все по-другому и началось сразу, тогда, с той выставки. Антонина заметила его взгляд и поняла, видимо, что служит ему моделью, — улыбнулась и пошла в другой зал. Он как бы забыл о ней, а когда их познакомили, уже Антонина глядела на него, как на модель, и он представил себе свое обличье, и ему неприятно стало, что его так пристально разглядывает эта красивая женщина.

— Левенцев, Левенцев, — сказала она, — оказывается, вот вы какой...

Он поразился ее низкому голосу, подумал, что голос такой соответствует ее внешности, и не нашелся, что ответить.

— Извините. — Она еще больше понизила голос. — В работах ваших мне видится какой-то скрытый, застенчивый смысл, а если выражаться точнее, глубинный, и вы мне представлялись совсем другим.

«Каким же это? — подумал он неприязненно. — Наверно, красавцем с холеными руками и томным взглядом...»

— Еще раз извините! — Она полистала свой блокнот, видимо, соображая, с чего начать разговор. — Вы только пейзажи пишете?

— Что же делать — я пейзажист.

— И только городские? А вас не могут упрекнуть в том, что вы замыкаетесь в узком кругу? Что в картинах своих не отражаете обобщенный взгляд на современную жизнь?

Он пожал плечами. На его картинах его город, такой, каким он его видит, в каком живет — частоколы, сады и торчащие в небе каменные параллелепипеды вперемежку с шатрами, луковками, куполами...

— Может быть и наверно, я начинаю не с того, — выждав немного, продолжала Антонина, — но существует мнение, что грядущее уже входит к нам, и если ограничивать себя, можно не увидеть из-за деревьев леса.

— Уж лучше не разглядеть лес, чем деревца, — сказал он.

— Но картины — это летопись...

— Вот именно. И ничтожная находка в захороне-

нии эпохи мезолита или палеолита дает нам больше представления о каменном веке, чем общие рассуждения многих ученых.

— Вы считаете, что людям будущего частности более нужны, чем целое?

Он залюбовался ее лицом, которое показалось ему еще более красивым, чем представлялось издали — как четко выточен нос, губы и эти плоские щеки!

Антонина опять разгадала его взгляд, опять улыбнулась.

— Разве не важно для тех людей — в будущем, — проговорил он, — увидеть то, что видели мы, и так, как — мы?.. Испытать хотя бы приближенно те самые чувства, какие пробуждал этот город в нас?

Антонина негромко засмеялась:

— Вас трудно, я вижу, переубедить.

«И незачем,— подумал он, ему стало скучно, он огляделся по сторонам.— А что касается будущего, даже самого далекого, то человек все равно будет заглядывать еще дальше, и потребуются ему сверить свое настоящее с прошлым, и если он увидит его...»

— Я вам надоела?

Он еще раз поразился ее голосу, но подумал, что она глупа, наверно, как бывают глупы многие красивые женщины.

— Надоела — вижу... А ведь я не спорила с вами... Ваши взгляды я разделяю. И ваши пейзажи люблю... Они меня греют.

Антонина пристально глядела ему в глаза, признание ее было неожиданным — все это смутило его. Он начал что-то бормотать, вдруг подумал: «А что это я так лебежу перед ней?» — и, озлясь на самого себя, спросил:

— Вы кто?

— Искусствовед. Приехала к вам недавно...

— Вам лучше обратиться с вопросами вашими не ко мне.

— Но мне нравится ваша живопись.

Она по-прежнему глядела на него пристально, и он, видя вблизи от себя овальный разрез ее серых глаз и испытывая смущение, подумал, что никогда не будет говорить откровенно с этой красавицей.

После той встречи Антонина часто писала о его кар-

тинах, но он не верил почему-то в ее искренность, не придавал значения ее мнению, ее самое всячески избегал, а сам постоянно думал о ней, думал даже сейчас, оказавшись в положении крайне непривычном, сидя в этой машине, бегущей по утреннему городу.

Семен Артемьевич, казалось, не замечал, не видел окружающего, но потому именно, что весь он был сосредоточен на предстоящем совещании, от внимания его не ускользнуло, что шофер свернул не в ту сторону, где он мысленно находился, и сразу вспомнил, что едет не к себе, а на стройку, и что по дороге подвозит на работу жену, и что рядом с женой сидит Левенцев.

— Трудное это дело — рисовать картины, трудное, — сказал он так, будто все это время думал об этих картинах. — Не вижу я ничего хорошего в том, как теперь рисуют — мазня. Вот раньше — да! Третьяковка! Русский музей!

— Пушкинский, — вставила Руфина Викторовна.

— Там есть на что посмотреть! Так рисовали тонко! Так гладко!

— Извини, — перебил Левенцев, — мне бы выйти тут.

— А-а, тут?.. Останови. — Семен Артемьевич огляделся, соображая, куда бы здесь мог пойти Левенцев: район старого города, деревянного — сады и огороды за частоколами, несколько построенных еще до войны кирпичных двухэтажных домов с коммунальными квартирами. Он опять почувствовал к однокашнику нежную жалость и обернулся.

— Если чего потребуется — заходи. Где искать, знаешь?

— Знаю, знаю.

— Ну, и заходи. Помогу по старой дружбе.

— Меценатствуешь?

Левенцев насмешливо сощурился, и Семен Артемьевич покачал головой.

— Ну, если ни в чем не нуждаешься...

— Мастерская нужна, — прервал его Левенцев.

— Вот и заходи — потолкуем.

— Что зря ходить: маловато у тебя власти — мастерскую дать.

— А ты знаешь мою власть?

— Как же! — Левенцев неприятно, тоненько засмеял-

ся.— Как совещание какое — в газетах пишут: выступили такие-то, а среди них ты — Худяков С. А., и должность указана.

— Должность, говоришь?

Теперь у Семена Артемьевича был именно тот оценивающий взгляд, какой узнал он при встрече у Левенцева. А Левенцев, напротив, уже не шурился и не усмехался, весь встопорщился, взъерошился, как воробей перед схваткой.

— Ну, как знаешь, как знаешь,— сказал после некоторого раздумья Семен Артемьевич.

Левенцев сунулся вылезать, но никак не мог открыть дверцу — вместо дверцы поехало вниз стекло. Левенцев сердито крутанул ручку в другую сторону — стекло поднялось.

— К тебе попадешь — не выберешься.— Он обернулся и, чувствуя непонятную обиду на тех, кто видел его неловкость, понял с опережающей события радостью, что сейчас с ним произойдет тот редкий случай, когда он не станет сдерживать себя и наружу вырвется в бесконтрольных словах вся горечь, какая накопилась у него на душе за вчерашний вечер и за ночь, а может быть, и за всю его жизнь — нервную и неустроенную.— Заходи!.. Сам бы зашел! Поглядел бы, как люди живут и чему им надо.

Злая радость переполнила его, и он, уняв краткой паузой желание кричать, продолжал намеренно тихо и, как ему представлялось, веско:

— И по какой причине ты ко мне такой добренький? Сидел за бюрократической городьбой — Левенцеву не пробиться, а тут нос к носу столкнулись — и неудобно отмахнуться? Ты уж себя не утруждай. Двадцать лет живем в одном городе, а я только сегодня для тебя объявился, так считай, что не виделись — высокие твои пороги обивать не стану!

Шофер, привыкший ко всякому, привыкший делать вид, что начисто лишен зрения и слуха, сидел, равнодушно отвернувшись, и руки его безучастно лежали на баранке руля. Руфина Викторовна, пряча в мех улыбку, с интересом глядела на Левенцева и на мужа, ожидая, чем кончится неожиданное это свидание. В такой ситуации разозлиться бы Семену Артемьевичу, но он не почувствовал зла и, как думалось ему, понял Левенце-

ва. Нелегко тот живет, а он его посадил в машину: «Заходи...»

Левенцев снова торкнулся в дверцу, снова обернулся, и голос его зазвучал высоко и неприятно:

— За двадцать лет ты ни разу даже не слышал обо мне! К чему же твоя жизнь обращена? Уж не к людям, конечно. К бумагам! К справкам, отчетам! И если ты привык к такому: «Разрешите? Позвольте? Будьте добры!..», — то я тебе скажу по-другому: ты, видно, бюрократ! Сидишь у себя в кабинете, жизни не знаешь, да и дела тебе до нее нет никакого! Бумажки тебя интересуют, бумажки! И не до меня тебе! Я для тебя — только случай! Не до людей тебе!..

Семен Артемьевич, будто в нем вспыхнуло что, будто осветило всю его жизнь, глянул на всю ее издали и увидел, сколько затрачено им усилий, сколько сделано всего — одних домов сколько построено, все для людей, для кого же еще?! — и опять не почувствовал раздражения, почувствовал новый прилив жалости к Левенцеву.

— А как ты понимаешь это? — спросил он. — Кому до людей, кому не до людей?

На скулах Левенцева зажглись красные пятна, голос его зазвучал еще выше и визгливее, еще неприятнее:

— К себе самому обратись! Вглядишься да подумай: о чем беспокоишься, о чем печешься больше всего?!

— Ну, а ты как думаешь? — заинтересованно спросил Семен Артемьевич.

Левенцев, будто его охладил спокойные эти вопросы, повел рыжей своей бородой, беспомощно как-то глянул на равнодушный затылок шофера, на улыбающиеся темные глаза Руфины Викторовны и сказал неуверенно прозвучавшим голосом:

— Заботишься о себе самом, наверно, о покое своем.

— Вот как? — удивленно произнес Семен Артемьевич. — И всего-то?

— А нет?! — Левенцев опять повысил голос. — План, как все, гонишь, наверно!.. Тонны, километры...

— Ну-ну, — подбодрил Семен Артемьевич, испытывая веселую насмешливость. — А я-то по простоте душевной думал, что километры и тонны эти людям нужны.

— Легче всего сказать: людям. Все — людям. А за счет чего, для кого именно?.. Может, тоннами этими ты придавил кого?

— Попробуй сам, дай тонну, а потом и суди: нужна кому она или нет,—сказал Семен Артемьевич, начиная раздражаться.

— Но ты же об этом не думаешь! — закричал Левенцев.— Тебе бы отчитаться — и только. Только бы на хорошем счету быть!

— Откуда у тебя такая озлобленность? — спросил Семен Артемьевич, подавляя заполнившее его раздражение.— Ты все же заходи. Мастерская, говоришь, нужна — ну и заходи... Может, и я все-таки кое-что для людей делаю?

Он вывернул назад руку, сунул Левенцеву, тот медлил, и Семен Артемьевич теперь только разглядел под старой кроличьей шапкой однокашника красные глаза невыспавшегося человека, небритые щеки над рыжей бородой и подумал, что Левенцеву нужна не только мастерская — много чего ему надо.

Левенцев пожал руку.

— Ну, бывай,—сказал Семен Артемьевич.— Рад, что встретились.

— Рад даже?! — Левенцев тоненько, ехидно засмеялся. Сориентировался, рванул на этот раз нужную ручку и выскочил из машины.

«Волга» с места набрала скорость, неловко прижала Семена Артемьевича к сиденью. Пересиливая инерцию, он повернулся, вытянул вперед руку и, взглянув на часы, подумал с досадой, что потерял зря минут десять, наверно.

Каждый его рабочий день был распланирован по минутам, а то и по секундам... Кончалось какое-нибудь заседание, а в приемной толпился уже народ, вызванный для экстренного совещания, и пока одни оставляли кабинет, а другие по приглашению секретарши заходили, он в это время просматривал и подписывал бумаги, звонил по телефону, что-нибудь обдумывал, подперев лоб рукой, но только вновь прибывшие рассаживались, утихал шум, он поднимал голову и говорил:

— Пригласил я вас, чтобы состыковать вопросы...

И с чем только не были связаны эти вопросы! Не спланируй он свое время, не выдели главное для себя на данный момент — и понесет его по течению, и засосет теучка, забьют весь день просители, жалобщики — упустишь из рук дело...

Сегодня он соберет у себя начальников строительных организаций — момент наступил: не забей он тревогу, не подкрути гайки — сколько не достроят, сколько жилья недополучат люди! Для кого, спрашивается, он хлопочет?..

Так размышлял Семен Артемьевич, сидя в бегущей по белому городу черной «Волге», а Левенцев в это время шел к себе в коммунальную квартиру двухэтажного кирпичного дома довоенной постройки. Чувствовал он себя за свою несдержанность неловко. Ведь он ничего не знал о жизни Худякова, судить о ней не мог, оправдывался теперь перед самим собой: «А-а! Двадцать лет не виделись — не увидимся, наверно, еще столько, а такого ему никто не скажет — пусть поразмыслит на всякий случай...» И торопился домой в надежде, что сможет поработать сегодня — наступил трудовой день, и соседи ушли, а если кто и остался, то спит, и никто мешать не будет...

Ночью, когда в квартире уgomонились, Левенцев тоже лег, но уснуть не мог: напряжение натянуло нервы и не отпускало. Он применял все известные ему способы уснуть — и расслаблялся, твердил себе: «Все хорошо, все спокойно...», и считал до ста, и, припоминая, перечислял фамилии — забывался даже, засыпал, но всякий раз один какой-нибудь, особо крепко натянутый нерв дергался и будил. Под утро Левенцев встал, оделся и вышел на улицу.

По городу он бродил, пока не пошел снег. Он сначала не понял, вернее, не поверил, что это падает снег, и нагнулся — низко, к самой земле, — чтобы разглядеть маленькие белые пятнышки, нагнулся и тогда забыл о причине, лишившей его сна.

Комната у него была светлая и просторная, с высоким потолком. За окном лежала разбитая и разъезженная грузовиками, грохочущая улица, но от нее дом отделяли часто обрезаемые, густые тополя, и он свыкся с грохотом и был бы доволен своим жильем, если бы не соседи. За стеной, в большой угловой комнате с тремя окнами, квартировала пожилая пара с двумя взрослыми дочерьми и внуками. Три года назад сестры, как по уговору, в один день справили шумную свадьбу и переехали жить со своими чемоданами к мужьям, а два года спустя вернулись: сперва одна — зареванная и с

младенцем, а затем и другая — без слез, но с синяком под глазом и тоже с младенцем.

Жить и работать можно было еще. Конючили, правда, на разные голоса ребятишки, к нему частенько заглядывали то родители, то сестры — жаловались друг на дружку, плакались; утешал он их, уговаривал и мирил — долго не мог после сам успокоиться, успокаивался все же и работал; но когда стали навещать сестер брошенные ими мужья — низкорослые, хриплогорластые, вечно хмельные мужики, — житья не стало.

За стеной то пили мировую, вопили песни и топали, то вспоминали прошлые обиды, начинали сводить счеты — поднимался гвалт, что-то хрюскало, звенело, билось. Левенцев сдерживался, убеждал себя, что жизнь соседей его не касается, продолжал ходить с кистями и палитрой в руках вокруг холста, но кончалось всегда тем, что к нему врывалась одна из сестер, расхристанная, злая, кричала:

— Ты-то что глядишь?! Вмешался бы! Разнял! Поубивают они друг дружку, как пить дать — поубивают!

Он клал покорно палитру, заворачивал в тряпицу кисти, чтобы не засохли, и шел унимать скандал. Работать в такие дни он не мог.

В этот раз он ушел из дому ночью, и ему повезло: он увидел первый снег, увидел, как он начинался, и как весь, какому предстояло выпасть, высыпался и лег ровным слоем на землю, дома и деревья. Левенцев успокоился и уже собирался возвращаться к себе, но никак не мог повернуть назад, все шел и шел по белому и тихому городу, пока не встретил Семена Артемьевича.

Ночью перечисляя фамилии, он так и недобрался до Семена Артемьевича, а тут, увидев того и узнав, прежде всего вспомнил его школьное прозвище, и непонятное это, неведомо откуда взятое и забытое, затерянное за годами слово Меликасет отозвалось неожиданно в памяти давней обидой — вспомнились мальчишеские те, горячие слезы, какие глотал он когда-то над речкой и какие надолго замутили тогда ему свет. Вспомнилось и веселое, розовощекое, с пухлыми ушами лицо Меликасета, какое было у того, когда рубил он, сек на мелкие кусочки его рыбу... Припомнилось, что с таким же лицом шпынял Меликасет обычно в бока каменными своими кулачками однокашников.

Лицо у Семена Артемьевича и теперь было чистое и будто бы такое же, как в детстве, розовощекое, налитое здоровьем, все так же торчали в стороны мясистые пухлые уши. Уже сидя у него в машине, Левенцев подумал, что жизнь с годами изменяет в человеке многое, но не все.

Семен Артемьевич благодушеествовал, а Левенцеву виделся он прежним — нагло-самоуверенным — и ощущая, как возвращается к нему вызванная ночным скандалом и бессонницей злость, и зная наперед, предугадывая, как давнее, долго не проходившее жадное желание с лихвой расквитаться с Меликасетом теперь найдет выход, выльется, выплеснется наружу, с радостью отдался этому чувству и в ответ на приветливые слова Семена Артемьевича вел себя вызывающе, дерзил и выскочил из «Волги», хлопнув дверцей. Когда машина укатила, пыхая беззвучно голубым дымком, и он представил себе, как сидит в ней Семен Артемьевич, высоко задрав голову и чуть повернув в сторону подбородок, к нему еще раз вернулось ненадолго сильное, как вожденная страсть, желание мстить Меликасету, но тут он опять увидел обновленный город — припорошенный снегом, будто подернутый мягкой грустью, и так же, как вспомнил, так и забыл Семена Артемьевича — сразу, неожиданно и прочно, будто никогда тот не входил в его жизнь, — забыл, потому что вернулась к нему потребность работать — та потребность, какая осмысливала его жизнь и всегда возвращала ему силы.

Левенцев еще не добрался до дома, а Семен Артемьевич сидел уже на оперативке. Здесь строили торговый центр, именно здесь предстояло освоить до конца года семьдесят тысяч. Собрались подрядчики и субподрядчики. Чтобы в полной мере спрашивать с них за все, важно было выслушать их требования и принять меры к удовлетворению.

Семен Артемьевич четко и последовательно ставил вопросы (где, когда, сколько?); уточнял и еще раз уточнял потребности и возможности строителей; фиксировал ответы и тут же, для себя, отмечал, что в этих ответах главное, а что второстепенное: автокраны и транспорт для погрузки, перевозки и разгрузки блоков — главное, а прожектора на монтажной площад-

ке — второстепенное, кондуктора — главное (срочно потребовать от ДСК сварить), а изменение облицовочных фасадных панелей — второстепенное (панели можно монтировать и после... Придется, правда, вручную таскать по этажам бетон, но эти работы перейдут на следующий год).

Для Семена Артемьевича оперативка была столь привычным делом, что он не все слушал, о чем здесь говорили. Казалось, он весь внимание и сосредоточенность, он весь в том, о чем спорят подрядчик с субподрядчиком, а его мысли в это время уходили совсем в другую сторону. Он думал о том, что, если у него останется время, он, отпустив всех, побеседует с монтажниками и бугром — от них можно услышать дельные предложения. Бугор здесь опытный, Семен Артемьевич только вернулся в город после института, а Лобанов уже бригадирствовал — все знает. Хотя наперед можно предположить, чего потребует: платите аккордно — бутсделано. Но аккордная плата не укладывается в фонд зарплаты...

Семен Артемьевич размышлял о деле, но порой ему почему-то за голосами, которые звучали в вагончике, слышался резковато-въедливый голос Левенцева, а из-за лиц, окружавших Семена Артемьевича, выглядывал попеременно то конопатый подросток в кроличьей шапке, то щуплый человек с рыжей бородой, и Семен Артемьевич несколько раз спрашивал у себя одно и то же: «Зачем Левенцев отрастил эту бороду? Козел и козел...»

Сам он никогда не менял выработанных еще в молодости привычек — носил темный костюм и белую сорочку с галстуком, коротко подстригался и тщательно выбривал лицо — ничем не отличался от других, а на тех, кто внешним своим видом выделялся, глядел с удивлением, испытывая раздражение и неприязнь; и теперь ему казалось, что отвлекает его Левенцев от оперативки только потому, что носит эту некудышную рыжую бороду.

Впрочем, и Левенцев, и оперативка вскоре отошли для него на второй план, он весь переключился на предстоящее совещание, стараясь предугадать, как поведут себя Сергей Михайлович с Андреем Макаровичем,

Андрей Макарович обычно во всем полагался на него и поддерживал, а Сергей Михайлович никогда не принимал ничьих заверений на веру, требовал всегда в подкрепление доводы...

Занятый мыслями о совещании, а потом самим совещанием, которое, кстати, прошло успешно и так, как хотелось того, Семен Артемьевич совсем забыл о Левенцеве. Забыл надолго, и они долго не встречались больше. И каждый из них жил по-прежнему своей жизнью, не подозревая того, что судьбы их уже сошлись и навсегда связаны теперь будут незаметной, но надежной связью мыслей, взглядов, оценок, памяти...

Недели через полторы о Левенцеве Семену Артемьевичу напомнила Руфина Викторовна. Семен Артемьевич уже лежал, а Руфина Викторовна все еще ходила по квартире, хлопала дверьми. Наконец и она вошла в спальню. Зажгла над своей кроватью бра, погасила верхний свет и скинула на кресло халатик. Улыбнулась отражению в зеркале, сказала:

— Приятеля сегодня твоего встретила.

Семен Артемьевич скосил на нее глаза:

— Приятеля?!

— Ну, того, в облезлой шапке.— И, видя в зеркале удивленное лицо мужа, повернулась к нему: — С бородой. Рыжего.

— А-а! — догадался Семен Артемьевич. — Левенцева... Приятеля, говоришь?.. Учились когда-то в одном классе... Где он живет, любопытно... Заправский художник с виду — борода козлиная и все такое...

— Грубиян, — сказала Руфина Викторовна, ложась. — «Сами в магазины ходите? Как же это вы? Мужу поручите — привезет на машине».

Семен Артемьевич представил себя самого, обвешанного авоськами, и добродушно посмеялся:

— Ну, а ты?

— У мужа, мол, и так дел хватает.

— Ну, ну?

— Для дел, говорит, у него секретарь есть, помощники.

— Им же не все поручишь, — сказал Семен Артемьевич, скучнея, и уставился в потолок.

— Пусть бы сам, говорит, по магазинам побегал — помяли бы в очередях, посогнал бы жиру.

Семен Артемьевич снова засмеялся.

— Много ли у меня жиру? Ха!

Руфина Викторовна с улыбкой поглядела на скрипнувшую под мужем кровать, на его выпирающий из под одеяла животик.

— Гасить, что ли?

— Гаси, — сказал Семен Артемьевич и, когда шелкнул выключатель и хрустальное бра погасло, подумал: «От дурак! Посогнал бы жиру...»

Возникло неприятное чувство, но Семен Артемьевич, привыкший решать вопросы объективно, независимо от чувств, отогнал неприязнь и подумал по-другому. Надо бы все же помочь Левенцеву — как-никак однокашники.

Тот, видно, неопытный в житейских делах, не знает, что счастье порой зависит от пустяка, и в мелочах иной раз надо соблюдать осторожность — как бы, к примеру, не шли у тебя дела, а скажешь не то, — и пропал.

Поначалу и у него в жизни так все складывалось — горячился. Случай помог — уразумел с того случая многое. Был старшим прорабом еще — дом завалился. Ну, и присмирел. По ниточке ходил. Погорячись тогда — посадили бы. Распекали, стружку снимали — дым шел. Терпел, каялся... И начальников понимать надо — тоже люди. Взыскивают — за дело, значит. И уважать начальника надо, тем более если зависишь от него, — и он тебя уважит, поддержит, где надо, поможет... Выстоял на коврах тогда — тем и кончилось.

Посогнал бы жиру — вот дурень! Другой бы на месте Семена Артемьевича застопорил всякое дело — и не пробиться тебе, хоть плачь, хоть волком вой!..

И тут Семен Артемьевич опять вспомнил рыжую тощую и неопрятную бороду Левенцева. Отрастил! На кой черт! Ну, была бы борода, а то — мочалка...

А ведь вместе в школу бегали. Меликасет и Ливан. Меликасет жил на улице Верхние Ременники, Ливан — на Варварке, но их огороды на задах сходились, и может, через то родители — один стрелочник, другой путевой обходчик — считались приятелями — то разопьют после баньки на задах чекушку, то сговорятся да в отпуск уедут вместе подрабатывать по найму. У них же приятельства не было. Он всеми окрестными

улицами верховодил, а Ливан... Ливана и не слышно было.

Надо, разузнать надо, что он за художник. Дать ему квартиру хорошую — и от мастерской откажется... Так решил Семен Артемьевич, засыпая, а наутро опять забыл о Левенцеве.

Еще через неделю, а может быть, через две, вечером, Руфина Викторовна спросила:

— Так как фамилия твоему приятелю?

— Приятелю? — опять удивился Семен Артемьевич.

— Ну, тому, в облезлой шапке. С бородой?

— А-а... Левенцев.

— Так это о нем пишут? — Руфина Викторовна снова накрыла круглые плечи сброшенным уже было халатиком, принесла из зала местную газету.

Семен Артемьевич зажег над головой бра, потянулся к тумбочке за очками и нацепил их на нос. Читая, бормотал:

— «Экспозиция бедна жанровыми картинами и богата пейзажем. Из работ пейзажистов привлекают внимание...» Тут нет про Левенцева.

— Дальше, дальше, — сказала Руфина Викторовна, — в самом низу.

— В самом?.. Ах, вот! «Интерес зрителей вызывают картины Левенцева...» Левенцева В. Д. — точно, о нем... «Утро» и «Полдень» написаны живо, свежо, хотя, может быть, автора и можно упрекнуть в оригинальничании».

Семен Артемьевич снял очки, сунул вместе с газетой на тумбочку и дернул шнур. Полежав немного, проговорил сонно:

— Оригинальничает. Бороду отпустил — заправский художник — а-а!..

— Гасить?

— Гаси, — сказал Семен Артемьевич и, как только свет погас, сразу уснул.

Приблизительно в это время и Левенцев прочитал статью с отзывом о своих работах. Скомкал газету и швырнул в угол.

Слепцы! Форма — лишь средство выразить мироощущение, сама по себе форма интересовала его лишь в пору ученичества. Оригинальничает...

А как долго его упрекали в другом — в однообразии, в замкнутости. Советовали обновить палитру и тему сменить: мол, город и город у тебя, один и тот же город. Маститые его коллеги предлагали даже написать что-нибудь на заказ...

У них картины покупали часто, а он презирал работу на спрос — не заботился о продаже, писал так, как видел, как чувствовал.

Может быть, случайно работники музея оказались на выставке и случайно увидели на его полотне тот самый город, в котором провели несколько дней и который обворожил их тишиной и теплом русского бабьего лета?..

Через два года еще одну его картину купили. А год спустя — сразу две. И тогда к нему пришла известность. Не та шумная, когда имя твердят все, не ведая толком, что стоит за этим именем, а та известность, когда люди связывают с фамилией человека его дело, то, что дает он и может дать другим.

О нем и раз, и два упомянули в центральном журнале. Но здесь, в городе, поняли это сначала по-своему — советовать стали еще больше: успех твой случаен, и это у тебя не так, и то не эдак. Он продолжал идти прежним путем — и вот: оригинальничает...

С той ночи, когда одна и та же газетная статья попала на глаза и Худяковым, и Левенцеву, Семен Артемьевич, который и раньше, правда, слышал о Левенцеве, но который никак не связывал имя его со своим забытым давно однокашником, стал часто наткаться на эту фамилию. Как-то сказал Руфине Викторовне:

— Ты знаешь, а картины Левенцева, оказывается, покупают. В музеи. Сергей Михайлович на совещании упоминал.

— Вот тебе и кроличья шапка! — Руфина Викторовна неопределенно как-то покрутила в воздухе полной своей рукой. — Мог бы ты и позаботиться о приятеле.

— Надо бы, надо помочь, — проговорил в раздумье Семен Артемьевич и снова забыл об этом своем намерении, и снова напомнила ему Руфина Викторовна. Разговор тот начала не с Левенцева, а спросила сначала о том, о чем всячески старалась не спрашивать:

— Мы, кажется, никогда и не справим с тобой новоселье?

Тронула пальцем голову Семена Артемьевича, закружилась перед ним, глянула через плечо игриво — знала, чем расшевелить мужа.

Семен Артемьевич обнял ее.

— Не терпится?

— До нового года переедем?

— Это секрет, — сказал Семен Артемьевич, целуя ее в белую шею.

— Так надоело тут все! — Руфина Викторовна чмокнула мужа в губы и отстранилась. — Кажется, всю жизнь провели в этой квартире! Надоело!

Семен Артемьевич с силой привлек ее к себе.

— Потерпи, потерпи...

О Левенцеве Руфина Викторовна сказала после, когда уже приняла душ и расчесывала перед зеркалом влажные волосы.

— Приятеля твоего сегодня встретила. Мрачный, злой. Передайте, говорит... и слово сказал какое-то чудное — Мелко-сету, что ли, — передайте, говорит, благодарность мою за мастерскую.

Семен Артемьевич почувствовал, как к затылку у него приливает кровь: «Вспомнил-таки прозвище школьное, дурень!..»

— Кому, спрашиваю, передать? — продолжала Руфина Викторовна. — Поглядел так, словно я — это не я, а жаба какая-нибудь. Нахал он и хам!

«Да еще какой», — подумал Семен Артемьевич.

— А и вправду ему мастерскую дали?

— Мастерскую? — Семен Артемьевич пожал плечами и решил, что надо будет поточнее разузнать все о Левенцеве.

В этот раз он не забыл о своем намерении, и, когда несколько дней спустя в кабинете у него раздался телефонный звонок и трубка спросила знакомым потрескивающим голосом: «Слушай-ка, ты знаешь Левенцева?», — Семен Артемьевич уже был хорошо осведомлен.

— Как же, как же, Сергей Михайлович, — сказал он, радуясь, что звонок этот не застал его врасплох.

— Читал, что о нем в газетах пишут?

— Читал, читал. — Семен Артемьевич напряг мозг и вспомнил статейку, подsunутую ему Руфиной Викторовной. — Оригинальничает.

— Оригинальничает?.. — Сергей Михайлович помолчал, слышно было, как он шелестел бумагой. — Передо мной центральная газета, тут о нем так отзываются: самобытно... глубоко... поэтично. Ты его хорошо знаешь?

— Как же, как же! — воскликнул Семен Артемьевич, пытаясь справиться с минутной растерянностью. — Мы с ним однокашники, на одной парте сидели.

— Вот как! — Мембрана в трубке задребезжала. — И как он живет, в каких условиях, знаешь?

Семен Артемьевич опять обрадовался:

— Знаю, знаю! Условия не ахти. Я как раз занимаюсь этим вопросом. Ему надо помочь.

— И не тяни, не тяни, — загудела трубка. — В центральной газете не зря пишут. Когда все будет ясно — прямо мне доложишь.

Семен Артемьевич решил, что действовать надо не мешкая, и в тот же день послал за Левенцевым курьера.

И состоялась их вторая встреча, и возобновилась открытая связь, бывшая какое-то время односторонней, скрытой от Левенцева, и то, что наметилось между ними в первый раз, теперь проявилось в полную силу. Левенцев, который все еще сожалел о прежней своей несдержанности, получив этот неожиданный вызов и связав его в опасливой надежде с мастерской, хотел свести прошлую свою грубость к незначашему ничего приятельскому подтруниванию, но, увидев Семена Артемьевича, его добротный костюм, его чистое, гладкое лицо, его задранный подбородок, снова испытал к нему давнюю неприязнь. И встреча опять получилась острая и неприятная, а закончилась уж совсем скверно — для Левенцева.

Правда, у него после этой встречи появилась надежда получить мастерскую, зато сам он оказался в таком положении, что сразу переменялась вся его жизнь. Она скособочилась, перекосилась, ушла куда-то в сторону от всего, к чему он был так привязан, во что был так углублен. И он не узнавал самого себя. Он уже был не он, он отошел от всех своих привычек, он утратил всякую гордость — ходил раз за разом к секретарше Семена Артемьевича, та назначала ему часы приема и переназначала, а он все ходил, потом стал

ходить к Вахтееву, человеку горячему и въедливому, задавшемуся целью вызнать о Левенцеве все в подробностях: кто поднял вопрос о выделении ему квартиры, и кем ему приходится Семен Артемьевич, и к чему одинокому человеку две комнаты?... После начались хождения по инстанциям — все ниже и ниже. Там уже никто не ставил под сомнение пришедшую сверху команду выделить ему квартиру, там уже задавали конкретные вопросы: какую? Где? Когда? И всюду он твердил одно: ему нужна большая мастерская! Очень большая! Как можно больше!

— Мастерская?! — удивлялись везде.

— Да... То есть — комната большая, — говорил Левенцев.

— А вторая? — спрашивали его.

— Все равно, — говорил он, — все равно.

С неделю он обивал пороги разных кабинетов, отвечал на вопросы, писал требуемые бумаги, но делал все так, будто нужно это было кому-то другому, а не ему, и не мог избавиться от ощущения, что происходит все это с ним не на самом деле, а во сне.

Действительно, разве возможно в реальности такое, чтобы он, забросив работу, день за днем ходил в покорности к разным людям со своей просьбой?.. За всю его жизнь, кажется, он никогда никого ни о чем не просил...

Нереальным представлялось и то, что у него скоро будет отдельная квартира, в которой можно работать и работать, без помех работать круглые сутки!.. Сколько же там можно успеть всего сделать?! Днем можно писать, в сумерках рисовать, а ночью думать, сколачивать подрамники, натягивать холсты, читать...

Нет, такая жизнь тоже была нереальной.

Взаимоотношения между ним и Семеном Артемьевичем опять обрели одностороннюю связь. Куда бы ни являлся со своим делом Левенцев, он везде слышал почтительные разговоры о Семене Артемьевиче и забыть последнюю встречу с ним никак не мог, он жил в неведении, и ему все казалось, что судьба его отныне крепко-накрепко зажата в руках Семена Артемьевича. А Семен Артемьевич, успев за это время доложить Сергею Михайловичу, что вопрос с художником Левенцевым решен и что в течение месяца тому будут

созданы соответствующие условия для работы и отдыха, передал дело Левенцева своему заместителю Вахтееву. Он больше не вспоминал о Левенцеве, но по велению своего служебного долга немало делал для того, чтобы казавшееся Левенцеву несбыточным стало реальным.

Данные вселяли в Семена Артемьевича уверенность, что годовой план по строительству будет выполнен. Может быть, с самой небольшой натяжкой... С освоением средств они справятся — это уже ясно, а вот для ввода объектов в эксплуатацию не обойтись без дополнительных и, видимо, жестких усилий... Придется, возможно и даже очевидно, принимать у строителей сооружения с недоделками...

Переходные средства, финансирование строительства на будущий год, фонды... — все вынуждало идти на такой нежелательный шаг. Вот и гнал он план. Для себя — не для себя?.. А премии за выполнение и перевыполнение плана — не для людей, что ли?..

И ему будет премия. Но таких, как он, как Вахтеев, единицы, а с премиями, наградами, почетом связаны интересы тысяч.

Рассуждая так, Семен Артемьевич постоянно бывал на стройках. Ездил даже тогда, когда на это не хватало времени из-за других дел, когда чувствовал усталость, и даже тогда, когда надоедало и не хотелось больше заниматься строительством.

Почти на всех объектах, заканчиваемых строительством, он вел себя одинаково. Указывал на недоделки, на брак, и распекал за упущенное время, и требовал, чтобы срочно подключали отопление, свет, воду и заканчивали малярные работы. Это было главное, это надо было вопреки всем объективным обстоятельствам завершить до нового года — и план будет!..

Еще ему добавляла забот Руфина Викторовна. Раньше она сдерживалась, а теперь постоянно надоедала с новосельем. Надоедала потому, что дом, в который они готовились переезжать, был готов, а Семен Артемьевич под всякими предлогами откладывал его сдачу, требуя от строителей различных изменений и переделок — то ему не нравилась форма плинтусов, то цвет перил на лестничных клетках, то он обнаруживал где-нибудь оставшие обои. Вокруг дома чернел чуть тронутый ине-

ем асфальт, дом сиял надраенным стеклом в окнах всех девяти этажей и казался жилым, но в подъезды, запираемые с вечера на замок, каждое утро входили строители, и лазили по этажам, и что-то делали.

Наконец занервничал и Семен Артемьевич. Казалось бы, чего ему нервничать, а он забеспокоился и даже выбился на время из привычного деловито-напряженного и размеренного ритма жизни. Навязчиво представлялось ему, как обставит он новую свою квартиру, и это лишало покоя. Надо было достать к переезду большой красный ковер для кабинета. Непременно красный. Спальня, гостиный зал, прихожая и все остальное — предмет заботы Руфины Викторовны, и хотя хлопот немало у него и тут: Руфина Викторовна постоянно увеличивала список того, что требуется раздобыть, но все же общие заботы там лежали на ней, а кабинет — это его личное дело, и он сам должен продумать, что надо купить, где и как что расставить... И Семен Артемьевич представлял себе красный ковер во весь пол, на нем массивный письменный стол, покрытый сверху стеклом, один стул, два тяжелых кресла, большой диван, а вдоль стен застекленные шкафы с книгами — и ничего больше.

Семен Артемьевич реже проводил теперь у себя совещания, чаще заглядывал в магазины и на торговые базы, на работу являлся точно к девяти, а домой уезжал ровно в шесть: Руфина Викторовна требовала, чтобы он помогал ей готовиться к переезду — укладывать, упаковывать, увязывать... Дел по дому, казалось, не переделать. Наконец Семен Артемьевич дал команду принять дом в эксплуатацию, и на другой же день они с Руфиной Викторовной оставили надоевшую им квартиру и перебрались в новую.

Событие это недели две кряду благотворно влияло на душевное состояние Семена Артемьевича и сказывалось на его служебных делах. На работу он являлся веселый, доброжелательный, и то, за что раньше не дал бы он никому спуска, многим сходило с рук, а те бумаги, которые он непременно потребовал бы выверить и доработать, ход которых он бы задержал, теперь подписывал, едва просмотрев. И каждый день хотелось Семену Артемьевичу пораньше уйти с работы, и каждый день с нетерпением ждал он часа, когда можно

будет наконец облачиться в малиновый трикотажный костюм, и бегать по квартире, и лазить по табуреткам, по столам, и вколачивать в стены гвозди, вворачивать шурупы, и вместе с Руфиной Викторовной, помолодевшей, румяной и привлекательной, развешивать ковры и бра, зеркала и занавески, шторы и репродукции картин в тисненых из папье-маше, покрашенных под золото рамках.

Перед тем как лечь спать, Семен Артемьевич задерживался всякий раз в своем кабинете — обставил он его так, как и хотел, к тому же мебель попалась румынская, изготовленная (как было теперь модно) «под старинную», с точеными завитушками и бронзовыми витыми ручками на дверцах и ящиках. Какое-то время Семен Артемьевич наслаждался видом своего кабинета, затем подходил к окну.

Дом стоял на самом высоком холме, и отсюда с восьмого этажа был виден весь город: он лежал внизу. Весь. И старый, с церквями и соборами, и новый, усеянный огнями, прорезанный ровными линиями улиц и проспектов, с торчащими в черном небе подсвеченными трубами и стрелами башенных кранов.

Семен Артемьевич вглядывался в город, и ему почему-то хотелось определить, где теперь то место, на котором была улица Верхние Ременники и дом, в котором он родился и рос. Приятно было сознавать, что дом стоит так высоко. Сколько ни пройдет лет, как ни изменится город — здания из стекла и бетона совсем закроют купола и кресты, — а этот, его дом, так и будет стоять вечно над городом.

В такое приятное для Семена Артемьевича и одновременно хлопотное, горячее время состоялась его третья встреча с Левенцевым. Совсем не такая, как две предыдущие, тихая и добрая, почти дружеская.

Левенцев к тому времени начал уже свыкаться с новым своим положением, когда надо постоянно оказываться в обстоятельствах непривычных и тягостных, да и пережил уже в основном удручающий, но неизбежный в таком деле период просительства — ему в тот день показали дом, в котором он будет якобы работать и жить, и он побежал к этому дому, не зная, конечно, что в тот час там был Семен Артемьевич.

В доме заканчивали работу отделочники: клеили

обои, красили окна, двери. Наметанным глазом Семен Артемьевич натыкался везде на брак. Ходил по этажам, цедил сквозь зубы бегающему за ним прорабу:

— Готовить дом к сдаче в таком виде — наглость... Тебя бы самого поселить сюда! В туалете закроешься — весь коридор сквозь щель виден, побелка со стен цепляется.

Прораб пытался оправдываться:

— Так минимальная окраска...

— Минимальная-минимальная! — повышал голос Семен Артемьевич. — А швы на потолках?! Тоже минимальные?! Косые, пляшут! В ваннах, в санузлах арматура из стен лезет!

— Санузлы и ванны поступают с завода смонтированными.

— Зачем принимал с браком?! — Семен Артемьевич шумел, но фактически был доволен: этот объект будет сдан до нового года.

Левенцев увидел тот дом совсем другими глазами. Улицы там еще не было, она только проектировалась, и Левенцев не мог знать, что в будущем тут ляжет шумная магистраль, он увидел высокое и длинное, красиво оштукатуренное здание, возведенное в окружении частных домиков, садов и огородов. Отсюда, из-за гор строительного хлама, спаянного морозом в монолитные глыбы, открывался вид на весь старый город, тот самый город, который столько раз вдохновлял Левенцева и который принес ему его нешумную известность.

Левенцев стоял, не решаясь войти в подъезд, как будто первый же его шаг спугнет его судьбу и кто-то где-то передумает, и переиначит свое решение, и не даст ему квартиру здесь, откуда так хорошо смотреть.

В это время и появился Семен Артемьевич, по временной лестнице, по доскам сошел вниз. Увидел Левенцева — жиденькую его бороду, облезлую шапку, не наглые, а испуганные какие-то глаза — и не почувствовал к нему ни зла, ни злорадства, ни даже неприязни. Только удивление ощутил: как это удалось тогда этому человечешке в собственном кабинете Семена Артемьевича вывести его из себя? Уж какие ни встречались ему людишки вздорные — самообладания не терял, а тут поди ж ты!..

— А-а! Ну, как дела? — Он протянул руку и с минутой с интересом рассматривал Левенцева.

— Хорошо как будто, — произнес тихо Левенцев. — Обещали дать мастерскую вот тут... Спасибо.

— Мастерскую?! — воскликнул пораженный Семен Артемьевич.

— Ну да... То есть нет. Квартиру.

— А-а-а...

Семен Артемьевич обернулся, взглянул на дом так, будто видел его впервые: фасад оштукатурен мраморной крошкой, внизу — зеркальные стекла магазина, большого магазина для туристов. Этот дом украсит всю будущую улицу, но... Он покачал головой и, поворачиваясь к Левенцеву, сказал:

— Ну-ну... Поздравляю.

— Рано как будто, — проговорил Левенцев. — Еще, может, ничего не получится.

— Ну-ну! — Семен Артемьевич взял его за плечо. — Все получится. И будем мы с тобой, выходит, одновременно справлять новоселье — вот как!

— И ты переезжаешь в этот дом?!

— Мой дом получше стоит, — сказал он, — повыше.

Левенцев проследил за его взглядом и сам догадался, что Семен Артемьевич поселился, наверно, в том доме, который дыбится в одиночестве над садами и загораживает в западной стороне полнеба.

«А ведь станет сейчас туда проситься, — подумал Семен Артемьевич, заметив, куда смотрит Левенцев. — Нет, тут, брат, у тебя ничего не получится. Как говорится, на чужой каравай рот не разевай...» Он незлобиво усмехнулся, а сказал совсем дружески:

— Так что не беспокойся, квартира тут тебе будет — я прослежу. — И почему-то всепрощающе добрея к Левенцеву, добавил: — А хочешь, полази по этажам, дадут — какую выберешь.

Левенцев стоял, опустив голову. Как это он будет выбирать? Другие тоже могут выбирать себе? Он смущенно молчал, чувствуя себя обязанным Семену Артемьевичу, и вспоминая, как грубил ему, и понимая свою вину перед ним, и в то же время находя у себя где-то глубоко в подсознании оправдательную мысль, что с ним поступают несправедливо.

— Ну что, будешь выбирать?

— Нет, — сказал тихо Левенцев, думая о том, что из окна его мастерской должен быть виден город — обязательно должен быть виден! И он напишет здесь самую лучшую свою картину!..

— Ну как знаешь, как знаешь. — Семен Артемьевич еще раз тронул его за плечо. — Бывай! Я прослежу — получишь квартиру. А если что — звони. — И пошел к машине, которая уже пятилась к нему задом.

Побывав на стройке, Левенцев опять лишился обычного своего состояния — погруженности в созерцательно-философский мир, в который начал было возвращаться, и работал теперь как-то скачкообразно, рывками — то силой заставлял себя сидеть сутками в комнате, топтался с палитрой в руках вокруг холста, поставленного на мольберт, пробовал писать, то бросал все, бежал на стройку, бродил вокруг дома, с волнением всматриваясь в открывающуюся оттуда панораму, и уходил, недовольный собой: не появлялось ощущения той новой его картины! И он предчувствовал уже, почти знал, что для этого город ему надо было увидеть из окна своей мастерской.

А что если окно мастерской будет выходить туда, на северо-запад, где торчит в небе серый девятиэтажный дом?! Левенцев думал, что надо, обязательно надо позвонить Семену Артемьевичу, объяснить, какая ему требуется мастерская, но никак не мог решиться на этот звонок.

А потом на Левенцева свалились новые, совсем неожиданные заботы. Он еще не знал о том, что решение о выделении ему новой квартиры уже есть, когда на прежнюю квартиру явился к нему новый жилец. Левенцев не сразу признал в нем шофера Семена Артемьевича. В темном коридоре тот сообщил доверительно:

— Развожусь — жилье требуется. Временно, конечно, — найду жену с жилплощадью.

На шофере была почти такая же, как у Левенцева, старая кроличья шапка, поношенное пальто, мятые штаны и серые от въевшейся пыли, зашнурованные ботинки, но ходил тот важно, враскачку, солидно крякал и хмыкал, оглядывая забитую холстами, подрамниками, картонами, этюдниками и мольбертами комнату, тыкал во все стороны пальцем:

— Стены увешаны — гвозди... Надо будет заново штукатурить, затирать, купоросить.

— Я заплачу, — говорил Левенцев, — сделайте, как надо.

— Некогда мне, а тут возни много.

— Заплачу, сколько нужно.

Шофер походил еще, похмыкал:

— Составим смету.

— Смету?! — Левенцев подумал, что он — не фабрика, не завод — зачем ему смета, но сказал: — Как хотите.

Несколько дней шофер возил Левенцева на черной «Волге» по разным учреждениям, добиваясь составления сметы — то не было техника, занимающегося этим делом, то некому было дать указание технику. Наконец обрадовали: смета будет готова через неделю. А Левенцев видел уже себя обладателем отдельной квартиры, не работал, нервничал и сказал шоферу, что заплатит ему столько, сколько тот потребует. Шофер отставил ногу, постучал об пол носком пыльного своего ботинка и, похмыкав, изрек:

— Нет, надо осметить.

Левенцева взорвало:

— Осметить, осметить! Я вот побелю — и все!

Шофер крякнул:

— Не приму.

— Квартира должна быть чистой и сдается домоуправлению!

— Не приму — и домоуправление не примет. Заставлю переделывать.

Левенцев вынес свои пожитки, забил ими весь коридор, разобрал стеллажи, нанял маляров, и тут началось: его вызывали в домоуправление, в горжилотдел, требовали составить смету, согласовать ремонт с новым жильцом, а тот привозил с собой к Левенцеву каких-то начальников, укорявших его за несговорчивость, советовавших не торопиться, делать все в контакте с новым квартиросъемщиком, а под конец распекавших его за то, что он задерживает заселение комнаты другим жильцом.

Маляры приходили хмельные, работали вечерами — соскабливали старую побелку, штукатурили, шпаклевали, купоросили, белили потолок и после каж-

дой операции просушивали комнату, изводя тем самым Левенцева, который ставил им бутылки. Но вот подготовка была закончена, и маляры в одну ночь оклеили стены светлыми обоями в серебряном узоре, покрыли белой эмалью раму, подоконник и дверь, покрасили желтой краской пол.

— Расчет, хозяин. Все сделали на совесть.

Левенцев с радостью заплатил им, поставил магарыч, а когда оказался один в комнате, которую раньше никогда не видел такой празднично-чистой, такой веселой, пожалел, что надо ее оставлять.

Ему нельзя было обижаться на эту комнату — здесь он немало и неплохо поработал, немало сделал. А до того, пока жил у частного, писать пытался в самых диких условиях.

В кинотеатре наловчился одним махом выдавать трех-четырёхметровые рекламы, и оставалось время на живопись. В подвале было темно: летом ставил холст у открытой двери, а зимой выскакивал с палитрой на мороз каждую минуту — подбирал цвет...

В проектном институте условия оказались лучше: комнату дали. Но за фанерной стеной была офсетная мастерская — грохот машины! Затыкал уши ватой, надевал ушанку!.. Стали применять какую-то жидкость, а вентиляции в том новом здании еще не было — от резкого запаха слезы из глаз текли.

Нет, на эту квартиру ему обижаться нечего.

Шофер явился снова. Ходил по комнате с важным видом. Шлепал ладонью по стенам, трогал блестящую, как стекло, раму, хмыкал и говорил, что эмаль положена слишком тонко — надо бы пройтись еще раз, пол покрашен слишком светлым — покрыть бы его суриком, — да ладно уж.

Они выходили вместе, чтобы ехать в домоуправление, когда шофер подергал в коридоре входную дверь.

— Придется вам укрепить косяк.

Левенцев опешил.

— А если течет крыша? Или там — в подвале что?..

— Крыша крышей, а косяк укрепить придется.

Левенцев было заспорил, но после махнул рукой, договорился с мужиками, ходившими к сестрам, и те за две бутылки выдрали дверную коробку, укрепили, оштукатурили и покрасили.

В жилотделе, куда Левенцев пришел за ордером, встретили его вежливо:

— Ордер?.. Вручим. Тут же вручим, как только позвонит Семен Артемьевич.

— Худяков?

— Да, Семен Артемьевич.

— Но я закончил ремонт, сдал квартиру.

— Один звоночек — и ордер ваш.

Весь день Левенцев названивал Семену Артемьевичу — поймал вечером.

— А-а! Ты? — добродушно заговорила трубка. — Ну, как дела?

— Ордер не дают. Говорят, твой звонок нужен.

— Старое жилье отремонтировал?

— И ключи сдал.

— Никакого звонка не надо. Представь справку по форме номер семь — и получай ордер.

Еще день Левенцев метался, выхлопатывал справку, а когда прибежал в жилотдел со справкой, там повторили:

— Звоночек нужен. Один звоночек.

— Но он сказал, нужна справка.

Мужчина с большим лицом под кудрявой шапкой седых волос долго и внимательно глядел на Левенцева:

— А я вам говорю: звоночек. Звонок!

К Левенцеву пришла запоздалая догадка: ведь это Худяков, наверное, запретил выдавать ему ордер! Мысль эта наполнила его такой горькой обидой, что он даже не поверил этой своей мысли и опять стал звонить Семену Артемьевичу. Тот, на счастье, оказался у себя. Левенцев сбивчиво стал говорить ему о замкнутом круге, о волоките и волокитчиках — Семен Артемьевич перебил его:

— Уж не меня ли ты упрекаешь?

Левенцев смешался.

— Так справку я представил, а они: позвони да позвони...

— Справку, говоришь, представил?

— Да! По форме номер семь. Все равно, говорят, твой звонок нужен.

— Ты где теперь?

— В жилотделе. Но меня гонят. Говорят, чтобы я приходил завтра.

— Кто там?.. Передай трубку.

— Да... Да, — говорил в трубку человек с большим лицом. — В справке сказано: «Пригодна к заселению...» Ничего больше... Да. Да... Понял, понял. — И передал трубку Левенцеву.

— Ты подожди там, — сказал Семен Артемьевич, — я сейчас уточню кое-что — перезвоню. — И в трубке слышались частые гудки.

«Точно! Он запретил! Он!..» Левенцев опять испытывал унижение, и обида, какая минуту назад прошла мимолетно, заполнила его теперь до предела. Зачем, зачем Худякову потребовались эти звонки? Эта проверка? Для чего понадобилось ему подвергать Левенцева еще одной унижительной процедуре?!

Он выскочил в коридор и бегал там минут пятнадцать, пока не выглянул из двери человек, радужно улыбаясь большим лицом.

— Я же сказал: один звоночек — и ордер ваш. Сейчас выпишем.

Так кончились квартирные мытарства Левенцева. Но и при переезде, и после, как и перед этим, у него были совсем иные, чем у Семена Артемьевича, и заботы, и радости.

Как только вручили ему ордер и передали ключи, так он опрометью кинулся в новый свой дом и, конечно, не заметил там брак, какой бросался на каждом шагу в глаза Семену Артемьевичу. Он вбежал в подъезд, отыскал на незнакомой двери нужную табличку и непослушным ключом отпер дверь. Проскочил в кухню и, не поняв назначения этого помещения и ужаснувшись его камерного размера, вылетел назад в коридор, ворвался в первую комнату, тоже маленькую, к тому же неудобную — длинную, узкую, как труба, ужаснулся еще больше, распахнул дверь в другую комнату, смежную, — и сразу обмяк, притих у двери, с минуту стоял, боясь приблизиться к окну, о котором столько передумал, которое было ему так необходимо.

Потом, подойдя все же к нему и увидев оттуда темные силуэты домов и огни своего города, он обмяк еще больше, и ему в эту минуту показалось, что все обиды и огорчения, какие скопились у него на душе, навсегда исчезли, и никогда больше не будет у него теперь тяжелых минут, потому что у него теперь есть все, о чем он

только мог мечтать. Ему ничего не надо больше, кроме этой просторной комнаты, и этого окна, и этого города за окном!..

В сумерках и за огнями нельзя было различить ни отдельных строений, ни куполов, ни крестов на церквях и соборах, которые, казалось бы, не имели прямого отношения к миропониманию Левенцева, но которые заключали в себе те вековые ценности, какими дорожили и каким поклонялись его деда и прадеды; и Левенцев пожалел, что уже не день, и что в комнате нет ни мольберта, ни этюдника, и что ему еще не увиделась та картина, которую он здесь напишет.

Потом Левенцев выскочил на улицу, отыскал среди мусора, не вывезенного еще строителями, тряпку, ведро с замерзшим раствором на погнутых стенках и принялся мыть окна...

Он любил работать, когда окна открыты, когда ничто не отделяет его от того мира, который он пишет. Зимой пользовался каждой оттепелью, чтобы вычистить, вымыть, надраить стекла до абсолютной прозрачности — ни одно пятнышко не должно было портить, искажать то, на что он глядел и что так хотелось ему сохранить в неприкосновенности и оставить другим.

Мытье окон было единственным хозяйственным занятием, на которое он не жалел времени. Когда он впервые вымыл их здесь, и лег спать, и проснулся утром, к нему пришло ощущение необыкновенного, недостоверного прямо-таки счастья.

Он проснулся и увидел, что сквозь тонкие облака квартиру его насквозь пробивает желтый и, как ему показалось почему-то, весенний свет. В желтом этом, теплом свете падали сверху редкие и крупные, сонные снежинки, а им навстречу взлетали птицы — кажется, голуби; он наслаждался тогда бездумным белым кружением и темными взлетами в веселом, призрачном свете, когда увидел в то радостное утро еще и это свое дерево — увидел не так, как накануне, не взбудораженным и опьяненным взглядом, а успокоенным и просветленным, — увидел, как открыл, как узаконил раз и навсегда новое, невиданное, неизвестное никому ранее явление — могучий кривой ствол, и уходящие веером вверх тонкие, хитро перевитые сучья, и всю верхуш-

ку — округло и густо сплетенную, — увидел все дерево — стволом своим, сучьями и кроной похожего на какой-то веселый праздничный взрыв — и уж после всего этого: желтого солнца, редких снежинок, птиц, дерева, — увидел свой город. Вернее, он даже не увидел его, а ощутил, почувствовал, уловил внутренне настроение этого города, его свет и цвет, его общее грустно-спокойное, счастливое состояние вечности, какой этот город достоин и какую предстоит ему запечатлеть в своих картинах. Он почувствовал себя тогда таким счастливым, что усомнился даже: а с ним ли произошло и продолжает происходить все это? А когда он еще вообразил себе вид из окна в ясный летний вечер после дождя — лилово-зеленый город, тонущий в теплых и синих испарениях, — сердце его зашлось от жути: не будет такого счастливого вечера, не будет! Не может быть, чтобы счастье такое привалило ему, чтобы он мог целыми днями глядеть в тишине из этого окна и видеть свой город и в ослепительных снегах, и в зелени, и под дождем, и за выюгами!..

В это утро он перевез со старой квартиры лишь диван с постелью, этюдники, мольберты да два больших чистых холста, натянутых на подрамники и загрунтованных; и с этого утра начались те необыкновенные дни, в которые время для Левенцева остановилось. Нет, так не получилось, как он себе представлял; он не мог выделить из нахлынувших впечатлений тот единственный, ведущий мотив, который ляжет в образную основу новой его картины; он торопился и принимал за основу то, что было самым ярким, что бросалось в глаза, и сбивало, и лишало возможности всмотреться, и вдуматься, и увидеть главное.

Он мучился. Порой даже думал о себе, что бездарен, но его не оставляла вера, что поиски, в которых он бьется, выведут, обязательно выведут его к тому, что ему надо.

Левенцев понимал, что ему следовало бы бросить на какое-то время палитру, осмотреться, привыкнуть к новой обстановке, вжиться в нее, и тогда явится к нему сама та ясность, к какой он пробивается теперь, не жалея сил, но так необычно было и так желанно полное одиночество, в котором он вдруг очутился, что он не мог остановиться, и работал целыми днями и вече-

рами допоздна, и порой начинал с тревогой думать, что, может быть, так никогда и не привыкнет к новым условиям, в которых многое отвлекало, пробуждая ненужные, как казалось ему, размышления.

Квартира эта была спроектирована и построена таким образом, что два окна (из кухни и маленькой, длинной комнаты с балконом) глядели на северо-запад, на другой новый дом, в котором жил теперь Семен Артемьевич, а одно окно, из большой комнаты, выходило на юго-восток и открывало вид на старый город с его россыпью крыш и частоколов, с садами, огородами, церквями, соборами, полуразрушенными, реставрируемыми теперь монастырями.

Квартира была на первом этаже, но под ней, еще ниже, находились подсобные помещения туристского магазина, и строители не обошли квартиру, не обделили, привесили балкон — хоть и низко, очень низко, но все же имелся балкон.

Просиженный, скрипучий диван стоял возле балконной двери, на диване Левенцев спал и, просыпаясь, часто думал, что хорошо было бы спать в другой комнате, там, где тише. Здесь слышно было все, что происходит в доме и возле дома, как гремят на кухне у соседей, и как грохают двери в подъезде и на площадке, и как сыплются по лестнице шаги, и что говорят на лестнице. Но больше всего спать мешали собаки. В том, частном домишке, что стоял почти под самым балконом, держали, видно, на привязи суку, и туда каждую ночь собирались кобели, наверно, со всего старого города и на своей собачьей свадьбе затевали такие свары, поднимали такую грызню — с разноголосым гавканьем, скулением, визгом, — что Левенцев не мог спать и, глядя в окно на темную глыбу девятиэтажного дома, в котором жил Семен Артемьевич, думал с удивлением: неужели там спят спокойно, не слыша, не замечая, что творится вокруг?..

Хорошо было бы, конечно, спать в другой, тихой комнате, но еще важнее было работать там, где тихо. А спать там, где работаешь, — нельзя. Левенцев удивлялся теперь, как он мог это делать на старой квартире? Трудно ему теперь было даже представить себе такое.

Случалось, правда, что после нескольких бессонных ночей и трудных дней, затраченных на бесплодные по-

иски, он присаживался на минуту, а сон сваливался на него, как обморок,— он не выпускал из рук палитру и кисти, не ронял их, даже не прислонял к себе, и сознание того, что они в руках, не оставляло его во время этого внезапного забытья и не позволяло уснуть крепко.

Он просыпался, как и засыпал, внезапно, будто от толчка. Мыл кисти, вычищал, натирал до блеска палитру и шел спать в другую комнату, шумную.

Здесь засыпал не сразу, ночью здесь было слишком светло: у того, другого дома, стоявшего выше, были очень яркие фонари. Иногда Левенцеву казалось, что это светит сам дом. Стараясь уснуть, он думал об этом и почему-то радовался, что свет этот попадает лишь в ту комнату, где он спит, а не в ту, где работает. И тогда он вспоминал, что и днем часто тот дом бросает сюда тусклый отсвет...

Днем солнце оставляло его квартиру — шло где-то над крышей, грело в глухую торцовую стену, но светило во все окна другого дома, и оттуда, от тех окон, шел отраженный и потому холодный свет — ложился вертикальными блеклыми полосами на стены.

Город стоял на возвышенности, которая волнами сбегала к речной пойме. Некогда он умещался лишь на нижних холмах, круто обрывающихся к реке, — за крепостными стенами и рвами теснились избы и княжеские дворцы, храмы и кузницы, лавки, — но после город вышел из ограды, разросся, пошагал вверх по холмам, и на самом высоком из них укоренился теперь новый этот девятиэтажный дом, из которого виден был и город весь, и окрестности — другие холмы за речной поймой.

Так уж он был поставлен тот дом, что круглый день окнами своими вбирал весь солнечный свет от первых до последних лучей, если не считать, конечно, того высокого света, который раньше еще и позднее золотил верхушку телевизионной вышки.

Левенцев определил, что во второй половине дня солнце заглядывало бы в его квартиру с другой стороны, через стеклянную дверь балкона, и опять, как утром, просвечивало бы насквозь обе комнаты, если бы не тот девятиэтажный дом, который загораживал вечернее солнце. А раньше, в давние времена, думал Левенцев, и встречали, и провожали солнце соборы, стоявшие теперь внизу, в старом городе.

Здесь, наверху, необычной была и роза ветров — с той стороны, где был балкон, где Левенцев спал и где пламенело вечернее небо, полузакрытое другим домом, — здесь в окнах часто гудел ветер — то посвистывал, скулил по собачьи, то выл и ломился в рамы.

Пусть воет, пусть гудит, думал Левенцев, и закрывал плотно дверь в другую комнату, и работал там в тишине.

Иной раз, когда ветер особенно злобствовал, когда слышен был из-за двери и начинал мешать, Левенцев думал, что, может быть, это и хорошо, работать под свист и подвывание, под улюлюканье — не задремлешь, злее к злу будешь, добрее к добру... Хотя лучше все же было, если бы вокруг стояла тишина. Наверно, было бы лучше?.. И Левенцев думал о другом доме, думал, что там, наверно, так не воет и не грохочет — воздух обтекает тот дом и уже оттуда в невидимых завихрениях несется сюда понизу и ломится к нему в квартиру.

Может, лучше, спокойнее бы жилось ему и работалось, если бы квартира его была в том доме?.. Тот дом отделен от города полосой коллективных садов, а дальше, за домом, начинается зона пригородных лесов — в садах не держат собак, их нет и в лесах, и света больше там, и ветер так не гудит...

Но тот дом стоял слишком высоко, на город оттуда можно было смотреть только сверху. А сверху не увидишь так, как оно есть на самом деле. Нет, лучше все-таки жить здесь. И на первом этаже — тут сама жизнь.

Такие иногда приходили к нему мысли, случалось, однако, это редко; он чаще всего — и днем, и ночью — думал о живописи, о том, как изобразить город, чтобы передать ту жизнь, какою живут в нем люди.

За несколько дней Левенцев успел забыть, как часто врывались к нему туда, где он работал, посторонние и портили жизнь, и когда однажды у входной двери раздался звонок — внезапный, резкий, длинный, отвратительный, — Левенцев кинулся на этот звонок с ненавистью. В ярости рванул на себя дверь — и увидел ухмыляющегося шофера Семена Артемьевича.

— Долго ли там барахло твое будет на людей падать?

Левенцев стоял с закаменевшим лицом и округлившимися глазами. «К чертям! — думал он. — Сломать звонок! Выдрать вместе с проводами!»

— Я уж повикидывал кое-что, — сообщил шофер. — Поломал какие-то деревяшки... — Он вдруг озлился: — Че уставился?! Долго ли, говорю, барахло твое там баррикадой лежать будет?! Загромоздил все — хоть на карачках лазай!

— Уберу, — сказал Левенцев. — Сегодня увезу. — И захлопнул дверь. «Вот и поработал!.. Пропади все пропадом!»

Он потянулся к звонку, чтобы сорвать его, и тут вспомнил, что звонок этот еще пригодится ему, больше того — будет нужен! И как он мог забыть об этом! Даже такое, оказывается, он здесь забыл!..

В тот день и час, когда он получил ордер и бежал по улице, никого не узнавая, его окликнула Антонина. Поздравила с близким новосельем и, как ему показалось, шутя напросилась в гости. Он не поверил ей, но все же назначил день и час, когда приходить, дал адрес и, к удивлению своему, услышал:

— Значит, в следующую субботу в шесть? Приду обязательно, ждите.

Он выразил свое сомнение в возможности встретить ее у себя, и тогда Антонина сказала то, что его удивило еще больше:

— Кто же к вам не придет, если вы позовете?..

И он здесь забыл о таком!.. Левенцев засуетился, забегал по пустой своей квартире, а потом остановился посреди коридора и стал смеяться: «Забыл! Об Антонине забыл!..» И с благодарностью подумал о шофере, напомнившем ему своим приходом о том, чего, казалось бы, забыть он никак не мог.

Следующие два дня он занят был переездом — искал машину, загружал и разгружал ее, сколачивал стеллажи, расставлял по полкам книги, холсты, развешивал по стенам иконы и гравюры, а после еще размыл окна.

В субботу к пяти часам у него все было готово к встрече. Он купил коньяк — самый дорогой, какой нашел, две бутылки шампанского — сухое и розовое сладкое, множество конфет, колбасу и сырые яйца. Что делать с яйцами, не знал, сложил их в ящик стола, а

все остальные покупки выставил на стол. Колбаса и конфеты закрыли сплошь потрескавшиеся, выщербленные тарелки, но стаканы, хоть он и вымыл их, представили ему во всей своей обнаженной грубости, и он увидел вдруг эту их грубость, устыдился и бросился в город, по магазинам. Нигде ничего не мог найти. Наконец в «Подарках» полная пожилая продавщица, которую он разжалобил своим растерянным, озабоченным видом, спросила:

— Для чего вам?

— Видите ли... Я переехал, и ко мне придет... Как бы это...

— Ох, мужчины-мужчины!..

Продавщица вынесла из глубины магазина две плоские картонные коробки, перетянутые золотой тесьмой:

— Это вас устроит?

«Сувенир», — прочел он на одной из коробок надпись, выведенную старинной русской вязью.

— Хрусталь! — торжественно сказала продавщица. — Два набора — фужеры и рюмки. Придется, правда, платить и за гравировку.

— Сколько стоит? — Левенцев стал поспешно рыться в карманах.

Продавщица назвала сумму, показавшуюся ему непомерной, но он тут же выложил на стеклянную витрину деньги и добавил сверх того пятерку.

— В кассу, в кассу, — смеясь, сказала продавщица.

Он выхватил у нее коробки и бросился вон, слыша, как она кричит ему вслед: «Товарищ! Товарищ!..»

Таким образом, когда зазвонил желанный на этот раз звонок, у него на столе среди старых фаянсовых тарелок и тяжелых, темных, украшенных множеством медалей бутылок сверкало тонкое стекло в затейливых гранях.

В прихожей Антонина сняла пальто и, не найдя на стенах вешалки, засмеялась. Она прошла в комнату, а он, держа в руках ее легкое, пахнущее духами пальто, стоял в растерянности.

— Несите сюда. — Антонина взяла у него пальто и бросила на стул.

Пить шампанское она отказалась, сидела напротив него с рюмкой коньяка в руке, но не пила, лишь смачи-

вала губы. Молча оглядела его жилье: по одной стене сколоченный из досок и заставленный разнокалиберными, потрепанными книгами стеллаж, по другой — измятый, просиженный диван, с которого Левенцев впервые сегодня убрал постель, и другой стеллаж, уж совсем грубый и громоздкий, заставленный натянутыми на подрамники холстами. Над диваном и на стене с дверью в другую комнату висели голые, без окладов, иконы и гравюры под стеклом, обрамленные тонким багетом.

— Теперь вам, очевидно, потребуется обзаводиться кое-какой мебелью, — сказала Антонина и отпила коньяк.

«А и верно, — подумал Левенцев, — надо бы купить новый диван».

Антонина встала и прошлась по комнате, потрогала холсты, увидела за стеллажом свернутую и покрытую газетой постель, прочитала надписи на обложках книг, тряхнула головой:

— Нет, не буду. С библиотекой надо знакомиться основательно. Если позволите, приду как-нибудь специально.

Постояла возле гравюр.

— Факсимильные репродукции, а я думала, подлинники.

— Есть и подлинники, — сказал Левенцев.

— А-а, вот эта?

— И вон та.

— Любопытно, любопытно.., Кто автор?

— Рыбаков.

— Не слышала о нем.

— Учились вместе.

— Где же он теперь?

Левенцев молчал, и она обернулась.

— Умер.

Он увидел, как расширились зрачки ее глаз. Она отвернулась, долго неподвижно стояла возле гравюр.

— Как жаль! Такие работы!

Она в задумчивости прошлась по комнате, будто забыв о Левенцеве, и он, жалея, что сказал ей о смерти Рыбакова, спросил:

— Из икон вам ничего не понравилось?

Антонина остановилась.

— Вот эта. Шестнадцатый век.

— А пятнадцатый?

— Где?! Ах, вот эта! Я не дошла до нее, а вы...

Она опять надолго умолкла, опять стояла неподвижно, и в ней, в этой женщине, отпугивающей его своей красотой, Левенцев впервые увидел натуру, близкую ему, родственную этим долгим молчанием, этой способностью погружаться в созерцание, забывая об окружающем.

— Да-а, — наконец протянула она, — может, тоже недолго жили, а оставили нам частичку своего мира, далекого нам, — частичку самих себя.

Она опять ходила вдоль стены, увешанной иконами и гравюрами, несколько раз останавливалась перед закрытой дверью. Левенцев боялся, что она откроет дверь, и хотел этого.

Антонина подошла к столу, допила рюмку, развернула конфету и положила ее назад, в тарелку. Проголосила, как показалось Левенцеву, сухо:

— А свои работы вы не покажете?

Он удивился выражению ее лица: ресницы и побелевшие ноздри вздрагивали, а губы были плотно сжаты — лицо Антонины стало требовательным, незнакомым и некрасивым.

— Конечно, конечно.

Он вскочил, распахнул дверь. Антонина зябко сжалась, пошла осторожно, будто раздумывая, не остановиться ли? Войдя, сразу огляделась: холсты на полу вдоль стен и лицом к стене, два больших на мольбертах — один отсвечивал, другой стоял наискосок к окну и хорошо смотрелся — вид на город из окна.

На дворе кружила несильная метель — затуманила город, замутила, отдалила дерево, не вмещавшееся кроной в окно, а на холсте была другая погода: сильный боковой свет освещал город, подернутый легкой мглой, и темный силуэт дерева впереди был ажурно четким — и дерево это на холсте выглядело живее того, за окном, и свет, казалось, шел не из окна, а от холста.

— Как тут хорошо у вас! — проговорила Антонина. — А этот холст, это дерево, может, вы и оставите в таком состоянии?

— Подмалевок... — Левенцев на какое-то время остался наедине со своей работой.

В каждый холст вкладываешь себя, а он порой живет своей, почти независимой от тебя жизнью. Закончишь один, а он все зовет и зовет к себе — и возвращаешься, а другой, над каким собирался еще долго работать, вдруг отодвинется, отойдет, и больше не прикоснешься к нему...

Антонина наткнулась на отчужденный взгляд Левенцева.

— Вы его видите как-то по-другому?

— Да, — сказал Левенцев. — Да.

— Ну, показывайте, показывайте!

Левенцев помедлил еще с минуту, будто освобождаясь от невидимых пут, подвигал плечами, поводил головой и, шагнув к стене, нагнулся.

— Вот. — И повернул боком к свету небольшой картон: — Тут не так все... День был серый, мглистый и как бы сонный, что ли?.. Вдруг что-то лишнее появилось, помню — трактор, и нелепо это, я понимаю, нелепо, но хотелось, чтобы он провалился или взорвался — чтобы его не стало... Ну, после он заглох, и так тихо было, сонно... Не как тут.

Левенцев был молчалив от природы, не любил болтливых, и удивлялся теперь на себя, и был недоволен собой, но ничего не мог поделать — как будто в нем прорвалось что: показывал картоны и холсты, раздражался на самого себя, хотел замолчать или по крайней мере урезать речевой поток, казавшийся ему славословием, и без конца говорил.

Антонина молча слушала, глядела то на его работы, то ему в лицо (а он думал, в рот), и глаза ее блестели. Влажный этот, горячечный какой-то блеск был непонятен Левенцеву, смущал его, пугал и подстегивал говорить еще больше, еще торопливее.

Нескончаемо долог и короток, как миг, был тот день, когда пришла к нему Антонина. А уходила она поздним вечером, когда город уже спал и метель, так и не утихшая за день метель, взъерошенно кружилась в мутно-сонных огнях города.

Левенцев подал Антонине пальто.

— Я вас провожу.

— Нет-нет! — Она расправила на руках перчатки. — Нет. Если вы позволите, я приду к вам еще.

— Конечно, конечно!

— С вами так легко!

Левенцев заметил, что она краснеет, и, чувствуя неловкость того, что говорит, опять повторил свое:

— Конечно, конечно!

— Легко, но так много всего!.. Одной побыть хочется... Мало того, что я стала богаче, побывав у вас, — это естественно, встреча с настоящим искусством обогащает, — но мне кажется, во мне самой возникло что-то новое... Во всяком случае, расширились мои потенциальные возможности... Вы даже не можете, наверно, представить себе, как влияют на меня ваши работы! Да мне и самой трудно объяснить это, хоть я и пытаюсь... Воедино сливается и то, чего я не могла увидеть без вас, и то, что было во мне, но о чем я не подозревала раньше... Искусство, настоящее, конечно, искусство раскрепощает мышление, и я сейчас закреплена этим раскрепощением — вот почему одной побыть хочется... — Она улыбнулась и, как бы извиняясь, положила ему на руку свою узкую ладонь в перчатке: — А знаете, о чем я еще думаю? О тех, кто не видел ваших работ, и, больше того, о людях, вообще отлученных от искусства, как бы пораженных духовной глухотой, но не подозревающих об этом!.. Да-да, и такие печальные мысли — тоже следствие того, что я у вас увидела... Спасибо! Еще раз спасибо!

Она была чуть выше его ростом — пригнулась и поцеловала в щеку, между усами и бородой, — поцеловала так бережно, так осторожно, будто боялась обжечься об эти рыжие его волосы.

Щелкнув, закрылась за нею дверь, и Левенцев остался один. Вернее, не один, а наедине со своим счастьем. Щеку его грел еще поцелуй, а он верил и не верил, что это был ее поцелуй, верил и не верил, что она только что была у него и, может быть, придет еще...

Он потрогал пальцами щеку, потом кинулся к зеркалу и стал смотреть на то место, куда Антонина его поцеловала.

А может быть, когда-нибудь она не только придет, но и останется у него?.. Нет, так думать было безнадежно глупо. Он постучал себя по лбу костяшками пальцев, и, двигая зеркало то влево, то вправо, начал рассматривать свою внешность; и, мгновенно трезвея, отгоняя счастливое охмеление, решил, что она вообще

больше к нему не придет, и что так и должно быть, и что это хорошо, потому что жениться ему нельзя: что произойдет с его работой, если рядом всегда будет женщина?..

К своему удивлению, он понял, что мысль о работе не тревожит, и, забывая о своем облике, опять заулыбался от распиравшего его счастья, и вскоре начал размышлять о том, как ему быть, если Антонина все-таки войдет в его жизнь, и тут опять захмелел, потому что понял: как бы ни сложились в дальнейшем их отношения, Антонину уже не выкинуть ему из своей судьбы.

«Что ж, — подумал он, — так пошло все, так закрутилось, что теперь мне и мастерскую дадут... Теперь дадут, наверно».

От счастья он долго в ту ночь не мог спать. Свет в его окне то гас, то опять загорался. И окно его как бы подмигивало другим огням в окнах того другого дома, где жил Семен Артемьевич, который, по простому совпадению, тоже долго не спал в ту ночь.

Так получилось, что именно в ту субботу и Худяковы праздновали новоселье. Квартира их уже блистала, и Семен Артемьевич созвал гостей. Набралось их много, люди все были уважаемые, солидные, такие, каких не зазорно принимать хоть каждый день. Приехали Белобрагины, Пановы, Воропаевы, Хватовы. Был даже Андрей Макарович с супругой. Приглашал Семен Артемьевич и Сергея Михайловича, тот говорил, что будет, обязательно будет, но в самый последний момент отказался приехать, сославшись на срочное дело.

«Знаем мы эти срочные дела! — с обидой подумал сначала Семен Артемьевич. — Не того ранга человек Худяков — вот и дело срочное...» Поразмыслив после, решил Семен Артемьевич, что обижаться ему на Сергея Михайловича не следует. Ведь и сам он созвал на новоселье лишь людей определенного круга. Почему бы ему не пригласить, к примеру, Лобанова, бугра, вместе с которым когда-то начинал работу в городе после института?.. Не позвал даже Вахтеева, а Вахтеев, рука его правая, явно ждал приглашения...

Думая после о прошедшем новоселье, Семен Артемьевич, конечно, не вспомнил даже об однокашнике своем Левенцеве.

У Левенцева, в отличие от Семена Артемьевича,

огорчений в ту субботу не было. Напротив, к тем приятным ощущениям, какие он испытывал теперь всякий раз, вспоминая, что может в любую минуту подойти к окну и увидеть оттуда свой город, прибавились еще мечтания влюбленного — неуверенные и щемящие и оттого, наверно, особенно сладостные, — и он знал теперь, что без этих мечтаний, без этих трепетных чувств не может быть у человека ни полного счастья, ни полного покоя.

Но если Семен Артемьевич, огорчаясь даже, знал меру своему покою и счастью, то у Левенцева этой меры не было. И лежа без сна, счастливый, и засыпая, не догадывался Левенцев, что мыслящий человек, добрый, живущий стремлением передать другим все самое ценное, что у него есть, не может обрести лишь от личного благополучия ни полного счастья, ни полного покоя.

В тот вечер, в ту ночь Левенцев не мог знать, что уже следующее утро принесет ему такую сильную, такую глубокую боль, что он бросится прочь от нового своего дома, побежит по городу, ослепленный слезами, и снова, как в тот первый раз, столкнется на перекрестке с Семеном Артемьевичем.

Перекресток этот, без светофора, машина Семена Артемьевича проскакивала обычно, не сбавляя скорости, и на этот раз влетела бы под одну из оранжевых цистерн, зазевайся шофер хоть на миг! Хищно опустив ножи и перегораживая косым крылом улицу, снегоочистители вывернулись из-за угла и в легких снежных вихрях на большой скорости пронеслись перед «Волгой» по главной улице. Семен Артемьевич за несколько секунд, пока машина, разворачиваясь боком, ползла юзом, успел подумать о своем водителе с негодованием и благодарностью, успел подумать с гордостью — это у него такой шофер, на которого можно положиться! — и сразу же вспомнил коммунальщиков. Стоило тогда, после первого снега, пропесочить их как следует — чистят. И чистить нечего — скребут!..

И тут он забыл и о шофере своем, и о коммунальщиках, и о снегоочистителях, с гудением кативших по гладкому, чуть припорошенному снегом асфальту, — забыл, потому что увидел Левенцева.

Левенцев, как и тогда, в тот первый снег, шел по тротуару к переходу. Как и тогда, встретились они

глаза в глаза, и Семен Артемьевич наклонил голову в знак приветствия, а Левенцев, будто не узнал его, постоял, уставясь прямо в глаза, и повернулся, и пошел в обратную сторону.

Нет, Семен Артемьевич не обиделся. Усмехнулся понимающе. Добро, даже то добро, которое делаешь конкретному человеку, не всегда оборачивается для тебя самого добром. Поможешь одному, а он возвысится после, тобой же помыкать станет, а другой обидится, что мало ему сделал, или сделал, да поздно — почему теперь только, а не раньше? И вот добро принимается, как зло, и ты уж не друг, а враг...

Уж кому-кому, а Левенцеву следовало с ним поздороваться. Уж кто-кто, а Левенцев обязан ему тем, что живет теперь по-человечески!..

Но Левенцев, видно, не может забыть, как тогда в кабинете у себя Семен Артемьевич указал ему его место. И не только указал, но и поставил на это место!

Семен Артемьевич опять усмехнулся. Он не попытался понять или представить себе, что чувствовал тогда Левенцев, он и не стал вспоминать всю встречу, вспомнил только, как пришел к нему Левенцев и как ушел, и увидел, как тот уходил, и еще раз усмехнулся, ощущая в груди у себя холодок торжества.

Когда Левенцев явился тогда к нему вместе с курьером, вид у него был не такой жалкий, как при первой встрече. Вошел он, как и полагалось, без пальто и шапки, щеки его с мороза были красными, а реденькая рыжая бородка в сочетании с высоким чистым лбом и пышной гривой длинных волос не казалась уже вызывающе лишней. Одно было, как в тот раз: усмехался Левенцев нехорошо.

Семен Артемьевич вышел из-за стола, пожал руку, потрепал по плечу.

— Не дожدهшься тебя, гляжу, решил потревожить. Зазнаешься?

Левенцев, борясь с возникшим у него желанием снова дерзить, сел. Раскинул руки на спинках других двух стульев.

— Как это ты обо мне вспомнил?

— Кто же знал, что Левенцев — ты и есть. Мало ли однофамильцев?

— Ошибаешься. Левенцев один, других нет.

— Как это? — спросил Семен Артемьевич, возвращаясь за стол и усаживаясь.

— А вот так... За меня мое никто не сделает.

— По-твоему, я тут лишний? — удивленно и с иронией спросил Семен Артемьевич.

— Ну, почему лишний? — Левенцев окинул взглядом просторный кабинет, стулья вдоль стен, стулья вдоль длинного полированного стола, широкую ковровую дорожку.

Семен Артемьевич наклонил голову и, глядя исподлобья, сказал хмуро и с сожалением:

— Нелегко тебе, видно, живется, отсюда и такое искривленное понимание жизни.

— А ты, конечно, понимаешь ее правильно, — насмешливо проговорил Левенцев.

— Вижу, принимаю ее такой, какая она есть. — Семен Артемьевич, насупясь, побарабанил по столу пальцами. — Тот, кто пошире смотрит да побольше видит, тот и груз тащит потяжелей, тому и компенсация, наверно, нужна побольше.

Левенцев засмеялся:

— И я о том же.

— О том, да не о том. — Семен Артемьевич с досадой подумал, что впустую тратит время, но не мог пересилить желания осадить этого человека, который, пользуясь их давним знакомством, держит себя так нагло, и поднял указательный палец: — Потребности и возможности их удовлетворения у всех разные — это реальность, от которой невозможно уйти, а ты требуешь, чувствую, чего-то такого!.. — И Семен Артемьевич покрутил перед собой кистью руки.

— Разница еще в путях и средствах этого удовлетворения, — сказал Левенцев.

— Что за скверная привычка у тебя — на других пальцем показывать?! — раздражился внезапно Семен Артемьевич. — Ты вот картинки малюешь — себе небось оставляешь ту, которая лучше?!

От удивления лицо Левенцева вытянулось и вспыхнуло, и он сидел молча и неподвижно. Ведь он пишет каждую картину потому только, что ему кажется всякий раз, будто без этой его картины другие не увидят, не почувствуют того, что открывается только ему! И он пишет их для других, и только для других!..

— Себе я не оставляю картин,— сказал он наконец.

— Ага! Для других рисуешь? Может, и деньги за них не берешь?.. — Семен Артемьевич выждал, надеясь увидеть на лице Левенцева замешательство. — Тот. Для других никто не живет, для других работаем, дело делаем, продукцию даем. Я, к примеру, больше даю, ты — меньше. Больше дашь — больше берешь. В этом твое право.

Вошла без стука секретарша.

— Семен Артемьевич, вы пригласили на шестнадцать тридцать комиссию — все в сборе.

— Пусть подождут.

— А в семнадцать, вы просили напомнить, у вас совещание.

— Успею.

Секретарша бесшумно исчезла.

— Зачем ты меня вызвал? — спросил Левенцев.

— Вызвал я тебя... — Семен Артемьевич в это время смотрел на часы и мысленно распределял оставшееся до конца рабочего дня время и уже далек был от Левенцева. — Вызвал я, — повторил он и поднял голову, — пригласил не для дискуссии, конечно. Живешь ты, оказывается... — Поцокал языком и не сказал, как живет Левенцев, потому что сидел тот перед ним раздражающе самоуверенный. — Квартира тебе хорошая нужна, вот что я думаю.

Левенцев поежился, будто за воротник ему попало что колючее.

— Я же говорил: нужна мастерская.

— Квартира, значит, не нужна?

— Она у меня есть.

— Устраивает и такая?

Левенцев сморщился, будто у него заболел зуб.

— В самом деле помочь хочешь?

— Хочу, — твердо сказал Семен Артемьевич.

— И можешь?

Семен Артемьевич откинулся на спинку кресла, развел руками, засмеялся, и Левенцев, неожиданно для себя, почувствовал потребность рассказать ему откровенно о своих мучениях, о том, как часто бывает, когда в часы, каких ждешь порой месяцами и в какие можешь легко, почти не задумываясь, а лишь сдерживая

непомерное трепетное напряжение выложиться наконец всецело, в часы, когда кажется, что сделать ты можешь гораздо больше того, на что способен, — именно в эти часы почему-то буйные его соседи затевают очередной скандал, и приходится бросать кисти и убегать прочь, а потом ждать дни и недели, когда опять явится к тебе то самое состояние, которое кто-то когда-то назвал вдохновением.

— А можешь — так помоги, — проговорил он, опустив голову. — Мастерская нужна! Трудно даже представить себе, как нужна!.. Силы у меня есть — я чувствую, и говорить хочется в полный голос, а условий для работы нет. Нет никаких условий! Мыкался-мыкался! Терпел, а теперь наступило время...

Левенцев поднял голову, и увидел веселые глаза Семена Артемьевича, и осекся. Разве поймет его этот самодовольный, сытый человек?! А он унижается перед ним.

Левенцев чуть было не вспылil, с трудом совладал с собой, с трудом промолчал. А Семен Артемьевич понял это по-своему.

— Ты все толкуешь о высоких материях, а я тебе — о простом, о будничном: жить не хочешь по-человечески?..

«По-человечески! — в ярости подумал Левенцев. — Как по-человечески жить, если глотку тебе затыкают в самую счастливую твою минуту?!»

— Один живешь? — продолжал Семен Артемьевич.

— Один, — сказал нехотя, после долгой паузы Левенцев.

— А потому, наверное, что жену привести некуда? Будет квартира хорошая — все наладится. Тишина, уют многое значат, а появятся детишки — и ты переменишься, помягчаешь, подобреешь...

И голос Семена Артемьевича, добродушный, покровительственный, и глаза его, веселые, хитрые, — все, казалось теперь Левенцеву, унижало его.

— Что это тебе вздумалось заботу свою обо мне проявлять? — спросил он, старательно приглушая голос. — Тишина, уют, детишки!.. Мне мастерская нужна! Мастерская! Работать негде! Работать! Можешь — помоги. Спасибо скажу.

Семен Артемьевич тихонько посмеялся:

— Трудный ты человек. А знаешь почему? Вкуса у тебя к жизни нет. Еда, сон, одежда приличная...

Левенцев не дал ему договорить:

— Да на черта мне все это! На черта! Ты дай мне возможность работать! Может быть, я одним тем, что выговорюсь, сыт буду?!

— Но, но, но, но! — Семен Артемьевич погрозил пальцем. — Опять в облаках витаешь. Устроенный быт — то, как ты выспишься, поешь.

Левенцев снова не дал ему говорить, закричал неприятным фальцетным голосом:

— А я и без сна, без еды!..

— О-о, — сказал Семен Артемьевич, — без этого еще никто не прожил. — Ему стало жаль Левенцева. «Дурень, — подумал он. — Дурень, оттого и в облезлой шапке ходит и с пузырями на штанах».

— Проживу! Я проживу! — повторил Левенцев, сознавая вдруг, что говорит не думая, что выглядит, наверно, глупо; умолк, покрутил головой, как бы приходя в себя после тяжкого пробуждения, и сказал тихо, больше для себя, чем для Худякова:

— Главное для меня — работа. И чтоб в дела мои никто не вмешивался! Чтобы я мог высказываться до конца! И чтобы меня слушали, и знали мой голос, и понимали!.. В этом моя потребность, моя жизнь. И больше мне ничего не надо!..

Семен Артемьевич поймал себя на том, что смотрит на Левенцева тем самым цепким, оценивающим взглядом, какой заметил при первой встрече у Левенцева, и удивился этому: не мог же он всерьез принимать только что услышанное — заносит человека, а тот рад, мудрствует. С минуту они молчали. Сидели, отвернувшись один от другого.

— Не понял ты меня, — сказал наконец Семен Артемьевич. — Если человек хорошо выспался и поел — даже самая осточертелая работа ему не в тягость.

— Э-эх! — Левенцев поднялся. — На разных языках говорим. Встретились, будто иностранцы.

По прищуре в глазах Левенцева Семен Артемьевич понял, что тот взгляд, который только что был у него, перешел к этому чудаку.

— Первый раз человека вижу, — сказал он, — который от новой квартиры отказывается,

Левенцев опять нехорошо усмехнулся.

«Ах, так! К тебе с добром, а ты с ножом?!» — Семен Артемьевич стал медленно наливаясь гневом; в это время в дверях вновь неслышно, будто призрак, возникла секретарша, подняла и опустила плечи, давая знать, что все сроки, какие мог израсходовать Семен Артемьевич на разговор с не известным никому человеком, давно истекли; Семен Артемьевич почувствовал, как зашумело у него в ушах — верный признак, что он сейчас может сорваться, так рывкнет, что и секретаршу, и бороду эту козлиную, что маячит перед ним, как ветром выдует из кабинета. Он сжал челюсти, потер шею, разгоняя прилившую к затылку кровь, и махнул рукой — секретарша опять исчезла.

— Однокашники как никак, соседи бывшие, — сказал он вяло.

— А не были бы однокашниками?

— И разговору бы не было.

— Выходит: свой — на, возьми, — с издевкой сказал Левенцев, — чужой — знать не знаю тебя?

— Других другие знают.

— А если никто не знает?

— Ну, тебя-то знают — в газетах про тебя пишут.

— Не писали бы — не позвал бы?!

— Ну, вот что! — хлопнув ладонью по столу, сказал Семен Артемьевич. — Ты, я вижу, демагог! Для себя — не для себя... Тонны, километры, план... Языком чешешь — научили тебя! А планы, которые, кстати, всем нужны, тебе тоже, выполняют не такие, как ты! Сел бы в мое кресло, посидел!..

Тут Семен Артемьевич вспомнил, сколько времени потратил на Левенцева и какие его ждут еще дела на сегодня, и умолк, чувствуя опять, как нарастает шум в ушах.

А Левенцев, глядя на его злое лицо, подумал: «Меликасет остался Меликасетом, но тут не школа ему — кулаком не ткнет». И сказал, криво усмехаясь:

— Я стоя работаю, да стоять негде. А ты удобно сидишь — вот бы тебя загнать в телефонную будку, кресло твое туда всунуть.

Семен Артемьевич, который в эту минуту решал, как поступить с Левенцевым и как отчитаться после об этом перед Сергеем Михайловичем, чьи слова «не тани,

не тyani... Прямо мне доложишь» не шли у него из головы, вскочил.

— Не равняй нас, не равняй! — И сжал кулаки, последним усилием воли остановил себя. Багровый от гнева, с перекошенным лицом, навис над столом. Вышвырнет он сейчас вон этого козла: «Предлагали квартиру — отказался...» И пусть ждет, когда еще его позовут, когда еще предложат... — Равняться вздумал! Ты дом хоть один построил? Хоть один кирпичик в дом этот положил?! Картинки рисуешь, а кого они согревают?! Ты спроси, спроси человека, что ему прежде всего надо — дом, хлеб или картинка твоя?..

Остывая, Семен Артемьевич опустилсЯ в кресло. Снял телефонную трубку, стал набирать номер и забыл, куда собирался звонить, бросил трубку на аппарат. Опять потер шею. Равняться вздумал... А ты отвоуей себе право сидеть удобно, жить так, как я живу...

— К твоему сведению, — сказал он, — я такой груз на себе тащу, что тебе и не снилось. Мне демагогией заниматься некогда! И кончено! — Он помедлил и, размышляя вслух, чеканя слова, проговорил: — Скажем так: живет один, предлагали отдельную двухкомнатную квартиру со всеми удобствами — тут и живи, тут и рисуй — отказался. — Семен Артемьевич снова поднялся, оперся о стол руками: — На этом разговор наш окончен. Иди.

Левенцев стоял. Стоял, как пригвожденный к красной ковровой дорожке. Последние слова Семена Артемьевича произвели на него необыкновенное, труднообъяснимое действие. Он даже не сразу понял, что на него так повлияло; ему даже показалось сначала, что задело его так сильно лишь это высокомерное: «Разговор наш окончен — иди»; вслед за этим ему представилось, что вся унижительная сила этих слов состояла в том, что они вытекали из предыдущих слов об отдельной двухкомнатной квартире; и лишь после всего этого, ощутив на щеках, а затем и во всем теле жар стыда, он осознал, а вернее, воспринял, воспринял сразу и разумом, и чувством — всем существом своим, что слова Семена Артемьевича ударили его так сильно потому, что он их заслужил.

Разве Семен Артемьевич не предлагал, не навязы-

вал ему буквально именно то, что требуется, а он, будто у него заткнуты уши и завязаны глаза, будто лишенный начисто разума и совести, ломился нагло в открытую дверь и при этом еще вел себя оскорбительно...

Семен Артемьевич чего-то от него ждал, а он стоял перед ним в растерянности, испытывая все больший стыд и презирая самого себя за тупость и самонадеянность, за то, что вообразил, будто способен увидеть человека, ничего о нем не зная.

Он думал о Худякове только плохо! О человеке, который сам, сам вызвался помочь ему, не имея от этого никакой выгоды! Почему он так думал? И почему не мог понять, что ему предлагают? Разве не знал, что квартиры бывают двухкомнатные и отдельные? Забыл? Не мог просто-напросто представить самого себя в такой квартире?! Нет, все шло от другого, от того, что с детства привык связывать с Худяковым только плохое, только несправедливое!.. И сам стал позорно несправедлив...

— Все! — сказал Семен Артемьевич и нажал на столе кнопку — в следующую секунду в дверях возникла секретарша. — Приглашай комиссию.

Секретарша показала глазами на Левенцева.

— Приглашай, приглашай, — повторил Семен Артемьевич, опускаясь в кресло.

— Извини, — проговорил Левенцев, — я не предполагал...

Семен Артемьевич, который уже рылся в бумагах, поднял голову и почувствовал ту самую радость, даже торжество, какие приятным холодком возникали всякий раз в груди, когда становилось ясно, что именно он выходит победителем из спорных обстоятельств. А в том, как держался до этой минуты Левенцев, было что-то беспокоящее, настораживающее и вызывающее безотчетную неуверенность в себе, будто Левенцев обладал убеждением в необъяснимой своей правоте, дающей ему превосходство.

— Ты что-то хочешь сказать? — спросил он намеренно безразличным голосом.

Тихо, так тихо, что едва слыша самого себя, Левенцев проговорил:

— Я не представлял себе, что отдельная, что двухкомнатная... — И, окончательно теряясь оттого, что в

кабинет входило, рассаживалось за столом множество людей, повторил: — Извини.

— Что-что? — нетерпеливо спросил Семен Артемьевич.

— Отдельная, двухкомнатная — это меняет дело, — чуть громче пояснил Левенцев.

— Вот те на! Выходит, передумал?! — открыто радуясь, воскликнул Семен Артемьевич. — Ломался-ломался, а теперь на попятную?.. И что же мы скажем?.. Чего ты просишь?

Слово это «просишь» тупо толкнуло Левенцева, в мозгу мелькнула радостная мысль, что, может быть, все происходящее с ним — сон? Может быть, можно броситься вон и бежать, бежать прочь, чтобы никогда больше не видеть Худякова?!

Нет, это был не сон: он видел все четко и ясно, и сам он — сам, сам! — только что вел себя несправедливо и безнадежно глупо и обязан был теперь слушать в ответ оправданную и правомерную резкость, какой бы унижительной она ни была.

Он стоял неподвижно, с полным отчуждением к себе — к своим чувствам, к своему виду, к своей личности.

— Повторяю: так чего ты просишь?

Левенцев повел плечами.

— Условия, я спрашиваю, выставляешь? Район? Метраж?

Помедлив и пересилив безволие, охватившее его, Левенцев сказал, потея:

— Мастерская нужна большая — я живописец.

— Ну-ну! — Семен Артемьевич принял ту самую позу, в какой сидел тогда в машине, высоко поднял голову, чуть повернул в сторону подбородок. — А мы можем предложить обычную квартиру: комнаты — пятнадцать, семнадцать метров.

Левенцев подавленно молчал.

— Устраивает?

Левенцев не отвечал, стараясь представить себе, сколько это — пятнадцать квадратных метров?

— Мало, что ли? Тебе бы метров тридцать?

— Наверно, — помедлив, сказал Левенцев.

— Ого! — Семен Артемьевич вновь ощутил в груди холодок торжества. Сейчас он окончательно распла-

тится с однокашничком за наглость. — Неплохие запросы. Для того и куражился, чтобы выторговать побольше? Ну-ну, говори, что еще тебе надо?

Левенцеву снова плеснуло в лицо жаром, он весь передернулся, но остался стоять на месте — на него можно было теперь кричать, его можно было топтать, потому что чувствовал он себя виноватым и был окончательно подавлен и безразличен к самому себе.

— Вот что, — сказал Семен Артемьевич, — вопрос этот будет решен завтра. Сегодня, к сожалению, мы с тобой угробили время на дискуссию. Знакомьтесь, — неожиданно обратился он к сидевшим за столом, — наш знаменитый художник — Левенцев. — И опять повернул голову к Левенцеву: — Мой секретарь назначит тебе, когда явиться... На прием к Вахтееву. С ним обговоришь все. Ясно?..

Он несколько секунд выждал и что-то смахнул ладонью со стола, как бы отметая от себя все, что связывало его с Левенцевым.

— Комиссию я собрал для того, чтобы договориться о срочной проверке торговли овощами. Надо немедленно разобраться с жалобами, какие к нам поступают... — голос Семена Артемьевича звучал сухо, по-деловому.

Левенцев здесь был лишний, он это понимал, но с минуту еще стоял. На него никто не смотрел, но он знал, что все помнят о его присутствии, и когда сдвинулся все же с места и пошел к двери, ему казалось, что все сидящие за столом провожают его взглядами. И еще ему казалось, что пол под ним покачивается...

С этим качанием в глазах так и жил он долго. Семен Артемьевич, конечно, об этом не знал да и не желал знать, а когда вспоминал, как Левенцев оставлял его кабинет, испытал лишь торжество. Впрочем, не только для Семена Артемьевича, но и для Левенцева покачивание это уже не имело никакого значения, все это уже было в прошлом. А уж после того, как Левенцева поцеловала Антонина, казалось бы, все горькое в его жизни осталось позади. Да, возможно, так бы оно и было, если бы не то утро. Если бы не вышел Левенцев из дома, если бы не ответил на слова незнакомца — если бы не прикоснулся или не захотел прикоснуться к горю другого.

В том доме, где жил теперь Семен Артемьевич, всегда дружно ложились спать и дружно вставали — почти в одно время гасли, зажигались и снова гасли огни в окнах, а в этом доме, где была квартира Левенцева, где он работал, жило много слепых — удобно, видимо, было так: их вместе увозили на работу и привозили с работы, они, взявшись под руки, по двое, по трое гуляли во дворе или шли куда-то, и во многих окнах этого дома никогда не было света, а в других его не гасили и на ночь, и дом всегда, даже днем, был усеян светящимися прямоугольниками — и трудно было сказать, кто здесь когда спал, а кто бодрствовал.

Слепые и есть слепые, думал о них Левенцев. Им все одно, что свет, что тьма. А иногда замечал, как стоят слепые на солнце, греясь, и думал уже по-другому — при свете все же и слепым лучше. Теплее, спокойнее.

Глядел он на них до того дня с жалостливым равнодушием, смешанным с отчуждением и неприязнью — были они теми пятнами, которые уже существованием своим нарушали гармонию мира, вдохновлявшего его и воспеваемого им.

В то утро, проснувшись, он распахнул дверь в комнату, где ждала его работа, и увидел прежде всего солнце — оно светило прямо в окно, и в острых его, пронзительных лучах плавилось все — и дерево за окном, и схваченный морозцем город, его дымы и низкое, подернутое мглой небо; затем Левенцев увидел свой только начатый холст — тот показался ему холодным, безжизненным и жалким в сравнении с ослепляющей, живой картиной за окном; Левенцев подумал, что сейчас же возьмется за палитру, но почувствовал, что не хочет да и не может приступать к обычному, ежедневному своему занятию; он помедлил, глядя в окно и прислушиваясь к себе, и лишь после этого признался, что ему мешает непривычный, оставшийся здесь со вчерашнего дня едва уловимый запах духов; он насупился, но ему, вопреки здравому смыслу, вопреки вросшей в него привычке устранять, отметать все, что мешает работать, захотелось сохранить навсегда этот запах...

Появилось желание бежать на улицу. Не зная, куда и зачем торопится, он наскоро умылся, натянул куртку и с шапкой в руках выскочил из дома.

Заиндевевшие деревья искрились на солнце и были сказочно роскошными. Левенцев остановился, забыл на время и запах духов, томивший его, и самое Антонину, тоскуя по которой он неведомо куда торопился.

Он бы, наверно, долго простоял, охваченный восторгом, а потом его с неудержимой силой потянуло бы к себе — к кистям и краскам, но тут кто-то покашлял сзади, и Левенцев обернулся.

Перед ним стоял, опираясь рукой на клюшку, слепой. Он был высок и грузен, белое, рыхлое лицо его было бессмысленно задрано кверху, глядело немигающими бельмами в пустое, черное пространство — у Левенцева что-то неприятно толкнулось в груди: в неподвижной, страшной монументальности слепого был укор, раздражающий и кричаще-болючий укор за только что пережитый Левенцевым восторг.

Левенцев повернулся в нетерпеливом желании уйти и услышал тихий, хрипловатый голос:

— Помогите мне найти двухкопеечную монету.

Целая горсть монет лежала на ладони слепого, но рука была протянута не к Левенцеву — торчала куда-то в сторону. Левенцев оглянулся: может, рядом есть еще кто-то и можно уйти?

— Жена заболела, позвонить надо, — все так же тихо, все так же в пространство сказал слепой.

В груди Левенцева опять толкнулось, но уже по-другому: так больно, так тоскливо, что в глазах сделалось горячо и влажно. И тут Левенцев подумал мельком, что слепой напоминает ему кого-то — кто-то другой похоже задирает подбородок. Слепой все стоял, ждал, а Левенцеву в голову пришла другая мысль, дикая: он может ударить по руке слепого, рассыпать монеты, уйти, не торопясь и не оглядываясь, и слепой ничем не ответит ему, не узнает даже, кто обидел его — он беспомощен, как младенец...

Тут уж слезы совсем подступили к горлу — Левенцев, суетясь, отыскал у себя в кармане двухкопеечную монету и протянул слепому.

— Вот! Возьмите.

Слепой, не меняя позы, подождал, соображая, видимо, что бы могли означать слова Левенцева, и проговорил, запинаясь:

— Нет-нет... У меня свои есть... Я знаю.

— Да что вы! — вскричал Левенцев. — Возьмите!

— Нет, у меня есть, — повторил слепой.

Левенцев хотел пошарить по его ладони для виду и оставить там свою монету, слепой переступил с ноги на ногу и проговорил еще раз:

— Есть, есть, я знаю.

Левенцев взгляделся в его лицо и различил на скуле два шрама — один длинный и кривой, другой короткий и прямой, как порез, шрамы напомнили ему следы осколочных ран, какие видел он у фронтовиков, и он почувствовал внезапно, как стыд заливает ему лицо жаром. Он сделал все так, как просил слепой: взял с его ладони три двухкопеечные монеты, подождал, пока тот уберет остальные в карман, опять вытянет в сторону руку, и вернул ему деньги.

— Спасибо. Теперь я позвоню.

Слепой, задрав голову и стучая вокруг себя клюкой, потоптался на месте. Левенцев взял его за рукав.

— Сюда, сюда.

Слепой замер.

— Сюда, — повторил Левенцев.

— Я сам.

Слепой ждал, когда отпустят его рукав, и Левенцев еще раз испытал стыд, и не проходила боль в груди! Он глядел, как слепой шел, как миновал телефонную будку, но, будто почуяв ее запах, вернулся. Нашарил клюкой и забрался в нее.

Левенцев побежал прочь от этого дома. Влез в троллейбус и упал на сиденье. Рядом остановился парень — резко пахнуло изо рта.

На первой же остановке Левенцев выскочил из троллейбуса и побрел по улице, ничего не видя, будто ослепнув. Он постоял на перекрестке, там, где шли колонной снегоочистители, но не заметил ни их, ни глядевшего на него из своей машины Семена Артемьевича и, лишая себя возможности хоть когда-нибудь узнать, какие воспоминания и мысли вызывает у того своим видом, повернулся к нему спиной. Его почему-то потянуло назад, и он вскоре снова очутился возле своего дома. С жадностью глядел по сторонам, но у подъезда никого не было. Он поднялся по лестнице, отпер дверь и вошел к себе. В квартире было пусто и уныло. И прямой солнечный свет был неприятен, угнетающе резок.

Левенцев стоял у окна и глядел на город уже совсем другими, чем прежде, глазами; в груди что-то росло, ширилось, распирало и сдавливало, а мир, который любил он видеть абсолютно чистым, все больше запотевал, затуманивался и наконец поплыл вниз, потек, замутился.

«Боже мой! Боже мой! — подумал Левенцев совсем непривычными ему словами. — Как же они живут, ничего не видя?! Не видя даже такого мутного, даже брезжущего света?! И неужели помочь им нельзя ничем и никак?! Неужели нельзя?..»

И зачем он пишет свои картины, если эти люди не могут их видеть?! Не могут даже представить себе, что это такое — картины...

Боже мой! Боже мой! А он еще думал, что хорошо было бы, наверно, жить в том доме, что стоит выше! Он оставил бы и эту свою квартиру, вернулся бы в прежнюю комнату, поселился бы где угодно, только бы этот человек с бессмысленно задранной головой, просивший его отыскать на ладони монету, человек со страшными бельмами, — только бы он прозрел!

Левенцев с силой зажмурился — все равно виден был живой, красный свет; Левенцев зажал глаза руками, но и сквозь ладони просвечивало солнце; тогда он вбежал в другую комнату и упал лицом в постель — какое-то время у него в глазах все еще плясали разноцветные круги, потом все погасло...

И тот человек такой же, как он! Такой же, но только лишенный всего того, что является для Левенцева неоценимым, самым важным, самым необходимым — таким, без чего нельзя ему да и незачем жить...

Весь день тот Левенцев провел в состоянии человека, жизнь которого утратила смысл. Он понимал, что глупо, глупо это с его стороны так болеть за тех, кому не в силах помочь, и надо, надо настраивать себя на другое, надо скорей приниматься за работу, и боль пройдет, и станет легче, но не мог преодолеть что-то, возникшее в себе самом, не мог прикоснуться даже к кистям, к палитре, а на холсты свои смотрел с глухой тоской, почти с ненавистью. Весь день он выскакивал из дома, подолгу бродил по городу, возвращался продрогший и усталый, но не избавленный от боли.

На другой день ему все же стало немного легче. Не было уже острой той тоски, какая угнетала накануне. Но он все равно не работал. С ним что-то произошло — он не мог избавиться от чувства непоправимой утраты, будто схоронил кого близкого; и в глубине сознания прочно засела мысль, что труд его бесполезен, никому, кроме него самого, не нужен. А стоит ли затрачивать целую жизнь на самого себя?.. Картины его улаживают взор праздных богачей — чужеземных и праздных, — но недоступны людям, живущим рядом, под одной крышей с ним, недоступны человеку, просившему у него помощи, человеку, потерявшему зрение, быть может, на войне, наверняка даже — на войне...

Но кого же он напоминал? Кого?.. Может быть, многих из тех, кто лишен зрения?.. Сколько таких в этом городе? В этом мире?.. Они знают, что такое тепло, что такое хлеб, одежда, дом, но им неизвестно, что такое красота...

Хотя красоту, по-видимому, не ценят, не видят, не берегут и многие из тех, кто не лишен зрения? Но это уже другое... Это духовная слепота, и это, наверно, еще страшней, потому что опасно для окружающих...

Но о чем он думает? Ударился в общие рассуждения! А может, так и должно быть? Сострадание к одному так настраивает человека, что ему становится жаль всех людей? Но ему не жаль ни самого себя, ни тех, кого он сейчас может припомнить, — Антонину хотя бы...

Вспомнив Антонину, он почувствовал лишь нежность и печаль и подумал, что жалеть всех — это не значит жалеть каждого... Просто так, наверно, легче избавиться от боли? Легче, когда жалеешь всех сразу и никого конкретно...

В окно, у которого стоял Левенцев, как и вчера, было солнце. Когда на карниз одна за другой упало несколько капель, Левенцев увидел внизу людей и узнал в одном из них того самого слепого, который просил его вчера отыскать на ладони монету, он стоял с двумя другими слепыми, ростом меньше его, все трое чувствовали, видимо, солнце — переговаривались, показывали вверх, туда, откуда пригревало, и улыбались. Левенцев подумал, что слепые многое чувствуют, наверно, острее зрячих, и опять его охватила жалость к этим людям.

Слепые, взяв друг друга под руки, побрели куда-то. Он прижался лицом к стеклу, чтобы дольше их видеть.

Внезапно Левенцев вспомнил, кого напоминал ему этот слепой — Худякова! И Левенцеву стало жаль Семена Артемьевича, и он удивился этому чувству: ведь у Семена Артемьевича не было ничего общего со слепыми, жил он в свое удовольствие и не мог вызывать жалости, но Левенцеву не сразу удалось отделаться от чувства, пришедшего неизвестно почему, и он принудил себя думать о Семене Артемьевиче, и думать хорошо. Вспомнил, как тот присылал за ним курьера и как предлагал выбрать себе квартиру, и пытался припомнить еще что-нибудь хорошее о нем, а на память вдруг пришло совсем другое, увидел вдруг лицо Руфины Викторовны, какое было у нее, когда он встретил ее как-то в магазине и нагрубил ей.

«Скверно это, конечно, — подумал он, — скверно получилось. Надо бы извиниться перед ней! А может быть, подарить ей картину? Пригласить вместе с Худяковым на выставку и подарить. Но бывают ли они на выставках? Не встречал. Нет, не встречал».

И тут он подумал о последних своих работах, с которыми выставлялся, и вспомнил фразу о своих картинах, написанную Антониной в репортаже с выставки: «Мягкий, глубинный какой-то свет исходит от этих пейзажей и согревает...»

Он стоял перед окном, уставясь пустым взглядом на город, лишенный сейчас для него людей. Несколько раз повторил про себя: «Согревает...»

Чего бы он не отдал за то, чтобы его картины согревали!..

Ратниковы

Глава I

1

Летним жарким днем тысяча девятьсот семидесятого года возвращался домой из армии солдат. Был он молод, крутоплеч и высок, с красивым тонким лицом и длинными худыми руками. Ехал солдат издалека и выглядел усталο. Автобус подбрасывало и швыряло, солдату предлагали перейти вперед, но он делал вид, что не слышит приглашений, и, уставившись в окно, упорно сидел один сзади.

Бежали навстречу знакомые окрестности — все ближе была родимая сторона. Вон там, за щетинистой хвойной гривой, — просторный плосковерхий холм. Городище древних славян. Был он на этом холме...

Был и на бугре, с которого увидит скоро далекие плесы, и лесные урочища, и курганы — могильники неизвестных предков...

Вон они. Карьеры у самой дороги. Он тоже работал на раскопках...

Кости мамонтов, бизонов. Кострищи, захоронения эпохи палеолита...

Откопали. Нашумели на весь мир...

Лежит, лежит что-то веками — откопают...

В их деревне в конце улицы — кладбище. Заросло бурьяном, кресты обвалились, могилы сровнялись с землей...

Никто и никогда не станет раскапывать это кладбище...

2

Ровно в полдень автобус выскочил наконец из леса, почти не сбавляя скорости, нырнул под зеленый глаз

светофора, покати́л по широкому новому проспекту, и солдат увидел впереди дом, в котором жил его дядя. Но тут водитель сбросил газ, автобус круто свернул влево, очутился в тесном потоке машин, и поток поволок его, потащил по узким кривым улицам старого города, по холмам, на которых стоял город.

Справа, в расщелинах между домами, монастырскими стенами, соборами, светился синий простор, синело за домами, будто там, внизу, было море. Но моря там не было. За домами, под горой, лежала просторная речная пойма, и у самого горизонта горбились лесистые холмы, а на одном из холмов, на светлой пропелшине среди темных лесов, разглядеть можно было небольшую деревню, в которой доживала свой век Настя Ратникова, старая, одинокая мать солдата.

Фамилии, фамилии... Они вечно хранят прошлое. Даже очень далекое...

Домодедовы, Пашнины, Игрищевы, Разгуляевы, Кабальниковы, Голодновы, Бегановы, Ратниковы, Саблины, Бойцовы, Сечи́ны...

Ратников вышел из автобуса возле каменной лестницы, ведущей под виадук, и спустился по ней к троллейбусной остановке. Там уже собирались пассажиры. Ратников бросил на скамью вещевой мешок и стал вместе с другими глядеть вниз по дороге.

Через минуту вдали, на дамбе, медленно выплыл из-за деревьев крохотный троллейбус, долго полз по мосту и, приближаясь, тяжело полез вверх на крутой подъем.

Сейчас он поднимется, высадит пассажиров с влажными после купания волосами, протащит свое пузатое тело под виадук, развернется, посадит новых пассажиров и, притормаживая, покатится вниз, побежит весело по просторному бетонному мосту и дальше, по длинной высокой насыпи, обсаженной тополями, побежит до Загородного парка с его вечным кружением ярких аттракционов, с его завсегдатаями, сидящими над запотевшими кружками пива под знойными гудящими соснами...

Ратников выпрыгнет из троллейбуса в конце насыпи, не доезжая до парка, свернет под сосны, пойдет между шершавыми стволами по сухой, бестравной земле, усыпанной хвоей. Над тропой будет стоять густой запах разогретой сосновой живицы, а чуть дальше, там, где

тропа выйдет к болоту и гладкой лентой ляжет в березняке, из болота нанесет гнилой ржавчиной, сыростью и травой. И выведет тропа к Долгой Луже. По разбухшим бревенчатым кладям пройдет Ратников через узкий глубокий ручей и пошагает дальше. Тропа запетляет между кривыми черными стволами черемуховой поросли, прoderется частым мелким сосняком, сделает кривую под молодыми липами и выскочит в поле к старым редким дубам — запахнет клеверами и гречихой; тропа вольется в сыпучую песчаную дорогу, разбитую в пыль машинами, и дорога ползет на лысый бугор — поднимутся впереди, над рожью, макушки ветел и крыши деревни...

Тысячи раз, наверно, бегал он по этой тропе. Бегал совсем недавно. Не прошло и года с тех пор. Но как давно было все это!..

3

В армию его провожала мать. На этой тропе он простился с нею и зашагал беспечно, посмеиваясь над ее страхами и представляя себе, как в последнюю минуту глядела она на него снизу. Маленькая до смешного, жалостная. Обернулся он тогда и удивился — мать догоняла его, трусила следом. Ветер косматил ее седые волосы, а мать бежала вперевалку, медленно и с трудом передвигая тяжелые ноги. И он кинулся назад, и увидел, что мать плачет, что душат ее слезы — забыла вручить ему на дорогу узелок. Обнял он ее тогда, она тяжело обвисла у него на руках, зашлась слезами и всхлипывала, гвердила сквозь слезы: «Береги себя! Береги, сынок! Один ты у меня! Один на всем свете!..»

Часто потом вспоминал он эту минуту и жалел мать, представляя себе, как темными вьюжными вечерами сидит она одна в занесенной снегом избе и думает, думает, тоскует о нем.

Явится он теперь к матери, и привалится она к его груди и опять зайдет в слезах, отяжелеет.

Он опустил на скамью и сидел, глядя на свои худые руки, на длинные узловатые пальцы. Шевелил губами, будто шептал что, будто молился, и тонкое лицо его в эти минуты было иссиня-бледным и некрасивым. Он тяжело вздохнул. Две девушки, обе с подкрашен-

ными мохнатыми ресницами, обернулись к нему и, переглянувшись, засмеялись. Ратников поднялся, закинул за плечи мешок и неторопливо пошел вниз по дороге навстречу троллейбусу.

Его обгоняли машины, катили навстречу — то слышались крики, то смех, то лязг и грохот, несколько раз его окликали девичьи голоса, но он не поднимал головы и медленно, как бы нехотя шагал по обочине.

Чем дальше уходил он от города, тем ниже становились холмы, на которых стоял город, а насыпь, казалось, делалась все выше, далеко видны были с нее заливные луга — как талые воды в разлив, по обе стороны насыпи, внизу, ходили сизыми волнами, плескались на ветру высокие метельчатые травы, вдали где-то луга тонули в синей мгле.

4

Оказалось, что поле за лесом и вправду засеяно рожью — весь бугор впереди до самого неба покрыт был хлебами. Над хлебами в полуденном небе зыбился жаркий воздух.

Ратников оглянулся и опять увидел город — город стоял за лесом, на холмах, растянувшись дугой по всему горизонту. Блестели на солнце золотые, вороненые, синие и зеленые купола соборов и церквей, теснились высокие дома, как бы вытесанные из цельных глыб желтого, белого и красного камня, и торчали над городом ажурные иглы радиотелевизионных вышек и черные, коптящие небо трубы.

Сколько раз глядел он отсюда на город, сколько раз щемило у него в груди и в воображении складывались яркие картины прошлого, в которые он вжился с детства и которые так волновали его!..

5

Старик Игнат был его однофамильцем. Может быть, их и связывало какое-нибудь дальнее родство?.. Изба Игната стояла на отшибе, на гребне бугра, на самом ветродуе, и там же, на гребне, в ста шагах от избы Игната, земля была изрыта глубокими ямами, густо поросшими ивняком, — никто не знал, сколько веков брала деревня здесь глину. Мальчишки любили играть

в этих ямах. Строили потайные землянки, выкапывали глубокие пещеры и длинные, уходящие далеко от ям норы и ходы. Игнат часто гонял мальчишек, бранясь и говоря, что они, как кроты, и дом подроят. Они боялись Игната. Но в тот раз, когда попалась им в земле драгоценная, сказочная находка — изъеденный ржавчиной тяжелый меч с длинным зазубренным лезвием, с прямыми короткими рожками и узенькой рукоятью, — они, не задумываясь, кинулись к Игнату.

Игнат не удивился их находке. Обмыл с меча над кадушкой глину и долго молча держал его в руках. Руки Игната тряслись.

— Сколько тут всего в земле! — сказал он наконец. — И раньше, случалось, выкапывали оружие всякое. Кольчуги, шлемы. Тут, ребятки, в давнее время сеча была. Бой был.

Их тогда ошеломили слова эти. В их головах не укладывалось, что именно здесь, где ими все избегано, исползано, изрыто, знакомо до каждого камня, — здесь когда-то храпели и ржали кони, стоял лязг и звон мечей...

— И село наше не зря Лихой Пожней назвали. Э-э! Сколько тут русских голов сложено! — сказал тогда Игнат и чуть погодя добавил: — Мужику тут трудненько жилось. Паши да оглядывайся. Явится враг — соху бросай, за топор берись. Землю свою, детишек своих обороняй.

Глядя отсюда на город, частенько представлял себе Ратников, как в древности когда-то, оставив позади тысячи верст безлюдья и бездорожья, болот и непролазных чаш, выехали из леса на этот холм передовые всадники и увидели блеск золотых куполов, как накинлись на заставу, порубили русских и вздыбили коней, повернули назад, и как потом высыпали на холм бесчисленные орды диких завоевателей — отощавших, грязных, вонючих и злых, и как из тысяч глоток вырвался торжествующий и алчный вопль, и всадники, стегая коней, поскакали с гиканьем и криками вниз, в долину, просочились через леса, переправились через реку, подступили со всех сторон к городу, и началась многодневная и жестокая, кровавая сеча...

Все эти представления странным образом связывались в сознании Ратникова с домом, в котором он ро-

дился и в котором теперь ждала его мать. В каждом углу этого дома, на сушилах, в закутках сарая, в запущенном саду, в его вишневых и малиновых зарослях таилось что-то необъяснимо волнующее, и Ратникова тянуло сюда отовсюду, где бы он ни был. Возвращаясь домой, он испытывал всякий раз какое-то щемящее чувство, какую-то приятную тоску, будто возвращался на короткий миг из небытия на землю, зная, что тут же снова уйдет, уйдет навечно от всего, что было дорого здесь и ему, и его неведомым предкам. Он никогда не задумывался над природой этой сладкой тоски и всякий раз с радостью отдавался ей.

В армии, оставаясь один, он часто ложился навзничь и, глядя в небо, вспоминал эту странную тоску, и этот дом, и запущенный сад; и будто видел все это сквозь дымку — голубую и прозрачную, какая бывает обычно золотой осенью, когда в полях и на огородах жгут костры. Он ходил по дому, забредал в заднюю холодную избу и там, на мостах, рылся во всякой рухляди. Рамки, из которых лет сорок назад вырезали со- ты, все еще пахли медом, от долбленых потрескавшихся кадей несло притухлой залежалой мукой, а из пузатых, кованых сундуков, когда он откидывал тяжелые крышки, тянуло сразу всем старым миром — нафталином, ладаном, дегтем. Он доставал из сундуков ржавые амбарные замки, дырявые армяки, латанные полушубки и конскую сбрую, украшенную прозеленевшими медными бляхами.

Когда и кто из его предков наживал все это? Что это были за люди? О чем думали, мечтали? Быть может, кто-то из них, как двойник, был похож на Ратникова? У него было такое же длинное бледное лицо и такие же темные глаза... Он еще носил бороду и усы. Не умел читать. И, конечно, не думал о том, что другой человек, его родственник, потомок и двойник, станет рыться в этих крепких еще, но уже никому не нужных вещах, и будет пытаться представить себе жизнь, какой жили в этом доме всего полсотни лет назад...

Теперь прежние чувства лишь колыхнулись в Ратникове, лишь вспомнились, тревожа прежнюю печаль, смутную и непонятную, но прошлое тут же отошло, оттеснилось охватившим его смятением. Он вздохнул. Постоял с минуту,

Ратниковы... Быть может, фамилия его и пошла с той сечи?.. Быть может, тогда пал не один Ратников? Быть может, это из них кто-то в свой предсмертный час нацарапал слабеющей рукой в нише крепостных ворот те буквы, какие и сейчас жгут того, кто читает их?..

И он — Ратников. Доведись воевать ему, и он бы отдал жизнь за землю эту. Но вражья нога уж не ступит сюда, не дотянется, теперь уж никогда не дотянется...

На короткий миг острое, горьковатое чувство гордости охватило его. И он был причастен к возведению того заслона, каким навечно ограждена теперь земля его от незваных пришельцев, от чужаков.

Он еще раз вздохнул. Вздохнул и повернулся. И зашагал по высокой ржи. И чем ближе подходил к деревне, к дому, в котором ждала его мать, тем большее смятение охватывало. Казалось ему, будто он виноват перед матерью, будто он обманул самые сокровенные ее ожидания и надежды и будто теперь уже в самом деле возвращался домой на короткий миг, глядя на все из того небытия, откуда нет возврата.

Глава II

1

Ни реки, ни озера не было возле деревни; дома стояли на голом холме; и все ветра круглый год продували кривую, сбегаящую по косогору к ложине улицу; буйные ливневые воды частенько прорывались наискосок через порядки, проедаая поперек деревни овраги, смывая плетни и занося огороды песком. В деревне кляли бога, сообщая закапывали вымоины, вывозили из огородов песок, вновь засевали гряды и оставались жить на этом неуютном ветровом холме, может быть, потому, что легко здесь дышалось и от каждой избы открывался глазам широкий простор.

Сейчас улица была пустынна. На дороге купались в пыли куры, слышны были ворчание щенка, стук топора и голоса, доносившиеся с другого конца деревни. Ратников шел теневой стороной, рад был безлюдью и уже искал глазами крышу своей избы, когда из-за плетня вывернулась на дорогу худая длинная старуха, побежа-

ла навстречу, стучая о землю суковатой клюкой. Спина у старухи была выгнута горбом, и чтобы не ломать шею, смотрела старуха вниз, прямо под ноги.

Ратников сразу признал Яковлевну, свою дальнюю родственницу, и та заметила его. Разогнулась в поясице, взглянула остро, по-ястребиному.

— Добрый день, — сказал Ратников.

Тонкие поджатые губы старухи дрогнули.

— До чего длинен! — проскрипела она. — Худ. Страшен! Напугаешь тетку Настю. Не ждет такого-то.

Ратников повернулся и торопливо зашагал дальше, чувствуя на своей спине взгляд старухи.

Тетка Настя... Мама!..

2

Невысокий плетень и кусты сирени загораживали дом — над кустами виднелись зеленые наличники да конек крыши, изукрашенный резными досками. Ратников привычно откинул щеколду на калитке, постоял в нерешительности и прошагал торопливо вдоль кустов сирени и вбежал на крыльцо.

В доме слышен был приглушенный голос и музыка. Ратников заглянул в сени. На лавке вдоль стены ведра с водой, на полу пустые чугуны, кастрюли, перевернутая вверх дном бочка. Приоткрыв обитую мешковиной дверь, Ратников переступил порог, почувствовал знакомый кисловатый запах избы и увидел в горнице мать.

Мать сидела на табуретке, вытягивая из ворота короткую шею, будто позировала невидимому фотографу. Морщины на лбу и у губ собрались в узлы, по лицу скользил голубоватый свет телевизора, и узлы морщин напряженно сжимались — тужилась мать, стараясь что-то разглядеть.

Ратников замер, зная наперед, как встретит его мать, как испугается. И все присказки, поговорки, которые есть у нее — то ли помнит их с детства, то ли сама складывает, — все ласковые слова, которые бережет для него, выпадут у нее из памяти, затеряются...

И он стоял, замерев. Глядел на руки матери, устало брошенные на колени, на короткие ноги со вздутыми черными венами, на гладко зачесанные волосы.

Поцеловал бы он ее в седую голову, обнял! Говорил

бы ласковые слова, уберегал бы от всех бед, от всех горестей!

Тихо звучал голос диктора: «Совместные учения продемонстрировали возросшее мастерство личного состава армий, стоящих на страже мира...»

Ратников пошевелился.

Мать поднялась с табуретки, тяжело переваливаясь с боку на бок, пошла в глубь горницы. Щелкнул выключатель — голубоватый свет погас.

Ратников шагнул в горницу. Увидел испуганное лицо матери. Маленькая, она глядела на него так, будто не он это был, а видение, которое предстало ее глазам в светлую минуту и вот-вот исчезнет.

Ратников подошел к ней. Наклонился, поцеловал.
— Здравствуй, мама.

И тогда только мать охнула. Тяжело повисла у него на шее, прижалась, вздрагивая. Он чувствовал через гимнастерку ее слезы.

Не скоро справилась она с собой. Отпустила его шею, и глядела, глядела заплаканными глазами ему в лицо снизу, и ощупывала его, шарила по гимнастерке иссохшими старческими руками.

— Сынок...

Он опять поцеловал ее.

— Насовсем. Отслужил.

— Господи!.. Пятерых родила — одного растила, в люди выганивала — из людей вымаливала... Рано вроде насовсем-то?

Глядела уже счастливыми глазами, словами ласкала сына, вдруг опять охнула, испугалась:

— Худой-то что? Что худой-то?!

Ратников принужденно засмеялся:

— Огурцы уродились?

Мать испугалась еще больше:

— Огурцы?!

— С них и нагуляю жиру. Долго ли?

— А-а, — недоверчиво сказала мать.

3

Засуетилась она. Старалась скорее угостить сына своего, свою кровинку; торопилась собрать на стол, выставить все, что есть в доме, будто сын от этого сразу

начнет поправляться. В спешке забыла и о ногах своих, которые двигались с трудом. Лазила, кряхтя, в подпол, доставала завернутый в тряпицы и прожелтевшие газетины брусочек сала, застарелого, мягкого, как масло, и глиняную плошку, заполненную до краев солеными хрусткими грибами. С другой плошкой сбегала в огород и принесла оттуда мелкие пупырчатые огурцы, покрытые каплями воды, и мокрый лук с длинными тугими перьями да крепкими белыми головками. Из печи вытянула чугунок с молодой горячей картошкой. Нарезала крупными ломтями черствый хлеб, протерла передником два граненых стаканчика и, хитро улыбаясь, достала из-за черного комода нераспечатанную четвертинку водки.

— За твое здоровье, сынок! — сказала, когда Ратников налил стаканчики. Не морщась, выпила свой, осторожненько наколола вилкой черную шляпку подберезовика, долго мяла ее беззубыми деснами. С умилением и жалостью глядела, как ест сын. Вот и дождалась! Вот и вернулся! Кровинка ее! И печаль, и отрада последняя!.. Только рано что-то вернулся-то...

Лицом бледен... Долговяз, худ... Так и раньше никогда в теле не был. Торопился все. Все бегом, все бегом. Хлеба краюху схватит и бежит. Некогда все было, не поспевал за делами-то... А в армии, поди, приучают солдат к грузам. Навьючивают сверх меры... А кормят, кормят, наверно, кашей одной. А что ему, с его ростом, каша эта?..

Снова в тугие узлы сошлись на лице тетки Насти заботы. Спросила осторожно:

— Ты как жил там? В армии. Трудненько было?

— Да нет,— сказал Ратников, глядя на постаревшую без него мать, на побелевшую ее голову.

— Кормили как? Все каша да каша, поди?

— Нет, кормили хорошо. Даже очень хорошо.

— А делали что? Все больше работали или так служили? В атаки бегали?

— Всякое было.

— А-а. Ну-ну... Оно так: отслужил — и ладно. Чего вспоминать-то... Жизнь хоть и порожиста, в перекатах, а все течет, все бежит, торопится к лучшему — наперед загадывать надо.

«Да, наперед, — подумал Ратников. — Наперед...»

Он сидел, ссутулившись, — горбилась сзади гимнастерка. Худыми длинными пальцами брал горячую картошку. С хрустом грыз белые головки лука и мелкие пупырчатые огурцы, медленно двигал челюстью.

— Выпей, выпей водочки, — говорила мать. — Не повредит. Чай, ты мужик.

Ратников молча кивал. Улыбался и поднимал стаканчик. Делал глоток и опускал руку.

Когда он кончил есть, четвертинка стояла чуть початая.

— Невеселый ты что-то, сынок!

— Ну что ты, мама, — сказал Ратников, — все нормально.

— Дома побудешь? Или сразу надо ехать на работу?

— Побуду.

— Ишь, назначили куда после института. Могли бы и в наш город послать...

— Может, не поеду туда.

— Хорошо бы. Автобус теперь в город ходит. Только подняться в гору — тут и автобус.

— Удобно, — сказал Ратников.

— Не куришь?

— Нет.

— А я-то думала — подымить охота. Давно у нас не курил никто. И не надо. Не куришь — и не надо... А ведь, бывало, соберутся мужики, надымят — хоть топор вешай.

Она вдруг заплакала. Ратников поднялся, положил ей на плечо руку.

— Ты уж прости меня, — сквозь слезы сказала она виновато. — Что было — быльем поросло. Я ведь никогда не плачу. Ты вот приехал, сердце-то и размягчилось, на слезу настроилось.

Ратников подошел к телевизору с маленьким, чуть больше ладони, экраном.

— Работает еще?

— А то как же! — Мать вытерла передником глаза и встала. — Аккурат перед твоим приходом выключила. У других большие телевизоры — что кино, а я дорожку своим. Вернулся ты с целины, помню, ящик притащил — книги, наверно, думаю, а ты распаковал, установил: «На, мать, гляди! Гляди, что в мире делает».

ся!» — Она опять всхлипнула, но сдержалась. — Сегодня-то армию по телевизору показывали. Все глаза проглядела, тебя увидеть хотела, обернулась, а тут — ты! Господи!..

— Отслужил, — сказал Ратников. — Позади все.

— А все ли? Не призовут еще?

— Нет, не призовут.

Ратников повернулся к матери спиной, уставился на кусты сирени. Не призовут его, нет, не призовут...

4

Опять он сидел напротив матери, криво поставив огромные кирзовые сапоги, широко раздвинув острые колени. Сзади опять торчала горбом гимнастерка, свисали между коленями длиннопалые, худые руки.

Вот он и в доме, который так часто виделся во снах, грезился в отдалении... Вот и мать, которую, будучи с ней в разлуке, он так жалел...

— Как ты тут перезимовала? Дров хватило?

— Привезли дров. Привезли. Из колхоза. Я ведь и нынче выходила в страду по наряду. Сено сушила маленько... Перезимовала.

Вот и будет он глядеть на мать, слушать деревенские новости и забудет на время о том, о чем не хочется думать...

— Яковлевну первой встретил сегодня в деревне. Как она? Пишут ей дочери?

— А как же, пишут. Младшая гостила нынче. Недели две.

— Ну, а в деревне что нового?

— В деревне... А что ж тут нового?.. Как уехал ты — померла старая Перегудова. Агриппина. Три свадьбы справили. Девки все замуж выходят. За городских... Как же это я запомнила — аккурат завтра свадьба. Дочь Великановых, Галину, помнишь?

Замолчали.

Вглядывалась тетка Настя в сына. В бледное лицо его, в пузырившуюся на спине гимнастерку, в повисшие худые руки, в огромные, криво поставленные сапоги. Присказки не шли на язык, заговорила, скупно роняя слова:

— Город молодых сманивает. А и в деревне теперь

хорошо. Тихо. Работай, живи... Я вот — бездельница старая — обута, одета, сыта... А к чему живу?..

Маленькая, сухонькая, тетка Настя сжалась на табуретке, стала еще меньше, и остановились голубые, выцветшие глаза ее, будто глядела она внутрь себя, в прожитую свою, выстраданную жизнь.

Вдруг встрепенулась:

— Да что это я! Ты ведь у меня есть! Ты! Живи, старая, радуйся!

«Да-да, — подумал Ратников, опуская еще ниже к полу руки. — Радуйся, радуйся...»

— Теперь-то у всех так, вся жизнь радует. Поглядишь на людей — красивых да образованных, — так и то радостно. Жизнь нынешнюю не сравнишь с прошлой, не сравнишь. Раньше-то какие радости были?

На минуту уставилась вопрошающе тетка Настя на сына, а потом опять стала глядеть в себя куда-то, внутрь. Покоились ее брошенные на подол, уставшие за долгую жизнь, руки. Не двигались, не мигали светлые, васильковые некогда глаза. Вспоминала прошлое — пыталась отыскать там бывшие радости.

На короткое время воскресила память давние годы, гулянки за околицей, милого своего, молодого Алексеича. Морщины на лице ее чуть расправились, и вскинула она глаза на сына.

В Алексеича сын. Почти совсем такой. Молчун тоже... Да только Алексеич лицом темен был да телом крепок... И стать у Алексеича другая была...

5

Подумала об Алексеиче, вспомнила почему-то, как хоронили они с Алексеичем своего первенца, как несли вдоль деревни в ясную жаркую погоду крохотный строганый гробик...

В двадцать первом году было, аккурат на петров день... А через год несли к кладбищу второй гробик, второго сына. Такой же крохотный строганый гробик. Только день был другим. С утра лил дождь. Ждали-ждали ведра, не дождались... Глянула в могилку, а в могилке — вода. Гробик-то уж опускают. Закричать хотела, да горло сдавило. Так младенца в воду и кинули. Закопали...

Позарастали могилки, только мать и знает теперь, под какими бугорками лежат эти сыны ее.

Вот радости... Хотя были и радости...

— Отсеешься вовремя — радость, — сказала она, — град пал, а твой огород цел — радость. Сбрую веревочную заменили ременной — радость... Уздечку, помню, на ярмарке купили, новую, с бляхами, тоже радовались.

Она тихо засмеялась:

— С ярмарки едем, помню, — жарища! На гору поднялись, Алексеич и достал уздечку. Потряс передо мной да как захохочет: «Вот, Настя, обнова какая у жеребчика нашего!»

Помолчала мать, вздохнула:

— А жеребчика-то посла запалили. Уздечка одна и осталась...

Ратников передвинул свою табуретку, обнял мать, и она прижалась к нему, затихла, всхлипывая, а ему вдруг представилось, что все это происходит не сейчас, что это раньше когда-то было с ним.

— Уж не та ли уздечка, что в сундуке лежит? — спросил он вяло.

Мать закивала:

— Она. Та самая.

— А я думал, уздечке лет сто.

Мать высвободила из его рук плечи. Выпрямилась.

— Да что ты, сынок!.. И дому всему лет сто будет ли? Дед твой, Ратников Алексей Игнатьевич, купил дом. В марте девятьсот тринадцатого. Аккурат перед германской войной.

— Война в девятьсот четырнадцатом началась, — сказал Ратников.

— А я и говорю, аккуратно перед войной. В марте.

Мать загладила растрепавшиеся на голове волосы, собралась с мыслями.

— А было так. Дед твой погорел осенью. Отстояли баню одну, в бане-то и зимовали. А весной начальство нагрянуло. Хозяйства описывать за недоимки.

— Деревня же богатая была, — сказал Ратников.

— Не чета другим. А и повинности были нелегкими. Не разочтешься, бывало, ни деньгами, ни припасами. В тот год пять дворов описали — по миру семьи пошли. Так вот разорили и Тихона Уколова.

— А-а, — сказал Ратников.

— Во-во. Он тут и жил с Пелагеей. А дети-то у них толклись в избе, как мак в маковице, — мал мала меньше, сколько, и не припомнить, — прокорми попробуй...

На минуту тетка Настя отвела взгляд в угол, опять припомнила, как закапывали ее сынов в белых маленьких гробиках. Давно было это, давно отболело...

— У других мерли, — сказала она, — а у Тихона выживали. Бегают, бывало, голодные, голые, а здоровые. Тихон-то с долгов не вылазил, забитый был, смирный. А как его двор описывать стали, мужика будто подменили. Порода взыграла в нем. Я подростком была уж — помню. Пеструху их рыжую помню. Бывели Пеструху со двора — Тихон с Пелагеей жандармам зноги кинулись, а те сапогами их пинать стали. Так это еще ничего, а старшина волостной, Егор Силыч, тоже мужик нашенский, ражий такой, как сейчас вижу, посмеялся — дескать, лодырничать лодырничали, а детишек наплодили. Да как посмеялся еще старшина, что, мол, Пелагея щенят своих в подолу приносит, так Тихон-то подхватился с земли да за топор. Разогнал всех, Пеструху порешил... Сам в кровище, страшенный... Потом-то скрутили его да в острог. Без мужика, без коровы осталась Пелагея, а с детишками — впору в петлю лезть.

Тетка Настя помолчала, вспоминая, с чего начала разговор такой:

— А-а, так вот тогда и продала Пелагея деду твоему дом этот. Сама с детишками на сторону подалась, будто бы к родственникам. С той поры на деревне ее не видывали. Кто сказывает, приютила их где-то душа чья-то добрая, а кто баит, будто после они все в тифу померли.

Вот она, жизнь тех людей, каких не раз пытался он представить себе.

Некогда было слушать о них раньше. Отмахивался.

По тому, как сидел сын — не шевельнулся, — поняла мать, что он не вскочит, не убежит, как прежде, и можно поговорить с ним, можно порассказать кой о чем.

Поднялась она с табуретки, вперевалку пошла к черному комоду, источенному червем. Вернулась, неся пухлую амбарную книгу с переломленным желтым пе-

реплетом. Достала из книги старую фотографию на картоне — снимок односельчан, выстроившихся в четыре яруса под стеной высоченного бревенчатого дома. Сидела, сжавшись. Глядела на снимок, глядела на людей, знакомых с детства, и вспоминала все обо всех, и в подробностях могла рассказать о жизни каждого из них.

И про Тихона с Пелагеей. Жили в этом самом доме, по этим половицам ходили.

Ткнула в фотографию заскорузлым ногтем.

— Вот он — Тихон... Это уж после он тут. И в остроге отсидел. И с войны вернулся. Война уж кончилась... А вот Алексеич — отец твой. Вот и Платон — дядя. Мальчонкой еще. Другой дядя — Александр. Вот он. А вот я. И Яковлевна тут. Вот рядышком...

Глава III

1

Алексеич...

И он, пожалуй, давно уж так называет отца. Из разговоров матери с Яковлевной знает о нем. Молчаливый был. Высокий да сильный... На снимке видно: безбородый мужик стеснил плечами односельчан...

— Разобраться, так тут, на снимке, чуть ли не все друг другу родня. Дальняя-предальная, а родня. Я, к примеру, Уколовская, а Яковлевна — из Ратниковых.

Тетка Настя передала фотографию сыну, повздыхала:

— У нас в роду мужики горячие были. На всякое дело скорые. И Тихон тоже. А Ратниковы — те молчуны. Тех раскачивать надо. А уж раскачаются, пойдут — назад не поворотишь.

Глянула мать сбоку на снимок.

— И Алексеич таким был. Не любил выделяться. «Как все — так и я» — вот и весь сказ. Вот тут вот, на снимке, белым написано: «Агро-но-ми-чес-кие курсы. Одна тысяча девятьсот двадцать шесть — одна тысяча девятьсот двадцать семь». Агрономы из города приезжали. Втолковывали, как да что. Кто ходил на курсы, кто — нет, а как снимок-то делали — вся деревня сбежалась. Только выстроились, а Тихон возьми

да крикни — мол, сельский сход объявляю. Бумагу-то из шапки достал и ну читать. Про артели. Со скамеек-то поскатывались, в крик пошли. Пусть в артели-то, мол, голодрань идет, в Пустовале, мол, голытьба, пусть, мол, там и артелятся... И Алексеич против был. У нас, мол, хозяйство справное, ни к чему, мол, артель нам.

Ратников глядел на снимок. На Тихона — борода-того мужика в бараньей шапке, сдвинутой на одно ухо. Слушал, что говорит мать.

Все это он знал, но теперь все это представлялось таким далеким, будто пригрезилось. Когда это было? И было ли?..

— А мы подружками с Яковлевной были,— говорила между тем мать. — Я уж баба, а она — комсомолка, а все подружки. Уйдем на моста, бывало, аль на Долгую Лужу, Яковлевна-то все у меня и выпросит: и как с Алексеичем ладим, и как он милует...

Мать затаенно посмеялась. На скулах у нее выступил слабый румянец.

— Ляжем после с отцом-то, я и наговариваю ему, как хорошо в артели, как работать сообща легко да весело... Он молчит, а я ему в уши каждую ночь все одно да одно капаю — так-то, по капле, и вода камень точит... Ну, и скажи он: «А мне что? Я — как все». А утром жеребчика того и повел в артель...

Умолкла мать. Поцмокала губами.

Опять вспомнилось Насте забытое, отозвалось дальней болью отболевшее, и выгоревшие глаза ее слабо, но долго светили себе внутрь, чуть высвечивая прошлое.

— Он, Алексеич, и на войне таким был — «как все»: и в партию вступил, и под пули лез, и костями лег... А в подкулачниках числился...

Подняла она голову, вскинула глаза на стенку, на деревянные рамки, в которых висели желтые, засиженные мухами снимки солдат. Все трое не пришли с войны. Один, старший,— Алексеич, двое молодых — сыны.

Четверо мужиков было бы в доме ее, если бы не война. Четверо.

Вспомнила сорок пятый год, вспомнила, как сумрачным зимним днем явился в деревню раненый Алексеич. Как, хромая, шагал вдоль деревни — высокий, плечис-

тый, как сбежалась в дом деревня и как уходили потом бабы, оставляя Алексеича с Настей наедине, как посмеивались и утирали тайком слезы...

2

Всего три коротких дня пробыл в деревне Алексеич, всего три сумрачных, зимних дня, а для тетки Насти срок этот вместил в себя всю жизнь, которую прожила она с мужем. Будто и не плакала она до тех зимних дней по сынам своим, и не сушил будто раньше Алексеич молчаливыми поцелуями слез ее, будто и не жалел ее до этого, не ласкал.

И тела его мускулистого не касались будто до тех зимних дней пальцы ее. Не было раньше на его теле болячих бугристых шрамов.

В те короткие дни, короткие ночи и зачали они с Алексеичем своего последнего сына... Не знает о нем Алексеич, не ведает...

Перевела тоскующий взгляд на сына.

Все, что копила для четверых, все одному высыпала... Уж как берегла, как лелеяла! Все ему отдавала — и ласки ласковые, и песни горькие, и слезы сладкие. Одна вырастила, выучила. Им, и только им, перед Алексеевичем гордилась.

Отслужил вот — вернулся. Рада. Уж как рада!.. А не радуется... Что за грех такой? Что за смута легла в душу? Лежит тяжким камнем, не ворочается, давит.

3

Мать затронула что-то в душе Ратникова словами своими, и он забылся на время, не думал о том, о чем не думать было нельзя. Теперь мать молчала, и он оторвал глаза от фотографии, которую все еще держал в руках, улыбнулся матери.

Полегчало ей от улыбки этой.

— Многие живы из тех, кто снят здесь? — спросил Ратников.

Она покачала головой:

— Где там.

Хотелось глядеть на сына, говорить о нем, думать. Хорошо думать. А сын спрашивал о другом, и она от-

ветила. Заговорила неохотно, но память ее сама вновь оборотилась к прошлому:

— Смута началась в деревне. Кто за Тихоном пошел, да и кто — против, многие тогда пропали. И Тихон пропал. И вот эти комсомольцы его. Яковлевна осталась. Платон еще — дядя твой. Ну, он везучий — Платон. И с войны вернулся. С этой войны. Весь в контузиях, в дырках весь, а вернулся. И тогда, и тогда повезло ему. Тихон речист был. Светло говорил. Комсомольцев организовал, ячейку сбил. Молодые-то так и толклись возле него. А Платон больше всех кричал. Мол, и церковь-то порушим, и веру-то себе новую возьмем, и землю-то у богатеев отнимем!.. Разделилась деревня, в Тихона-то богатеи стреляли, а Недогонова Мишку — дружка Платонова — повесили... Вот он, вот Мишка-то.

Ратников опять разглядывал фотографию. Разглядывал Мишку Недогонова. Мишка был мал ростом и изо всех сил тянулся вверх, даже встал на цыпочки и от усердия открыл рот.

— Тоже боек был. Его-то и подстерегли в лесу да на сук и вздернули. Через два дня только отыскивали Мишку, аккурат в среду. День-то базарный был, народу собралось, а уж он посинел весь, уж тлен его взял.

Тетка Настя примолкла. Вспомнила, как сидел на земле возле повешенного Тихон, и бухал рукоятью нагана об землю, и плакал. Как метался потом по деревне, пытаясь разузнать, чьих это рук дело — смерть Мишки...

С той поры и не отошел сердцем. Речи о жизни вел светлые, а как в глаза, бывало, зыркнет, так мурашки-то и поползут по телу.

— Да, везучий Платон, везучий. На одном суку с Мишкой висеть бы должен. Вместе они на сходку бежали тогда в Пустовалово, а Платон, будто беду чуя — вернулся. Везучий... А вот другой дядя твой. Александр. Убили его. Колом по спине перетянули, он и помер.

Платон и Александр снялись, стоя рядышком, — круглоголовый мальчишка в кепке с переломленным козырьком и высокий, здоровый парень в распахнутом полушубке. На отца похож очень. Моложе только...

Ратников глядел на фотографию, слушал, что говорит мать, и ощущал, как охватывает его тоска. Не по-

кидало чувство, будто все, о чем говорит мать, он не только слышит, но и видит. Но видит смутно, как во сне, и, главное, знает: все, что он видит, происходит сейчас, а он глядит на все из прошлого.

4

Глянула тетка Настя на сына, и оборвалось у нее что-то внутри. Вздумалось ей старое ворошить! Отболело старое, отмучило. А ей о нем вот думать надо! О кровинке своей, о радости своей последней, о гордости своей! Что гнетет его? Ишь изгорбатился как!..

Потянулась к нему, вынула у него из рук старый снимок и вместе с амбарной книгой сунула на край стола.

— Что уж это я! Уж солнце падает, а я старьем всяким голову тебе забиваю.

В их окна солнце заглядывало лишь к вечеру, теперь подобралось к рамам, высветило у самых стекол листья сирени.

— Окна не раскрываю летом. Мухи, комары. Душно, может?

В комнате было прохладно, но Ратников пожал плечами. Поднял голову и улыбнулся матери.

— Ах ты, господи!..

Мать встала, тяжесть придавила ее к полу, в ногах загудело, видно, и она охнула. Справилась со слабостью и заковыляла к окну. Толкнула раму — стали слышны переборы гармошки.

5

Мотив был знакомый, знакомый до боли, но Ратников не мог припомнить, что это за мотив. Пытался и не мог, потому что гармонист обрывал и обрывал его где-то на середине. Начинал он играть медленно и чисто. Гармошка точненько выговаривала, будто выписывала, каждую фразу, каждый звук — печально и тихо рассказывала о чем-то, о чем-то просила, на что-то жаловалась, и казалось, что гармонист, отдаваясь настроению, забывал всякий раз о гармошке, и гармошка уже мешала ему. Он начинал терзать и рвать мехи. Гармошка не могла поспевать за ним, не выговаривала того,

что требовалось гармонисту, и тогда он все больше и больше растягивал мехи — голоса поднимались все выше и выше, планки звучали все тоньше и тоньше, — и гармонист совсем уходил в глубь мелодии и во всю торопился, перебирал пальцами, частил, пальцы его запутывались в переборах, и он сбивался. Гармошка, сжимаясь, визгливо вскрикивала, а гармонист, чуть помедлив, опять начинал с раздумчивого, медленного разговора, и опять забывался, и снова и снова запутывался в переборах.

Ратников чувствовал, как к горлу у него подступают слезы.

Было, было уже все это! Давно-предавно. И зачем вспомнилось? Зачем?!

Мать обернулась:

— Как ты ушел в армию, третью свадьбу справляет деревня. Третью... Слышишь, Игнат Великанов о дочке печалится?..

Глава IV

I

В окна уже били острые лучи солнца, когда в сенях закрипела дверь и застучала в половицы клюка. В полутьме кухни возникла кривая тень сухой длинной старухи, и в горницу, согнувшись, вошла Яковлевна — из широкого выреза обвисшего платья торчали острые ключицы. Яковлевна распрямилась в пояснице, вытянула темную жилистую шею, сердито взглянула на Ратникова.

Мать заспешила навстречу, но ее остановил скрипучий голос Яковлевны:

— Не насовсем, чай?

— А вот и насовсем. — Мать испуганно взглянула на сына, ожидая, подтвердит ли тот слова ее.

— Отслужил, — сказал Ратников, поднимаясь во весь свой рост.

Яковлевна была длинна, но и ей приходилось глядеть на него снизу, ломая шею, и она опять перегнулась в пояснице, побежала от порога, стуча клюкой. На ходу бросила:

— Быстро больно.

— Год всего служат после института, — обиженно отозвалась мать.

— Все одно быстро. — Яковлевна опустилась на табуретку. — Без меня тут пирушничали?

Мать смахнула со стола крошки, принесла еще один чистый стаканчик и вилку, добавила в плошку мокрых пупырчатых огурцов и белоголового лука, выставила чугунную потрескивающую сковороду с глазуньей и присела сама.

— Он и не ел еще.

Ратников улыбнулся ей и тоже сел, и мать вздохнула:

— Налей-ка, сынок.

— Ну-ну. Ну-ну, — проскрипела Яковлевна, строго следя за тем, как Ратников разливает водку.

Они чокнулись, и все трое выпили. Яковлевна и мать кинули в рот по грибу, стали жевать.

Стукнула сенная дверь, хлопнула другая, и в горницу влетели две девчонки. Обе низкорослые, обе крепко сбитые.

— Тетка Настя! — Осеклись, увидев Ратникова. Зажали ладонями рты, прыснули.

Ратников усмехнулся, и густой румянец охватил щеки девчонок.

— На свадьбу пришли звать? — сердито спросила Яковлевна.

Девчонки опять прыснули, потом одна из них чуть слышно сказала:

— Ага. — И взглянула искоса на Ратникова.

Вторая справилась наконец со смущением и уже тоном, подобающим случаю, произнесла, чуть наклоняя голову:

— И вас, Яковлевна, и вас... Сережа.

«Эта выходит замуж», — решил Ратников и глядел на девчонок, узнавая их и не узнавая.

Девчонки простились с церемонным, низким поклоном, которому их, видно, кто-то научил, чинно повернулись, степенно пошли. В сенях кинулись бегом — за ними грохнула дверь.

Яковлевна покрутила головой:

— Шилохвостки.

Не сговариваясь, старухи взглянули на Ратникова. Он сидел в той же позе, в какой был до прихода

Яковлевны, — горбилась за спиной гимнастерка, руки висели меж колен.

— Как раз приехал, — сказала Яковлевна. — Свадьба завтра.

— Уж говорила, — поддержала разговор мать, — говорила.

— Ну, опять шуму будет!

— Уж играют, поют.

— Понаедут из города.

— На отдельном автобусе.

— На «Запорожцах», на «Москвичах».

— Молодых, чай, на «Волгах» привозят.

Яковлевна засмеялась, будто заклохтала:

— Нешто молодых в автобус посадят!

— На «Волгах» молодых, на «Волгах».

— Слыхала, тюкают, сколачивают чтой-то.

— Слыхала.

— Тюкают, столы и лавки ладят, вот и тюкают.

— Человек полста соберется, поди.

Яковлевна опять заклохтала:

— Сю.

— Ишь, ты, — сказала тетка Настя. — Сто.

— А может, и больше.

— Прорву такую попробуй угощеваньем ублажить.

— Да по нынешним временам.

— Вот-вот. Мясного, бывало, наготовят, самогонки да браги наварят — вот и свадьба.

— И-и! — Яковлевна махнула рукой. — И не упоминай самогонку-то. Если и варят Великановы, то — втихую, для своих.

— А-а! А напоить всех надо.

— Водку пить будут. — Яковлевна, клохча, посмеялась: — Десять ящиков завезли будто бы.

— Десять? Ишь ты!

— Десять будто бы. Зинуха Великанова хвасталась, Да шампанское, да вино красное для баб, да коньяк.

— И коньяк, — подтвердила мать. — Теперь без него нельзя будто бы свадьбу играть.

— А то как же? Городские, чай, понаедут.

— Денег-то, денег-то надо!

— Целу армию напои, накорми-ка.

Старухи глядели и глядели на Ратникова, и Яковлевна повторила задумчиво:

— Целу армию...

Опять слышна стала гармошка — частые-частые переборы. Гармонист сбился, гармошка вскрикнула, стихла. Спустя немного медные голоса опять стали медленно и чисто петь, рассказывая о чем-то, на что-то жалуюсь.

— Игнат печалится.

— Последнюю дочь выдает, — сказала Яковлевна. — Чего ему печалиться?

— Как же, замуж не замуж, а дочь из семьи провожает.

— Пусть радуется. Заневестились девка.

— Заневестились, — согласилась мать. — Да и не только у Великановых. У Сухоруковых невеста. На заводе работает. У Кабальниковых... В институте учится. Третью свадьбу за год деревня справляет.

— Третью...

2

Яковлевна отвела наконец взгляд от лица Ратникова... Старухи ненадолго примолкли и опять заговорили о предстоящей свадьбе. Прикидывали, во сколько обойдется она, и гадали, откуда возьмут такие деньги родители молодых.

С городским невеста сговорена. Отец жениха, скажут, шоферит. На стороне прихватывает. Мать — швея — тоже подрабатывает, наверно. А у Великановых что за доходы? Игнат заводской — по гудку ходит. Зинуха в магазине... У молодых, у тех, конечно, какие деньги. Галька-то школу только окончила, на фабрике первый год, а парень из армии только что...

Тетка Настя украдкой взглянула на сына, а Яковлевна опять уставилась.

— Невест скоро не останется в деревне.

— Так вот — третья свадьба за год.

— Третья...

Ратников понимал, к чему клонят разговор Яковлевна с матерью, и ему было тяжело слушать их, и он молчал.

— Нынче веселые свадьбы, — говорила Яковлевна,

— Веселые, — отвечала мать,

— Нынче без слез.

— Без слез.

Мать поглядывала осторожно.

— Мы отплакались, а им пусть легко будет.

— Пусть, — сказала Яковлевна. — Пусть... А помнишь Любки Ратниковой свадьбу?

— Помню. Как же, помню.

Старухи перекинулись памятью к прошлому. Яковлевна изогнулась над клюкой, а тетка Настя уставилась в угол. Забыли на время старухи о Ратникове. Вспомнили, как в голодном сорок четвертом году справляли они свадьбу младшей подруги своей Любки Ратниковой...

3

Уж больно красива Любка была — длиннокобая, стройная да гибкая, оттого и переборчивая — всех женихов подряд отваживала, так и не вышла до войны замуж. А получили Великановы в конце сорок первого похоронку на Петра, на дядю теперешней невесты Гальки, ударилась в рев Любка — по Петру, оказывается, сохла. К сорок четвертому году переболела она горем своим, а в деревню тогда приехали на лето раненые из госпиталя. С одним из них, с лейтенантом Сапаром Хакимовым, и связала свою судьбу Любка. Всего месяц отпущено было ей на знакомство, любовь и разлуку. Через два месяца после отъезда Сапара получила на него Любка похоронку, а еще через месяц и сама ушла на фронт. Ушла и как в воду канула. На Любку не пришло в деревню даже похоронки.

Всей этой истории не вспоминали Яковлевна с теткой Настей. Вспоминали только свадьбу. Угощение. Самогонку, липкий, черный, как земля, хлеб, зеленый лук, огурцы да картошку в мундире. И пели, и плясали, и кричали «горько!» на той свадьбе, но слез тогда было больше, чем веселья.

Не сговариваясь, взглянули старухи на стенку, на портреты солдат, не пришедших с войны. Помолчали, вороша в памяти прошлое. Смахнула тайком тетка Настя слезу со щеки, а Яковлевна изгорбатилась больше обычного, и начали они вспоминать про то, как жили в войну...

Вот и вернулся он в свой дом, порадовал мать. Яковлевну...

Была бы эта радость долгой...

Оранжевое солнце теперь целиком стояло в крайнем окне, Ратников глядел на него не мигая и не слушал, о чем говорят Яковлевна с матерью.

Его тронули за колено, и он поднял голову. Увидел глаза старух — одни цепкие и как бы сердитые, другие настороженные и жалостливые.

— Что закручинился?

— А что ему за резон сидеть целый день со старухами.

Мать обрадовалась:

— И верно. Пойди, пойди... Погуляй. Деревенских встретишь. Невест наших.

Ратников улыбнулся невесело.

— Прибегали. Лариска с Галькой. Увидели — покраснелись.

— Э-э! — сказала Яковлевна. — Не знаешь мужиков наших, Ратниковых? Пока соберутся с делом, намолчатся. Налей-ка еще. Выпьем да и ступай.

Ратников вылил в стаканчики остаток водки — все трое подняли.

— Платон с войны пришел, — сказала Яковлевна, — помнишь?

Мать вздохнула:

— В орденах весь. В контузиях, в дырках.

— А молчал все. Молчал поначалу.

— Разговорился после.

— Разговорился! — Яковлевна заклохтала, затряслась вся. — Разговорился! Ведь он думал, только у нас в колхозе неладно. На меня накинудся, а тут секретарь райкома, покойный Артемыч, в деревню заехал, так Платон за грудь его слапал и ну трясти, ну душу из него выколачивать.

И мать засмеялась:

— Его же самого тогда секретарем и поставили,

— Его! Его!

— Самого!

— Ах ты, господи! Самого!

— На, мол, на! Попробуй, повоюй-ка!

— С бабами!

— С бабами!

— Ах ты, господи!

Старухи смеялись дружно, смеялись до слез. Наконец мать, держа в одной руке стаканчик, другой вытирая глаза, проговорила:

— Приехал, помню, потом-то, зимой уж, — худющий, в лице ни кровинки — и бегают, бегают вот тут вот, из угла в угол. «Да сядь посиди!» Где там! И все молчком, все молчком.

— Э-э! — Яковлевна опять задумалась. — Он выговоров тогда отхватил за год больше, чем за всю войну орденов.

— Да в тот раз и сказал, помню: на войне, мол, легче было.

— А-а! — вскинулась Яковлевна. — Легче? А мы, бабы, всю войну так-то ярмо тянули. Всю войну. Всю. Ну, выпьем, да и ступай.

— За тяжести прошлые, за печали старые да за радости новые, — скороговоркой произнесла мать и выпила.

Выпил и Ратников. И Яковлевна. Кой-как закусили.

Мать стянула со стола к себе на колени амбарную книгу. Раскрыла, стала переворачивать замусоленные желтые страницы.

— Иной раз напмню Платону теперь разговор тот — смеется.

Она вынула три тонкие выцветшие фотографии.

— Вот он, Платон Алексеевич.

Ратников хорошо помнил фронтовые фотографии своего дяди и взял их из рук матери.

Ратные будни... Снятые неведомым фотографом случайные сцены бередили душу.

Вот Платон Алексеевич спит, неудобно подвернув голову в съехавшей набок каске — виден край дощатого стола, открытая банка консервов, краюха хлеба, кто-то из-за кадра подносит ко рту Платона Алексеевича алюминиевую кружку.

В землянке курят, орут, пьют и едят, но разве это может потревожить сон солдата!

А вот Платон Алексеевич сидит на пне. Сжав в руках пилотку и запрокинув голову, хохочет. Рядом стоит

немец в каске, в расстегнутом кителе, босиком и в подштанниках...

А на этой фотографии — большой зал с лепным потолком, на длинном столе алюминиевые котелки, фляжки, бутылки и хрустальные бокалы, за столом веселые офицеры. Платон Алексеевич в кителе с орденами, подруга его, теперь жена, Ираида Васильевна — в гимнастерке и тоже с орденами...

Победители... Живые, здоровые, сильные... Счастье, вот счастье!..

Ратников отдал фотографии Яковлевне и отвернулся к окну.

— А ему и теперь достается, — сказала мать. — Заедет иной раз, подкатит на своей «Волге», быстро хонько вбежит в дом и свалится на диван. Так бы и сидел, так бы и не вставал, да заботы гложут — подхватится: «Ну, пора! Поехал». — «Куда? Посиди! Я вот вишенки принесу! Малинки...» Рассмеется: «Некогда. Купить надо чего?» Ну, попросишь... Рыбки соленой — не привозят к нам в лавку-то. Или стекло новое вырезать — выпало... Укатит — и след простыл. И не кажется. Ну, забыл, думаешь, — ан, нет. Прибегут Люда с Надей, притащат...

— Будет тебе про Платона! — сердито сказала Яковлевна и положила на стол фотографии. — Начальство есть начальство. Все в его власти: устал — поспи.

— Дело ждет — не поспишь! — заспорила мать. — Много ты спала в войну? А у Платона и теперь забот не меньше, вся работа у него нервная.

Яковлевна разогнулась в пояснице, и Ратников встретился с ней глазами.

— Ну, будя! Будя про Платона-то!

Глава V

1

Долго идет по большому кругу летнее солнце, много светлых часов укладывается в летний день, о многом переговорить можно, вспомнить. Тикали на кухне ходики, все ниже опуская гирю, Яковлевна и тетка Настя поглядывали на Ратникова, будто поторапливали его взглядами. Яковлевна сказала наконец:

— Ну, иди. Интересно больно — старух слушать.

— Интересно,— сказал Ратников.— Посижу.

— Просидишь. Невест не останется.

— Иди, иди, — проговорила мать. — Прогуляйся. Невесты не переводятся. Поспевают, будто ягоды, а не с кем заручиться в деревне — парней нет. Сопливые — те женишатся.

Ратников молчал, и мать не заметила, как он сжал челюсти, сказала с грустной ласковостью в голосе:

— Доживу если — внука увижу — порадуя Алексеича. Тебя родила — вырастила, внука дождусь — вынянчу.

Ратников поднялся. Повернувшись, шагнул к окну, уставился на кусты сирени.

Кусты в пыли. Наверно, давно не шли дожди.

2

Когда Ратников вернулся к столу и сел, лицо у него было совсем белое.

— Сиди, — разрешила вдруг Яковлевна. — Охота — сиди.

Ратников взглянул на нее, и ему показалось, что знает она больше того, чем надо ей знать.

— А мы уж с ним ворошили сегодня старое, снимок глядели, — с виноватым видом сказала тетка Настя. Перевернула несколько страниц амбарной книги и вынула, положила на стол перед Яковлевной фотографию, на которой сняты были выстроившиеся в четыре яруса под карнизом бревенчатого дома односельчане.

Яковлевна, изгорбатясь, вгляделась, и Ратников услышал ее стон.

— Ах, ты!.. И столько годов таила!..

— У тебя же был такой. Был.

— Был. — Яковлевна поджала тонкие губы, изгорбатилась так, что опустила голову ниже спины. Затихла.

Что вспоминала? Может быть, молодость свою, а может быть, все, что было после того, как осталась без мужа, одна с детьми?.. Одинокую, горькую жизнь свою?.. И войну, и как в войну пришли к ней, к жене бывшего председателя артели, к вдове, пришли звать в председатели колхоза?..

Наотрез отказалась тогда. Нет, нет и нет!

А кого еще было в председатели ставить? Война шла. Так и председательствовала всю войну.

— А у меня снимка такого нет, — повторила она хрипло. Медленно, медленно распрямилась, остро взглянула: — Нет.

Мать сидела с виноватым видом — сказала только: — Что ж, снимок... И людей многих нет в живых, кто на снимке тут.

Она, кряхтя, дотянулась рукой до фотографии, чуть погладила:

— Вот они — мы, молодые. А взглядишь-ка: кто в живых остался? Ну, ты. Я, Платон... А Ваня Уколов на войне пропал. Красивый был — девки вздыхали по нем... Пропал.

Яковлевна машинально как-то кивнула.

— А вот Федя Великанов. Стеснительный был... Тоже убили. И Ратниковых поубивали... Ивана...

— Убили, — проскрипела Яковлевна.

— Этот без вести пропал. А этого тоже убили. И этого. И Алексеича...

— Убили, — сказала Яковлевна.

— А вот еще Алексеич. Александр Ратников. При Тихоне его еще не стало...

Яковлевна сжалась вся. Чуть слышно сказала:

— Не в свое дело встрял. Богатеев раскулачивали, а он встрял.

— Встрял, — отозвалась мать. — Встрял, а убивать-то за что было?

Яковлевна глядела сердито, по-ястребиному, но молчала.

— Так что и Тихон...

— Что Тихон?

— Дров наломал немало.

Яковлевна то ли вздохнула, то ли простонала, спросила чуть слышно:

— А Мишку Недогонова за что повесили? А в Тихона в самого стреляли?

— Александр, что ли, стрелял-то?

Яковлевна медленно опустила голову. Подняла темную трясущуюся руку, ткнула пальцем в фотографию.

— К этим двоим концы сходились,

— К ним, а не докажешь.

— Не докажешь.

Яковлевна отодвинула от себя фотографию:

— Глядишь — только душу бередишь: честных да прямых в живых нет почти, а хитрющие да скользкие — те живы, от всех бед увернулись, уцелели...

— Так, так, — сказала мать.

— А ты Тихона хайшь.

— Да я не хаю, не хаю!

— Старое ворохнешь — тут и вражда.

— Вот то-то. — Мать цмокнула губами. — Только на снимке этом и остались все вместе, Тут и Алексеичи, тут и Тихон.

— И Матвей.

— И Матвей.

3

Старухи на какое-то время забыли о Ратникове, и он, безучастный, сидел молча, опустив меж колен руки.

...Встретились — ушли в прошлое... Не туда почему-то, где молоды были, крепки и счастливы...

Потому, что плохое памятно больше хорошего?.. Нет, наверно... С жизнью, наверно, сильнее всего связаны они тяжким да горьким. Кровью и потом отдает свою жизнь человек другим — вот и вспоминается тяжкое чаще...

Ратникова тронули за колено, и он увидел вопрошающий встревоженный взгляд матери.

Не все горькое, что пало на ее долю, испила еще...

— Говорим, Матвей жив.

— Ползает, — сказала Яковлевна.

— Тот, что в деревню после войны вернулся? — нехотя спросил Ратников.

— Он, он.

— С трудовыми медалями пришел тогда.

Ратников взглянул в окно. Там, через улицу, в другом порядке, стоял огромный дом Матвея Уколова. За кустами сирени угадывалась крыша, и Ратников представил себе долговязую, согнутую над клюкой фигуру старого Матвея и вздохнул.

И Матвея, и Яковлеву, и мать знает он, помнит только старыми, а на фотографии они молодые и красивые...

Вслед за Ратниковым и старухи повернули головы к окну и притихли.

Вспомнив о Матвее, вспомнили, наверно, далекое-далекое, такое, о чем уж давно не думали, — вспомнили, наверно, тот день, то сонное, припорошенное снегом утро, когда Тихон привел в деревню пустоваловских комбедовцев — привел, чтобы дать «останний бой мироедам».

Раскулачили в тот день две семьи. Вошли тогда комбедовцы в деревню и с налета, скопом, ввалились в хоромы Сопрыкиных. Окружили каменный лабаз. И в считанные минуты собралась тогда ко двору Сопрыкиных вся деревня. Покудова тихо творилось в доме что-то неведомое, стояла деревня безмолвной, шумно дышащей толпой — тянули шеи, глядели снизу на высокие окна. Кой-кто утирал слезы, кой-кто посмеивался, но никто не ввязался, не встрял, не заступился за Сопрыкиных, перед которыми, считай, каждый из односельчан не раз ломал шапку — просил в долг под проценты и семян, и муки, и соли...

Повязали комбедовцы Сопрыкиных, сторожить поставили пустоваловского мужика с ружьем, пристукнули ссатаневшего кобеля и гуртом повалили мимо ратниковского двора, через улицу, ко двору Сидора Уколова — мужика крепкого и богатого.

В хозяйстве Уколовых было шесть мужиков и парней, восемь баб да девок — столько крепких крестьянских рук. Высился их восьмистенный дом под стать кулацкому, и держался у них в сусеках хлеб даже в самый неурожайный год, и выгоняли они в любую весну со двора сытую скотину, а сами всегда щеголяли в новых дубленках да катанках, в атласных рубашках да яловых сапогах, в шелковых сарафанах да новых галошах.

Когда осадили комбедовцы двор Уколовых, первым взялся за топор младший сын Сидора — Матвей. Александр Ратников, который прислушивался к речам Тихона и хаживал иногда в Пустовалово на комсомольские сходки, вдруг кинулся на подмогу к Матвею — весельчаку и задире, лапавшему на гулянках девок, часто затевавшему драки и подтрунивавшему над Александром, тихим дружкой своим и любовным соперником.

Никто и никогда так и не узнал, что побудило Александра, этого молчаливого, застенчивого великана, кинуться с голыми руками против наганов и ружей, кинуться против своего старшего товарища и единоверца Тихона, он пытался уладить все миром, примирить непримиримое у своих, у деревенских.

Но кинулся тогда Александр драться, и деревня сразу разделилась надвое, и даже в самих мужиках тогда все раздвоилось. Стародавнее, от прадедов и прапрадедов, от неведомой старины живущее в них чувство уважения к всякой собственности схватилось с жившим веками в крестьянине сознанием несправедливости и бесправия, вечного унижения бедняка перед богатеем.

И сцепились мужики. Одна сторона держалась яростью тех, кто не желал отдавать нажитого собственным горбом, а другая — упорством, силой комбедовской организованности и мандатов, скрепленных лиловыми печатями, да еще убежденностью в правоте своего дела. И обе стороны верили тогда, что правда на их стороне...

И Яковлевна, и тетка Настя обе теперь припомнили, наверно, тот припорошенный мягким снегом день и то, что именно в тот день Яковлевна враз потеряла сразу обоих своих ухажеров и женихов — Александра и Матвея. Припомнили, наверно, как в тот день, по тому мягкому снегу уползал к забору, волоча за собой по-собачьи ноги, избитый кольями Александр, и как возле него горько плакал, сидя в том же снегу, бывший перед этим на стороне Тихона подросток еще Платон, и как по тому же снегу увозили в милицию скрученного как зачинщика Матвея, а чуть погода уходил по тому же снегу и унылый обоз раскулаченных.

Кто знает, что пришло теперь на память старухам? Может быть, вспоминали совсем другое? Вспоминали, может быть, как через год после того дня судьба свела вместе Яковлевну с Тихоном, как неожиданно для себя самой Яковлевна ответила на его позднюю любовь и как надолго тогда поломалась ее дружба с теткой Настей?..

— А Платон как плакал в тот день! Помнишь? — спросила Яковлевна.

— Как же... Мальчонкой был.

— Мальчонкой.

— А теперь начальник. Большой начальник. По радио поминают, по телевизору показывали.

Помолчав, Яковлевна сказала:

— Он везучий.

— Везучий.

— Я да он из ячейки нашей в живых.

— Никого не осталось больше, — сказала мать. — Нет, никого...

4

Солнце еще глядело в окна, еще было светло, но тетка Настя, кряхтя, поднялась, щелкнула выключателем — под смолистой матицей вспыхнула голая лампочка, окна сразу притухли. Слышны были переборы гармошки.

— А! Что вспоминать! — присаживаясь, сказала тетка Настя. — Отболело все, отошло. А у меня вот радость — сын.

Глядела на него с умилением и тревогой.

— Жених... — Уставилась на Ратникова и Яковлевна. — Мужиками Ратниковы завсегда славились.

— Славились... — Мать моргала жиденькими мокрыми ресницами. — Славились да и сославились, недолгой дороженькой их судьба легла. Ах, господи! Да что это я?!

— А что? — сказала Яковлевна. — Ты, Серега, да дядя твой Платон — вот и все мужики Ратниковы, кто в живых остался.

— Все, все, — согласилась мать. — Большие да сильные, умные да славные, вы и советчики, вы и ответчики, вам и хлеб сажать, и детей рожать.

Ратников сжал челюсти, лицо его опять побелело, но мать, растрогавшись, не заметила, что причинила сыну боль. Опять вспомнила всех детей своих. «Пятерых родила — одного растила... Нет, растила троих, да в живых один остался...»

— Женился бы! Порадовал!

Ратников поднялся. Теперь резко — скребанул пол табуреткой.

Мать уцепилась за его рукав, с мольбой глядела снизу мутными от слез глазами.

Ах, мать-мать! Старая! Зачем он приехал к ней?! Зачем растревожил?! Растревожил пустыми надеждами!.. Зачем?!

5

Яковлевна хрипло покашляла:

— Скукота с нами, старухами?

Глядела она требовательно, остро, и Ратников принужденно улыбнулся.

— Ты что кислый какой? Не выспался?

Ратников помолчал, потом солгал:

— Поездом ехал. С пересадками. Не спал две ночи.

— Ах, батюшки! — всполошилась мать. — А мы-то его побасенками потчуем. Умаяли!

Она отпустила рукав сына, заметалась по горнице в поисках простыней и подушек.

Яковлевна встала.

— Будет тебе переполох устраивать! Молодой, чай. Отоспится еще. Ну, бывайте.

Стукая в пол клюкой, поплелась к выходу. У порога обернулась. Погрозила Ратникову костлявым пальцем:

— Ты у меня гляди! Гляди у меня!

И вышла. Застучала палкой в сенях.

Ратников сказал:

— Не беспокойся, мама, на сеновале спать буду.

Мать остановилась, держа перед собой подушки.

— И не вздумай. Комары заедят. — Она вдруг охнула: — Окно-то закрыть забыли! И сюда поналетели!

Взмахивая подушками, будто надеясь выгнать комаров, затрусила к окну и захлопнула створки.

— И петух с непривычки побудки устраивать будет, и пастух в три часа затрубит, а тебе выспаться надо, хорошенько выспаться.

Она стелила ему на диване и все оглядывалась, все хотела что-то сказать, наконец, постелив, обернулась, наморщив лоб:

— Старые мы с Яковлевной и живем старым, а вам, молодым, о молодом думать надо. А только вот что я тебе скажу, сынок. Кто похитрей да поувертливей, тот всегда от беды увильнет. Возьми наших, деревенских: кто открыто жил — тот и пропал. Тихон строг был, а жил на виду, открыто. На себя много брал: он в ячей-

ке партийной главный, он и председатель артели, он и власть сельская — вот и не стало Тихона... А другие-то и Мишку будто бы повесили, и в артели после немало пакостили, а гляди-ка — живы. Один у нас тут, в городе, а другой аж в Москве. Живут...

— Что же, — спросил Ратников, — и мне хитрить надо?

Мать замахала руками:

— И-и-и!.. Я ж того не говорю. А только и нынче все так: кто полукавей, у того и работа почище, и живет тот получше, а кто попроще, как твой дядя, к примеру, на том и едут, тот и везет.

Мать повздыхала.

— Ну, ложись. Спи. И, если что не так, прости меня, старую.

Неуклюже повернулась и вышла, осторожно приотворив за собой дверь. Стало так тихо, будто и в доме, и на улице все спало.

Ратников посидел на табуретке возле дивана. Потом поднялся, погасил свет и подошел к окну. Над сиренью стояло яркое вечернее небо. Он распахнул окно. На другом конце деревни, там, где жили Великановы, где готовились к завтрашней свадьбе, все еще пиликала гармошка. Сквозь кусты сирени светились и подмигивали по всему горизонту робкие еще на свету, но уже острые огни города. Там шла своим чередом бойкая жизнь. Кто-то спешил на концерт, кто-то в кино, кто-то опаздывал на свидание, а кто-то бежал на танцы.

Разговорами о свадьбах, о женитьбе, воспоминаниями о прожитом Яковлевна и тетка Настя, не ведая о том, разбередили тревожную тоску, какую глушил в себе Ратников, и он подумал теперь, что ему мало чего осталось испытать из той жизни, какой живет город, какой живет деревня, какой вообще живут люди, и память его сама, без участия воли, высветила из прошлого, совсем недавнего прошлого, то, что старался он забыть.

Глава VI

1

Была осень. Поезд несколько долгих суток шел среди мокрых лесов и перелесков, среди черных карто-

фельных полей, черных пашен и серых деревень, а потом выскочил в безлесное и безлюдное пространство и катил по выгоревшей, рыжей, необозримой степи; степь стлалась и стлалась за окном и без конца тянулась и тянулась вдоль дороги, тянулась до самого Урала и дальше, за Урал, и уж казалось, никогда не кончится, но вдруг незаметно как-то отстала от поезда и сменилась тайгой — глухой, дикой и еще более, чем степь, поражающей своей бесконечностью — сплошной стеной стоял вдоль дороги темный хвойный лес с красными и желтыми всполохами берез, осин и лиственниц.

Неслась и неслась навстречу поезду задремывающая к зиме бескрайняя, беспредельная земля России, а их везли и везли все дальше и дальше, везли на восток, в неведомое — стриженных под машинку, серых, похожих, как братьев, призывников.

Ратников, такой же, как все, обезличенный стрижкой, днями просиживал у окна, вглядываясь в переменчиво-однообразные осенние пейзажи — время, которого не хватало ему всю жизнь, вдруг остановилось, времени было теперь в избытке; и он ничем не отличался от этих хмельных, шумных в начале пути, а теперь затихших, настороженных неизвестностью юнцов, которых перерос на пять лет.

Так уж получилось, что в армию он был призван не вовремя. После школы учился в художественном училище, учился хорошо, но недолго. Вдруг стал жалеть, что попал не туда, думал, что надо было ехать в Палех, учиться лаковой живописи, которая выросла из народного ремесла и в которой все народно, тонко, поэтично... Ушел из училища, но в Палех не поехал, а поступил на архитектурный факультет инженерно-строительного института. Этот институт и окончил перед армией. Ему нравилось постигать законы архитектоники, изучать архитектурные стили и создавать что-то свое — новое, ни на что не похожее. Он участвовал в трех конкурсах, на двух ему присудили премии, и он утвердился в мысли, что станет архитектором, и задолго до окончания института начал работать над большим проектом, который теперь можно было завершить через год, если бы не призыв в армию.

Ратников почти не жалел о прерванной работе и думал не об этом. Думал о том, что и архитектура, пожа-

луй, не главное в его жизни, что слишком много времени затратил он попусту, что ему надо было давно заняться всерьез стихами и что уж теперь из того, что написано им, разбросано по газетам, журналам, затеряно в черновиках, получилась бы книга.

Иногда он вспоминал свои стихи, думал о них.

Нет, не то... Вымучено, заумно. Нет той прозрачности, какой пленяет истинно народная поэзия и к какой должно стремиться поэту.

Начинал думать о проекте, работу над которым прервал два дня назад, и мысленно разглядывал уже свои чертежи, возвращался к расчетам, выкладкам, и, вспомнив что-нибудь из того, что казалось ему удачным, вдохновлялся и по своей давнишней привычке вскакивал, готовый куда-то бежать, прыгая через три ступеньки, перемахивая перила, хлопая дверьми.

Призывники с удивлением глядели на его длинное веселое лицо, на его выбритую до синевы голову; и он приходил в себя, вспоминал, что бежать некуда и незачем, и в его больших черных глазах появлялась скука.

На одной из сибирских станций — маленькой, не приметной — Ратникова, а с ним еще нескольких призывников сняли с поезда и пересадили в большой вертолет, и вертолет поднялся в воздух и взял курс на север. Они летели долго, а внизу, насколько хватал глаз, простиралась безлюдная, однообразная местность — густо покрытые лесами низкие плоские горы. Глядя в окно, Ратников чувствовал легкий холодок в груди и думал о том, что если вертолет потерпит аварию — его никто и никогда не найдет...

Неожиданно пошли на посадку и очутились в аэропорту, если можно было назвать этим словом большую поляну с просторным, бревенчатым домом, высокой металлической антенной и длинным сараем из рифленого железа. И дом, и вышка над домом, и антенна, и сарай — все было поставлено на самом краю поляны, под соснами, и все было выкрашено в бледный зеленовато-серый цвет, а вокруг поляны, за деревьями, видны были все те же низкие лесистые горы.

Аэропорт был маленький, но здесь один за одним непрерывно приземлялись и взлетали огромные вертолеты, из леса выходили тяжелые грузовики, и хитроум-

ные механизмы перекладывали грузы из пузатых фюзеляжей в кузова, а из кузовов в фюзеляжи, и над поляной стоял вечный грохот.

Отсюда призывников повезли в небольшом автобусе по узкой бетонированной дороге с односторонним движением. Над дорогой почти сплошь смыкались кронами кедрачи и сосны. Иногда среди стволов видна была другая дорога, по которой то и дело проходили встречные машины.

Часа через два миновали небольшой город, а еще через час въехали в ворота военного лагеря. И город, и лагерь этот поразили Ратникова своей необычностью. Город был молодой (оказалось потом, он не значился ни на одной, даже самой подробной карте), и лагерь, судя по постройкам, тоже выстроен был недавно, но и в городе, и здесь строили не так, как обычно строят, как строили тресты, в которых Ратников проходил курсовую и преддипломную практику. От бульдозериста до управляющего, в тех трестах всех поджимал план, и там никто не считался с тем, что было до их прихода на том месте, где они строили. На сотни метров вокруг каждого дома экскаваторы, самосвалы, бульдозеры коржили, ломали, выкорчевывали деревья, срезали дерн, перемешивали землю с битым кирпичом, бетоном, трубами, проволокой, а потом уж, когда сдавались дома жильцам, приходили озеленители и на месте бывших лесов, фруктовых садов и лугов сажали в густо нащипованную камнем и железом землю жиденькие тополя и липки, насыпали сверху растительный грунт и засевали травы.

Здесь же, и в военном лагере, и в самом городе, строители не срубили, не выкорчевывали ни одного лишнего дерева — толстые сосны, березы, кедры стояли посреди тротуаров; выложенные плитками дорожки, асфальтированные улицы, извиваясь, текли между высоченными стволами; деревья вплотную подступали к домам, нависали над крышами, лезли ветками на балконы и в окна...

Когда автобус остановился, из него первым выскочил Ратников. Огляделся, потер руки и захохотал. Он радовался, что здесь строят именно так, как мечтал строить он, сохраняя нетронутым в природе все, что можно сохранить, чтобы дома, улицы, кварталы ново-

строек вырастали среди гор, лесов и полей, естественно вписывались в ландшафт, не ломая, а подчеркивая первозданную красоту природы.

Каждое утро их увозили на автобусе работать. Уже на месте они переодевались, натягивали белые поблескивающие комбинезоны с кассетами на груди, которые могли отсчитывать радиацию, и в этих чистых хитрых комбинезонах выполняли обыденные и совсем не хитрые, ручные работы.

Как попал сюда Ратников? Быть может, по неведению какого-нибудь военкоматского служаки, который решил, что уж раз Ратников архитектор, то и строитель, и зачислил его в одну команду с этими парнями? А быть может, ошибки никакой и не произошло: здесь нужен был архитектор и сюда направили служить Ратникова, но как раз перед этим прибыл сюда выпускник архитектурного института и занял место, которое на целый год, а может быть, и на больше предназначалось Ратникову?

Архитектором была девушка. Он не раз видел ее. Она постоянно ругалась со строителями; глазом припадала надолго к нивелиру, отрывалась и быстро-быстро говорила что-то, сердито размахивая руками и показывая вокруг. Ратников понимающе улыбался ей и останавливался, она глядела на него, как на всех, кто шел вместе с ним в строю с кирками, лопатами и ломami на плечах, и думала, наверно, что он нахал, и отворачивалась.

Иногда Ратников работал у объектов, допуск к которым был ограничен по времени, и тогда, в ожидании автобуса, остаток дня проводил в лесу — часами лежал, глядя в небо, или слонялся без дела.

Раньше он злился и от нетерпения обкусывал на руках ногти, если приходилось бесполезно терять минуты, теперь же он был спокоен. Ему целый год предстояло быть здесь и не по желанию, а по долгу здесь строить, расширять, а главное, углублять этот неизвестный ему доселе город. Углублять потому, что все наиважнейшее, что делали в этом городе и ради чего он был выстроен, — все это находилось глубоко под землей, в скалистых отрогах низких плоских гор.

Это он знал хорошо. Уже не раз лифт увозил его под землю, щелкал и щелкал, отсчитывая этажи, а когда

останавливался, то оказывалось, что опускаться можно было еще глубже. Однажды ему пришлось все-таки работать на самой большой, как он думал, глубине, потому что лифт дальше не шел. И там, как на всех этажах, из лифта они вышли в бесконечно длинный, ярко освещенный тоннель со сводчатым потолком, но, в отличие от других этажей, в стенах тоннеля не увидели рядов пронумерованных металлических дверей, ведущих в бессчетные боксы; вдоль стен тянулись трубы, трубочки, провода, кабели всевозможных размеров и расцветок. Там они работали весь день, меняли какую-то черную трубу, устанавливали на трубе вентиль, а ниже его — отстойник. Когда работа была окончена, их попросили промыть из шланга тоннель. Для стока воды они открыли в полу люк. Через люк слышали, что там, внизу, куда, казалось, никогда не проникал человек, время от времени с тяжелым гудом проходили машины.

Ратников тогда восторженно сказал:

— Будто в фантастическом романе!

Все вокруг засмеялись и склонились к колодцу, прислушивались, выжидая, когда в неведомой глубине пройдет с гудением таинственная машина, а потом многозначительно глядели друг на друга и подмигивали.

С этого случая началось сближение Ратникова с сослуживцами.

Всю свою жизнь Ратников собирался проектировать и строить больницы, дома, школы, дворцы культуры, но теперь гордился, что хоть немного причастен к расширению и углублению этого города.

2

Громкий голос женщины за кустами сирени заставил Ратникова очнуться.

— Господи! Какая на него надея! Разве поможет в чем! Винища-то накупили — разве утерпит. Залил спозаранку бельмы, весь день прикладывался, до сей поры гармошку истязает.

Ратников услышал, что гармошка все еще пиликает. Другой женский голос спросил певуче:

— Аль забежать, чем помочь?

Громкий ответил:

— Завтре. Прибеги с утра. Можешь если, пораньше. Гостей-то понаедет, а где рук взять? Все надо, все надо, и не как-нибудь. Ухомуталась — не приведи господи! Ноги гудят, ровно столбы телеграфные.

И опять певучий голос:

— И не сказывай. Прибегу — прибегу с петухами. Свадьбу сыграть, да по нынешним запросам, дело не шутейное. Городские понаедут, а у них глаз вострый — то положено не так, то не там.

— Вот-вот-вот! Что и страшно! Ославят после — сраму не оберешься. Кабы свои только, кабы деревенские, тут и забот мало.

Опять что-то ответила женщина с певучим, мягким голосом, но Ратников больше не слушал. Он закрыл окно и лег на диван. Небо, еще пронзительное, синее, пробуравилось редкими звездами, и ему легко было представить себе, что внизу, там, где город оплетает горизонт сверкающим ожерельем, густо светятся, мерцая и перемигиваясь, разноцветные огни.

3

Когда пришла зима, горы будто приблизились — со всех сторон горбились белые холмы в обрешетке черных деревьев. В пасмурные дни от земли поднималась морозная стылая мгла, затопляя долины, и пади, и ершистые, плоские вершины сопок — близкие, четкие, серые и однообразные — надолго зависали над серой туманной мутью. В ясную безветренную погоду мороз и солнце высушивали воздух, изморось хлопьями опадала на деревья, на землю, иней застывал неподвижно в ослепительном блеске, и в прозрачной тишине за километры был слышен скрип снега.

Зима, однако, ничуть не изменила жизнь Ратникова. Его по-прежнему каждое утро отвозили на работу, и, хотя белый защитный комбинезон он натягивал теперь поверх теплой одежды, Ратников по-прежнему вместе с другими, такими же, как он, людьми в белом выполнял все те же нехитрые работы.

И в тот день они вылезли из автобуса и, переодевшись в раздевалке, выстроились в своих белых робах, ожидая, когда им объявят задание. Они стояли, переминаясь с ноги на ногу, и смотрели на лейтенанта, который

в этот раз сам приехал с ними, а теперь неторопливо расхаживал перед строем и все чего-то ждал. Утро только что наступило, кружась, падали сверху снежинки, стоять было не тягостно и не холодно, но они с недоумением переглядывались, не понимая, чего ждут.

Наконец подкатили три новенькие, сверкающие лаком и никелем «Волги». И хотя из машин выбрались люди в штатском, лейтенант скомандовал: «Смирно!» — и подскочил к ним с рапортом. Один из приехавших, в легком, не по сезону, пальто, шляпе и тонких ботинках, махнул лейтенанту рукой.

— Отставить! Отставить!

И повернулся к нему спиной.

Потом штатские развернули схемы и какое-то время совещались, ориентируясь, сопоставляя схемы с местностью. Наконец тот, что говорил лейтенанту «отставить», отошел от других в сторону, к торчащей из земли трубе, и, отмерив от нее шагами десять метров, остановился, примял снег тонким ботинком:

— Здесь.

К нему подошли остальные. Снова склонились к схеме и опять сориентировались по местности.

— Да,— подтвердил высокий дородный мужчина, одетый во все теплое, с опущенными ушами ондатровой шапки.

Мужчину в шляпе Ратников узнал. Он уже видел его в городе. Уши, лицо того налились на морозе малиновым цветом. Ратников расслышал, как тот сказал:

— Такое случается раз в тысячу лет.

— Да,— подтвердил человек в ондатровой шапке.— Не чаще. Но в нашем деле и это надо учитывать.

Мужчина в шляпе промолчал, отыскал взглядом лейтенанта и кивком подозвал его. Лейтенант снова подскочил и вытянулся перед ним в струнку, приложив руку к шапке. Мужчина поморщился, снова махнул рукой.

— Отставить.

И начал что-то говорить лейтенанту, показывая затянутой в перчатку рукой то в землю, то назад, где за ним возвышалась гигантская и глухая бетонная стена, уходящая по кругу в обе стороны.

— Слушаюсь,— громко произнес лейтенант и снова поднес руку к шапке.

Человек в шляпе повернулся и молча пошел к маши-

не. Другие в штатском последовали за ним. Остался только один, одетый в волчью доху и унты. Захлопали дверцы машин, и «Волги», увязая в снегу, с трудом развернулись, покатали прочь.

Тот, что остался, чтобы привлечь к себе внимание, похлопал меховыми рукавицами, потом сказал, ни к кому не обращаясь:

— Сейчас разобьем трассу и начнем рыть траншею. Траншея будет не совсем обычной — глубина десять метров. Понятно?

В строю молчали.

— Грунт промерзший, скалистый. Работа большая, народу здесь будет много. Задание срочное, ответственное, а у вашей группы оно особое. Понятно?

— Понятно, — сказал одинокий голос.

Человек в дохе повернулся к лейтенанту:

— Понятно?

Тот козырнул.

— Так точно.

4

Их группа начала долбить грунт там, где тот человек в шляпе мят снег тонким ботинком и говорил: «Здесь». Место это было метрах в пяти от бетонированной стены, но когда они достигли нулевой отметки, то наткнулись там, на десятиметровой глубине, опять на эту стену, косо срезанную кверху и уходящую в обе стороны по дуге. И они стали вгрызаться в толщу бетона, прорубая тоннель высотой в рост человека. Это была совсем узкая щель, в которой едва помещался лишь тот, кто работал с отбойным молотком. По правую руку часть бетона тщательно зачищалась, и на гладкой поверхности сперва отмечались метры, потом — сантиметры. С каждым днем увеличивалась глубина, на которую они въелись в бетон, и с каждым днем уменьшалось время допуска к работе в тоннеле и все чаще менялись пары, работавшие там.

А потом наступил день, когда оказалось, что траншея уже пробита во всю длину и по всей траншее и в бетонном тоннеле с красными отметками на зачищенной стенке проложена тонкая чугунная труба. В тот день предстояло пробить насквозь бетон и вставить в отвер-

ствие последнее звено трубы. В тот день и случилось все это. В тот день...

«Я сам, сам вызвался тогда,—думал Ратников.— Сам... И не надо жалеть об этом... Не надо. Не я, так другой кто-то вызвался бы... А почему другой?..»

Ратников лежал, вспоминая тех, с кем служил в одной роте. Вспоминал их лица, голоса, улыбки и думал о них.

Балан-Сэнгэ из Бурятии, низкорослый, застенчивый, мечтал вырастить особого какого-то барана, и когда говорил об этом, щелочки его глаз блестели... Туляк Андрей любил показывать фотографию конопатой девушки — своей жены... Иван из Астрахани хвастался сыном — тоже снимок показывал: «Четыре кило!..» А башкир Ишбулды плакал, когда рассказывал о своей больной матери Бибинур...

И Шалва Хуцишвили мог первым вызваться. Он бы тогда впереди был...

Б

Ратников поднялся и снова открыл окно. Сквозь сирень видны были огни города — в одном месте черной горой их закрывал дом Матвея Уколова.

С наступлением вечера деревенская улица ожила. Игнат Великанов все еще терзал гармошку, но звуки ее заглушались голосами и смехом, доносившимися с другого конца деревни. Оттуда же слышалась ритмичная музыка — гитары, ударник и контрабас: дум-дум, дум-дум, дум-дум...

Кто-то убавил громкость транзистора, послышался визг и хохот, наступила кратковременная тишина — лишь Игнат Великанов упорно пытался преодолеть сопротивление инструмента, — и веселые девичьи голоса запели песню, которая уже с полгода была у молодежи самой популярной, но которую Ратников слышал впервые.

Снова раздался визг — песня оборвалась, и опять понеслось по деревне: дум-дум, дум-дум, дум-дум...

И музыка, и голоса стали приближаться. Вот уже оркестр думкал под окном. Кто-то повернул рукоятку громкости до отказа, на полную мощь и вдруг выключил приемник.

По сдержанному смеху, приглушенным голосам и звонкому шепоту Ратников определил, что за кустами сирени остановилась целая гурьба парней и девчат.

Что-то сказал насмешливый баритон, девичий голос ответил громко:

— А чегой-то я у них не видала?

Опять что-то сказал баритон, в ответ раздалось задиристое:

— Вот еще!

Грянул хохот. А из хохота послышалась песня:

Будут наши свидания сладки,
Будет весел родительский дом,
Вы солдаты — мы ваши солдати,
Вы служите — мы вас подождем.

Скрипнула калитка, слышались медленные, тяжеловатые шаги — кто-то шел к крыльцу.

Ратников захлопнул окно и зажег свет.

«Почему другой кто-то должен был идти тогда?.. Каждый живет один раз, каждый о своем мечтает... И зачем думать об этом? Зачем вспоминать?..»

Глава VII

1

Проведать Ратникова явился сосед, которого на деревне звали Федей-Старателем. Это был щуплый, сутулый и хрипатый мужик с носатым иссеченным красными прожилками лицом.

— С праздником, тетка Настя! — сказал он от порога и закашлялся.

Тетка Настя замахала руками.

— Тише ты! Тише! Спит.

Ратников вышел из горницы.

— Здравствуй, Федя.

— А-а! Здорово! Здорово! Вот он — служака. — От Федей-Старателя разило куревом. Он протянул Ратникову жесткую руку с подогнутым мизинцем и снова закашлялся.

— И отоспаться не дадут, — сокрушалась тетка Настя. — Разбудили...

— Нет-нет, — сказал Ратников. — Я не спал. Так... валялся. Входи, Федя.

Федя-Старатель закивал всем туловищем и переступил порог горницы. Присел на табуретку.

— Только со смены. Узнал про тебя — думаю, проведать надо.

Ратников тоже сел.

— Отслужил? — Федя-Старатель оглядел Ратникова, его гимнастерку, кашлянул и полез в карман. — Быстро больно что-то... Хотя не свое дело всегда скоренько делается.

Он протянул Ратникову пачку сигарет, тот покачал головой.

— Не куришь? А я вот никак не брошу. Кашель бьет — спасу нет, а никак не брошу. Уж и не пытаюсь.

Он прижег сигарету и с хрипом затянулся, вдавив щеки.

— В пехоте служил?

— Нет, — сказал Ратников, — в строительных войсках.

— Да ну! — Федя-Старатель беззвучно посмеялся, пуская ноздрями дым. — Я тоже, чай, сапер. Всю войну... — Он показал задубелую ладонь с подогнутым мизинцем: — Нашими-то руками земли перекопано! Тыщи тонн, наверно. А мостов поставлено! А взорвано! Больше, поди, чем поставлено.

Он опять посмеялся, надолго зашелся в надсадном кашле.

— Вот зараза. И не куришь — кашель, и куришь — кашель. Все думаю, может, не в табаке дело?..

Тетка Настя уже хлопотала, накрывая стол. Федя-Старатель ни разу не взглянул в ее сторону. Глаза его, в таких же, как и лицо, красных прожилках и с красными набрякшими веками, казались сонными, ко всему безразличными, но когда тетка Настя выставила на стол квашеную капусту и только что купленную поллитровку, он почмокал губами, сказал неуверенно:

— Ну, пойду, что-ли.

— Погодь, погодь. — Тетка Настя провела по его сутулой спине рукой. — Чай, ты для нас как родной. Без тебя и плетни бы позавалялись, и без дров бы я насиделась. Лидуху сейчас кликну.

Федя-Старатель покашлял и промолчал.

Тетка Настя покопалась в ящике комода и протянула Ратникову лампочку.

— Смени-ка, сынок. Повеселей будет.

Ратников взобрался на табурет. Обжигаясь, вывернул помигавшую лампочку и ввернул новую. Вспыхнул яркий, праздничный свет.

— Вот оно и получше,— радостно сказала тетка Настя. Прищурясь, полюбовалась новым светилom и зашаркала по полу ногами, поплелась в сени. В сенях хлопнула дверь и тотчас раздался веселый женский голос:

— А я уж мужика-то свою разыскивать пошла, загостюет, думаю, без меня мужик-то.

В горницу вошла Лидуха, жена Феди-Старателя, статная женщина с желтоватым круглым лицом. Лидуха озорно щурила глаза и морщила короткий нос:

— Ну, здорово, солдат! Соседи-то у тебя каковы! Не дождались, дочь на сторону сплавили.

Лидуха поцеловала Ратникова в щеку и села рядом с ним. Отстранясь, вгляделась в его лицо и осуждающе покачала головой. Выждав немного, затараторила:

— А помнишь, тетка Настя, как мы с тобой порешили: Валюха моя — невеста твоему сыну? Да нынче-то молодые сами себе невест, женихов выбирают. В одну школу бегали, институты позаканчивали — чем не пара? Нет, не сошлись.

Лидуха толкнула Ратникова плечом, подмигнула.

— Привез бы с собой сибирячку. Что уж ты?

— Не догадался,— сказал Ратников.

Лидуха засмеялась. Кхекал Федя-Старатель, кривя рот в усмешке. Мать глядела скорбно.

— Не забудь пригласить на свадьбу-то,— сказала Лидуха, когда Ратников налил стаканчики, и первой чокнулась с ним.

Федя-Старатель выпил и, не закусывая, полез в карман за сигаретами, закурил.

— Саперы все так же лопатами орудуют, топорами тюкают?

— Техники полно,— сказал Ратников.— Вручную мало что делается.

— Оно конечно,— Федя-Старатель затянулся дымом,— теперь везде техника. Мы-то с Лидухой на заводе — само собой, а и в колхозе теперь техника. Машинами и стригут, и доят, и... Хотя без рук все одно не обой-

дешься. В посевную да в уборочную полгорода, считай, в колхозы вывозят.

— Вывозят,— посмеиваясь, подтвердила Лидуха,— и рабочих, и студентов — всех поголовно. Конторы-то разные, управления всякие и то иной раз все позакрыты — на уборку, как на фронт.

Тетка Настя, глядя на сына, пояснила:

— А что, есть-то всем надо.

Федя-Старатель все тянул дым, кхекал и кивал.

— Плохо ли теперь в колхозах,— сказала Лидуха,— за них посеют, за них пожнут — живут на дармовщину.

Федя-Старатель открыл рот, показывая, что смеется, и сипло спросил:

— Может, в колхоз вернемся?

Лидуха, откинувшись назад, громко засмеялась, замахала руками:

— Чай, не дурные! На заводе как? Смену отработал и — дело в шляпе, а в колхозе в страду и по нужде отлучиться не улучишь минуты.

— На дармовщину зато.

— На дармовщину! — рассердилась вдруг Лидуха.— Каждую морковину, каждого куренка надо вырастить, выходить — какая уж тут дармовщина! Это со стороны гляючи — дармовщина.

Федя-Старатель все кхекал и кривил в усмешке рот. Ратников наполнил стаканчики.

— А что ему эти наперстки,— сказала мать и пододвинула к Феде-Старателю граненый стакан.

Лидуха, улыбаясь, запротестовала для вида:

— Будя, будя с него.

Ратников налил полстакана водки. Федя-Старатель поднял стакан, поглядел на свет, крикнул.

— Будем здоровы.

И, двигая кадыком, гулькая, медленно выпил. Поднес было ко рту сигарету, но курить не стал, сморщился и подцепил на вилку лист прошлогодней квашеной капусты.

Лидуха, глядя на мужа осуждающе, качала головой, а сама улыбалась.

Федя-Старатель с хрустом растер желтыми зубами капусту, двинув кадыком, проглотил и опять задымил сигаретой.

«С какого он года? — подумал вдруг Ратников. — Ей лет сорок пять, а ему? Сорок пять, пятьдесят пять?»

Сколько помнил Ратников Федю-Старателя, тот, казалось, всегда был одинаков. И пять, и десять лет назад он был все такой же сутулый, хрипатый и хилый, его все так же бил надсадный кашель, и всегда думалось, что жить ему остается недолго и уж совсем недолго остается ходить; а Федя-Старатель, будто дал зарок раньше всех вставать и позже всех ложиться, изо дня в день, из года в год, кашляя, кхекая и беззвучно посмеиваясь, все ковырялся и ковырялся возле своего дома с темна до темна.

Изредка напивался. И тогда на всю улицу слышно было, как в доме его начинался гвалт — то крики и плач, то хохот, что-то гремело, разбивалось с дребезгом. А потом все стихало. На улице появлялась Лидуха. «А мой-то, мой-то, — говорила она, счастливо улыбаясь, — наклюкался. До чертиков. Идол поганый. Домой доволокла насилу. Уж я его, уж я костила — да что проку? Как с гуся вода — завалился и храпит, индо пузыри пускает...»

Ратников из вежливости спросил:

— Сами как живете?

— Сами-то? — переспросила Лидуха. — Сами-то — хорошо. Теперь что не жить: Валюха на свои ноги встала — и образованная, и с мужем... Наденка в кулинарном училище, закончит нынче. Повар — век сыта. Ну, а об сыне и завсегда забот не было, были б руки-ноги, сын завсегда о себе позаботится. В техникуме Юрка-то. Поступил в механический.

Лидуха передохнула, оглядела стол.

— Теперь, Серега, всем жить можно. Войны б только не было. Взять, к примеру, тетку Настю. Ты явился, а у нее — и винцо, и колбаска. А откуда? С одной пенсии.

— Кто бы подумать мог, — как бы сокрушаясь, сказала мать, — в деревнях пенсии...

Лидуха засмеялась.

— Не беднись, не беднись. Пенсию эту деревня кишками нажила. Уж голодали-голодали, голодали-голодали! Голода такого деревня и не видывала. Все подчистую отдавали, все до зернышка.

— Война была, — сказала мать.

— А после войны! — Лидуха весело всплеснула руками. — И после войны всяко бывало!

Мать склонила голову.

— Так оно так, а только и прежде случались голодные годы. Случались неурожаи — деревни поголовно вымирали,

— То неурожаи, — заспорила Лидуха, — стихия.

Мать чуть слышно промолвила:

— Так оно так, а только о пенсиях, бывало, в деревнях и не слыхивали.

Лидуха хлопнула себя по бедрам.

— Ты что равняешь, тетка Настя! То свое было время, а то — свое! Теперь и спрос другой... Жизнь другая. У Федосеевны, слыхала, рези внутри начались? Слыхала? К доктору фельдшериха направила, а доктор и говорит: «Камни, мол, там внутри у тебя». — «Откудова камни?» А теперь, говорит доктор-то, у всех камни. Мяса есть меньше надо. Слыхала? А кто без мяса теперь за стол сядет? Ну-тка я своему каше наготовлю да без мяса! Так он мне тарелку в физиоморду кинет.

Федя-Старатель, довольный, раскрыл рот.

— Видала? Видала? — Тыкала в него пальцем Лидуха. — Ни один мужик за стол нынче без мяса не сядет. Ни один! А ты равняешь.

— Оно так, — сдалась наконец мать. — Мяса-то, бывало, меньше ели. То кабана колоть время не вышло, а в лавку не побежишь — на своем жили, а то постились — тоже без мяса.

— Так что кишками, кишками деревня пенсию нажила, — сказала Лидуха. — И в войну и после.

— И после, — согласно кивнула мать.

— И после, — сказал и Федя-Старатель. — После-то хуже всего было. Миру дождались, войны нет, а жить худо.

— Худо, ох худо! — подтвердила Лидуха. — Хорошо помню — худо.

— Тут, в вашей деревне, тетка Настя, — сказал Федя-Старатель, — тут еще можно было жить — город рядом. И рынок тут, и подработок тут.

Мать в раздумчивости повела головой, не ответила,

Наступила недолгая тишина. Каждый о своем думал. А тетка Настя взглянула украдкой на сына, и сердце ее сжималось: «Что худой-то? Худой-то что?! Так бы и баюкала, так бы и пестовала, как маленького!»

И глядя на сына, вспомнила тетка Настя, как нянчила, как годовала его в трудные послевоенные годы, как рвалась, как металась между люлькой и колхозным двором, как болела тогда душой...

Ревели в стойлах коровы и, ослабнув вконец, сваливались — под брюхо подвешивали коров к балкам... Свиньи, как псы, поджарые, злые, ошетинаясь, кидались друг на дружку, грызли стойла и стены.

Глядела на все это, и слезы душили. Но там, на скотном дворе, не плакала — некогда было плакать, а выпадала свободная минута — бежала по деревне к своей избе, к люльке сына.

Боялась, боялась судьбы. Снились каждую ночь маленькие струганные гробики — вскакивала, кидалась спросонку к колыске... И потом уж не спала. Плакала об Алексеиче и молила, молила судьбу сжалиться, не напускать хворь на сына.

Вырастила. Хоть и холодно было, голодно...

Война отодвигалась все дальше, а жизнь в деревне налаживалась трудно. Разруха была — в зачет колхозникам так и шли голые трудодни. И то сказать, привыкли к такому, и не жаловались, и к себе самим жалости не было. Скотину жалели, по ней плакали.

Сколько раз думала уйти на заработки, сколько раз собиралась покинуть деревню, так и не собралась... А уходили другие.

За всю войну никто не сбежал из колхоза. Никто и не помер. А тут помирать стали. Всеми правдами и неправдами выправляли паспорта, разъезжались, расползались по свету — так и отпочковалась их деревня от колхоза...

Одно время совсем обезлюдела. Случалось, когда помирал кто, некому было и хоронить убитых трудными годами и одиночеством стариков. Долго стояли заброшенными их осиротевшие, никому не нужные дворы.

Теперь все наладилось. Нашлись дальние родственники умерших, побросали свои деревни, заселили пущу.

ющие здесь дворы и устроились работать в городе. Вот уж сколько лет стоит посреди колхозных пашен чужеродное колхозу поселение.

— Только бы войны не было,— сказала тетка Настя.— Только бы не это — все ладно будет, все...

И глядела, глядела с болью на сына: «Что худой-то? Худой-то что?!»

4

— А как сады вырубать пришлось,— сказал Федя-Старатель,— так мы деревню свою и кинули, к вам перебрались.

Лидуха охнула, схватилась за щеку, закачалась, будто у нее заломило зуб. Вспомнила, видно, деревню, в которой родилась, в которой провела свою молодость; вспомнила, как выла, будто на похоронах, когда Федя валил сад — топор его стучал, как в живое, в розовое тело яблонь, груш, вишен...

Этим же топором после вбивал ржавые гвозди — заколачивал старым горбылем окна избы, в которой собирались жить вечно.

Глядели потом из кузова увозившего их грузовика на кинутый этот дом, на порубленный сад...

— А своя деревня травой заросла,— сказал Федя-Старатель.— Избы заколочены, бани порушены, скотный двор сожгли.

— Ну, будя, будя,— остановила Лидуха.

Ратников опять налил всем водки, показал Феде-Старателю глазами на стакан, и тот поднял стакан, поглядел на свет.

— Будем здоровы.

Опять жевал капусту.

— Да, что уж это! — сердито сказала тетка Настя.— Закусил бы. Колбаски возьми. Купила. Аккурат привезли в лавку. Или вон яишенки. С салом. Лидуха! Подложи-ка ему.

Лидуха захохотала:

— Ты что, не знаешь его? Завсегда так: пьет и не закусывает, пьет и не закусывает, капустку грызет, как козел Пелагеин.

Тут Лидуха и тетка Настя засмеялись. Выражение это — «Пелагеин козел» — с давних пор вызывало в деревне смех, хотя толком никто и не мог сказать, что оно значит.

Федя-Старатель обмяк, совсем сгорбился. Не обращая внимания на женщин, глядя сонными глазами куда-то под стол, покашливая и умолкая надолго, заговорил вдруг чуть слышно:

— Теперь-то жить легко. Вольно. Хочешь хозяйством обзавестись — помех никаких. Наоборот даже. Кормами тебе помогут. Случка нужна коровенке — веди... Ан нет — время вышло, коров не держат. В магазинах молоко. И недорого. А кто в колхозе работает или от колхоза пенсию имеет, как тетка Настя, к примеру, тому чуть ли не даром молоко на дом возят... А давно ли по-другому все было? Лет семь тому, что ли?.. Меня-то и по милициям таскали, и по судам — вор. Помнишь, поди, Серега, славу мою?.. А дети в самом росту были — молока только дай...

— А без молока, все знают, дитю не вырасти, — встала Лидуха, — что мальчонка, что девчушка без молока хилой будет, худосочной, что росток в погребе.

Федя-Старатель затянулся дымом.

— А как было продержат коровенку? Тайком, по ночам на всю зиму сено собирали. Ночь ждешь потемнее, поглуше. Лучше чтоб дождь. С мешком да с серпом шасть в лес, выкубаешь по кустикам, так, чтоб и днем никто не приметил убытка... Огород-то свой все лето обкашивали. Чуть отрастет травка — тут ее и срежешь, лесное-то сено присыпешь сверху — свое, мол, с огорода. А какое там!..

Лидуха засмеялась, махнула рукой:

— Чего уж вспоминать. Было — быльем поросло.

Федя-Старатель покашлял.

— Лет сто назад творилось бы такое, не вспомнил бы...

Ратников вылил в стакан Феди-Старателя остатки водки и, когда тот выпил и опять заел капустой, спросил:

— Теперь у вас что за хозяйство?

— А-а! Хозяйство!

Федя-Старатель захмелел, голова его тряслась. Похекав, он проговорил невнятно:

— Поросянок, огород, куры.

— Без дела не сидит, — сказала мать, — Как ни по-

глядишь, все хлопочет. Без земли не может. Сад поса-
дил.

— Посадил.— Лидуха захохотала и хлопнула себя по бедрам.— Теперь и топчется вокруг яблонь, как кочет вокруг наседок.

Федя-Старатель поднял руку, собираясь что-то сказать, его качнуло, и он, удерживаясь на табуретке, уцепился за стол, сволок скатерть.

— Э-э! Готов! — весело сказала Лидуха.— Наклю-
кался.— И поднялась: — А ну, пошли!

Федя-Старатель скрипнул зубами, процедил:

— Н-нет! Пот-толковать н-надо.

— Я те потолкую, идол! — миролюбиво сказала Ли-
духа.— Закусывал бы. Чай, не напиваться пришел, а
наклюкался.

— С-с С-с-серегой... С-с С-серегой пот-толковать...

— Как же! До смены тебе отоспаться надо. Пошли.
Лидуха подхватила мужа под мышки, приподняла.
Голова Феде-Старателя мотнулась, он мутным взгля-
дом отыскал Ратникова, улыбнулся сонно и виновато:

— Пот-т-толкуем еще. С-с-с-троители — это о-о!
Война!..

Федя-Старатель что-то бормотал пьяно, а Лидуха та-
щила его из горницы, добродушно-сердито приговаривая:

— Тоже строитель. Яичный бы отвар тебе пить, а не
водку. Не цепляйся. Ползи уж! Ползи! Идол.

— Нутро у него такое,— сказала мать,— он без де-
ла не может. Напьется — тогда и передохнет только, вот
Лидуха никогда и не перечит: пьет — ну и пей, отоспит-
ся после.

— Где он работает?

— А кто ж его знает. На заводе где-то. С Лидухой
вместе.

Тетка Настя охотно стала рассказывать о Феде-Ста-
рателе, о Лидухе, но Ратников уже не слушал мать. Те-
ло его обмякло, глаза слипались — сморила внезапная
обморочная какая-то усталость, он с трудом удержи-
вался, чтобы не упасть на диван.

— Мама,— чуть внятно проговорил он,— спать...
Я хочу спать... На сеновале. Давно не спал на сеновале.

Мать засуетилась:

— А, господи! Спи! Хочешь — так спи! Я ж рази пе-
речу? Как лучше хотела!..

Глава VIII

1

После полуночи прошла над деревней гроза. Ратникова разбудил трескучий разломистый гром. Гром валко прокатился над домами и оборвался. Было темно и тихо. Так тихо, что Ратников расслышал, как где-то в дальнем углу сеновала копошится в сухих стеблях букашка. Он попытался определить время и не мог. Гром раз за разом треснул над крышей, еще и еще, загремел в отдалении, как будто над старым, заросшим муравой выгоном, и, добродушно рокоча, стал перекатываться от деревни все дальше и дальше. Рванул ветер и стих. Ударили по крыше редкие, крупные капли, учащенно застучали, зашумели, и пролился на землю ровный спорый дождь. Под его шелест Ратников опять уснул.

2

Пробудился от крика петуха. Тотчас внизу скрипнула тихо дверь. Мать шепотом бранила петуха — петух с громким хлопаньем крыльев заметался по хлеву и выскочил в лаз, и со двора слышался вскоре его торжествующий клич и уже оттуда, со двора, приглушенный голос матери. Раннее, низкое солнце било в дощатую стенку, из щелей тянулись над сеном золотые паутинки света. Пахло свежим сеном. Мать не держала скотины, но каждое лето подкашивала потихоньку.

Ратников поднялся, слез по шаткой лестнице и вышел за ворота. Пырей у плетня, морковная ботва в огороде, перья лука, огуречные листья — все было мокрое, покрытое крупными каплями росы. Под вишнями лежала густая тень.

— Ах, бандит! — услышал Ратников сзади у себя. Обескураженная мать глядела на него виновато и скорбно: — Разбудил он тебя, поднял, шатун беспутный! Это Лидухин петух, это он за чужими курами таскается. Недоглядела я. Своего-то убрала, под ведро запрягала.

Ратников наклонился к матери, поцеловал ее в голову,

Умывался он во дворе, мать поливала ему из ковша. Потом они молча вошли в дом. Завтрак уже был готов. На столе дожидался зеленый салат, залитый сметаной, черный хлеб, нарезанный крупными ломтями, свежие огурцы, соль. На керосинке потрескивала сковородка — грелась на малом огне поджаренная колбаса. Мать прибавила огня и вылила на сковороду четыре яйца. На столе запузырилась, зашипела глазунья.

Пока Ратников ел, мать сидела напротив, по привычке уронив на колени немошные свои руки. Опять глядела на него встревоженно и скорбно.

— Разворошили вчерась старое, — сказала она. — Всю ночь ворочалась я. Думала.

Мать заковыляла к комоду, порылась в ящике, хотела, видно, вытащить амбарную книгу с фотографиями, но передумала, вернулась к столу, села.

— Сравнивала, когда лучше жить было, когда хуже...

— Ну и как? — спросил Ратников, подумал, что надо было бы ему переодеться в гражданское, и тут же забыл об этом.

— Хотела вспомнить, когда горше-то всего было, и не могла. Разное в голову лезет — и плохое, и хорошее.

«Вспоминает человек, — подумал Ратников, — чаще всего не то, что приятно ему или неприятно, а то, что памятно, то, что поворачивает жизнь в сторону...»

— Не спалось, не спалось нынче...

Опять говорила мать, опять вспоминала, перебирала в памяти и далекое, и недалекое — что приходило в голову, но Ратников не хотел ничего вспоминать, не хотел ни о чем думать, не хотел слушать. Лишь кратко, как вспышка, мелькнула в голове мысль о том, что мать за жизнь свою повидала много. Ходила в лаптях, пахала сохой, дивилась первым сельским машинам, а теперь смотрит по телевизору передачи из космоса.

Он подождал, когда мать умолкнет, чтобы передохнуть, и отодвинулся от стола, встал:

— Съезжу в город. Пораньше поеду. Платона Алексеевича, может, дома застану.

Опечаленная мать глядела на него так, будто опять прощалась с ним надолго. И хотя она не сознавалась

себе в этом, было ей обидно, что после долгих месяцев разлуки сын оставляет ее. Может, наскучила она ему со своими байками о старой, не нужной никому жизни? А может, о молодом молодой думает? То хорошо было бы...

4

И молча, сама с собой наедине, и вслух, когда был кто рядом, тетка Настя часто вспоминала свою жизнь и все, что было в этой жизни, и потому, может быть, все прожитое переболело в ней, и возвращалась она памятью к нему так, будто заглядывала в чужую жизнь — будто это и не ее носили в молодости резвые ноги по забытым теперь ручным работам и по гулянкам, будто и не она это млела, и не у нее заходило сердце от нетерпеливого ожидания и страха, когда видела она бывшего еще парнем будущего своего мужа Митю Ратникова, будто и не ее, а кого другого жадно ласкал он в их последнюю встречу...

Воспоминания ее были горько-сладкими, облегчали все же душу — заглядывая в свое прошлое, она грустила и смеялась, плакала и радовалась; а в это летнее утро, чуть обиженная на сына, она еще не знала, что к ней подступило вплотную, пришло уже то, что единым разом затмит в ее сознании все прежнее, что вчера еще и сегодня она прощалась уже со всем тем, что было в ее жизни до этих дней. Не знала, что скоро, совсем скоро все долгие годы ее прежней жизни потеряют для нее смысл, отступая перед вчерашним днем, перед сегодняшним днем, перед этим утром, — не знала, что именно в это время начало совершаться то, к чему будет она теперь до самого последнего своего часа непрестанно возвращаться памятью, забывая обо всем другом.

Глава IX

1

Лето выдалось жаркое. Но и дожди шли часто. И в знойные дни неделями висело над горизонтом влажное марево, и все зеленое в этой тепличной духоте тянулось вверх, впитывало соки земли и созревало. Уже к середине лета начали поспевать яблоки, и яблоками сразу

все пропахло в городе — электрички, такси, автобусы, узкие старые улицы.

И здесь, на задней площадке троллейбуса, сейчас стояли емкие корзины из зеленых ракитовых прутьев, заполненные крупным белым наливом. На каждой остановке с лязгом открывалась дверь; в троллейбус, толкаясь, лезли пассажиры; сверху откуда-то красивый голос вещал:

— Следует до «Буревестника», только до «Буревестника».

Многие, чертыхаясь, поворачивали назад, а тем, кто оставался, в глаза бросались сразу корзины с великолепными яблоками, и люди невольно улыбались Ратникову и его спутникам.

Явился Ратников к Платону Алексеевичу в восьмом часу утра, но дядю уже не застал. Он долго звонил, пока в квартире не послышалось торопливое шлепанье босых ног. Лязгнул замок, дверь открылась, и на него, солдата, с недоумением уставились две пары заспанных глаз. Раздался визг, и шею его обвили девичьи руки, и Люда с Надей повисли на нем, целовали в обе щеки, кричали, потом засмущались, а уже через минуту носились шумно по комнатам, выскакивали из ванной с мокрыми лицами, говорили, перебивая друг друга, насильно кормили его, сами ели кое-как, наспех, будто боялись куда опоздать.

После завтрака, ополоснув наскоро горячей водой посуду, стали звать Ратникова на весь день в сад и, как только он согласился ехать с ними, кинулись искать бумагу, карандаш, писать записку Ираиде Васильевне, которая вернется домой раньше всех.

Пока сбегали по лестнице и бежали потом к автобусу, говорили Ратникову про Платона Алексеевича, что он все такой же, что на работу надо ему ходить к девяти, а он уезжает и в восемь, и в семь, а сегодня — потому, что Ираида Васильевна заночевала у кого-то из знакомых, где кто-то чем-то болел, — он удрал, наверно, ночью.

В автобусе ехали на заднем сиденье, и меж домов опять, как вчера, мелькала синь. Люда и Надя без умолку говорили, и смеялись, и толкали его с обеих сторон в бока, Ратников молча грустно улыбался.

Отвык он от девичьего общества — теперь испытывал

к этим свежим, жизнерадостным девушкам необыкновенную, непривычную нежность и желание рассказать им все о себе. Все-все рассказать. Но он знал, что никогда и ни при каких обстоятельствах не сделает этого. Он печально улыбался девушкам и молчал.

2

В саду они провели весь день, но только здесь, в троллейбусе, Люда, закусив губу, хлестнула его по щеке длинными белыми волосами и, смеясь, сказала:

— Ты такой загадочный стал! На ланитах таинственная бледность, взор печален...

Люда весь день шаловливо задирала его, а Надя, черноглазая, смуглая, лишь изредка взглядывала. Иногда говорила мягко: «Перестань, Люда». Щеки ее тогда пунцовели, а ямочки на щеках то исчезали, то вновь появлялись.

Когда водитель в очередной раз известил: «Следует до «Буревестника», — Надя опять взглянула на Ратникова и проговорила:

— В «Буревестнике» новая кинокомедия с участием Луи де Фюнеса. Сходим? — Потупилась, ямочки на щеках исчезли.

Ратников кивнул.

— Соизволил согласиться, — сказала Люда. — Послушай, Сережа, что с тобой?

Ратников отвернулся.

— Ничего.

— Я, наверно, зря разболтала, что мы не сестры тебе?

— Перестань, Люда! — как и прежде мягко, но сердито сказала Надя.

— А что? Вот начнем ухаживать... — Люда покрутила головой и опять засмеялась.

Надя, зардевшись, потупилась.

Девушки были моложе Ратникова на год. Их обеих удочерил в младенчестве Платон Алексеевич, но это держалось в тайне, и они, все трое, вместе росли, и девушки считали Ратникова своим братом и не скрывали, что привязаны к нему и любят его. И он любил их. Любил сестер. Но сегодня девушки открыли ему тайну, которую только что узнали сами.

День был безоблачный, жаркий, и они часто бегали к реке. Спускались в овраг, по бревну, тонущему в студеной ржавой воде, переходили топкое дно, цепляясь за ветки ольшаника, выбирались наверх и бежали с километр лугом. Травы перестояли, мятлик луговой хлестал метелками по голым животам, ноги заплетались в мышином горошке, и однажды Ратников, запнувшись, растянулся, а Люда с хохотом набросилась на него.

— Попался! Надя, помогай! Сейчас мы накажем этого зазнайку!

Надя стояла рядом, покатываясь со смеху. Ратников сгреб их обоих в охапку, приподнял и понес к реке. Они колотили его руками и ногами, визжали; а когда он отпустил их, Люда сказала:

— А ведь ты нам вовсе никакой не брат. Знаешь? Не знаешь? А мы узнали. Нас, еще крохотных, папа удочерил. Взял чужих из детского дома и удочерил. Вот как.— Люда умолкла, подумала и рассмеялась: — В принципе, ты можешь... Мы можем...

— Люда, перестань! — мягко перебила ее Надя и стала вся пунцовая.

3

Когда-то они купались вместе совсем голышами и знали друг о друге все, и у них были свои тайны, которые они тщательно скрывали от взрослых; подрастая, они в своем маленьком обществе с детской непосредственностью все еще шептались о том сокровенном, что рано разъединяет обычно мальчиков и девочек. Изменялись их отношения постепенно и незаметно, и все-таки им долго еще казалось, что, если только захотят, они могут быть между собой во всем до конца откровенными. Но и это время прошло, за девушками давно ухаживали, и может быть, уже кто-то целовал их на студенческих вечерах в длинных темных коридорах института, и, оставаясь вдвоем, они, смеясь, вспоминали об этом, а Ратников уже давно был для них не только братом, но и представителем другой половины человечества. А в их возрасте, когда впереди оставалось еще столько неиспытанного и когда они узнали, что Ратников им вовсе не брат, их прошлая сближенность вспоминалась как что-то заманчиво неповторимое.

Тайна, которую открыла вдруг Люда Ратникову, не могла не взволновать его раньше, но теперь он лишь удивился этому необычному известию и, улыбаясь печально, уставился на девушек.

Надя кинулась бежать и первой бросилась в воду. А Люда, наоборот, отстала, долго поправляла упавшие с плеч бретельки купальника, закручивала на затылке в узел длинные волосы, но потом, будто стараясь убедить Ратникова, что отношения между ними ничуть не изменились, постоянно поддразнивала его.

— «Буревестник», — объявил водитель. — Дальше троллейбус не идет. Конечная...

Они выбрались через заднюю дверь, поочередно вынесли на тротуар тяжелые корзины. Солнце уже садилось, и в его боковом свете яблоки казались еще более крупными и как будто прозрачными.

— В кино пойдем сегодня? — глядя снизу вверх на Ратникова, спросила Надя. — На какой сеанс?

Ратников хотел сказать, что ему надо возвращаться в деревню, к матери, но Люда угадала его мысли:

— У нас переночуешь. Ничего не случится с тетей Настей.

— Переночуешь? — спросила Надя.

— Соскучились мы по тебе! Соскучились, — сказала Люда. — Не ломайся. И наших не видел!..

4

Их ждали и встретили в прихожей. Ираида Васильевна — полная моложавая женщина — стала целовать Ратникова, а Платон Алексеевич — большой, грузный человек, лицом отдаленно похожий на племянника, — стоял рядом, стучал его по плечу и посмеивался. Наконец и они обнялись. И тогда тетя с дядей стали разглядывать Ратникова.

— Ничего, возмужал, — сказал Платон Алексеевич, но Ратников заметил в его прищуренных глазах молчаливый вопрос и отметил про себя, что дядя почти не изменился, хотя, пожалуй, лицо его стало еще более отечным, одутловатым, да и седины в волосах прибавилось.

Ираида Васильевна не скрыла своего удивления.

— Из армии все приходят загорелыми, а ты... Писарем, что ли, служил?

Люда и Надя прыснули у него за спиной. Платон Алексеевич притворно цикнул на них.

— Прикажут — писарем будешь. Это армия. — Он хлопнул в ладоши: — Умываться! За стол! Проголодались?

— Как сто чертей! — закричала Люда, сбрасывая боножки.

— А та корзина, что в подъезде? — напомнила Надя.

— Принесете, — беспечно ответила Люда и побежала в ванную.

— Две корзины набрали? Молодцы! — Платон Алексеевич нагнулся, взял яблоко покрупнее, потер в руках и с хрустом откусил. — Хороши! Ну, тащите, тащите корзину и ужинать! Ужинать!

Стол уже был накрыт. Сыр, колбаса, окорок, бутерброды с черной и красной икрой, салат под майонезом и фаршированные яйца.

— Ничего не успела приготовить, — улыбаясь племяннику, сказала Ираида Васильевна и подняла к затылку полные руки, поджала шпильки в узел темных крашенных волос. — Вернулась, прочитала записку и на телефон села. Ты же знаешь, как Платона Алексеевича отыскать! Пока обзвонишь все каменоломни, карьеры, вечность пройдет.

— Ну, сегодня-то меня легко было найти, — возразил Платон Алексеевич, внося из кухни бутылки. — С обеда торчал на керамическом заводе.

— А в тресте сказали: «Поехал на третий кирпичный, а оттуда собирался на каменоломню».

— Правильно сказали. Я завернул по пути на керамический, а там — авария. — Платон Алексеевич поставил на стол коньяк и две зеленые бутылки сухого болгарского вина.

Люда и Надя, поглядывая заговорщически на Ратникова, уже таскали к себе на тарелки салат и жевали копченую колбасу.

Платон Алексеевич разлил коньяк.

— Ну, как сад? Разросся за год?

— Ограда развалится скоро, — сказал Ратников. — Укрепить надо.

— Правильно! А давайте-ка в воскресенье займемся. Поможешь? Завтра суббота — я занят, а послезавтра... Договорились? Ну, выпьем. За твой приезд!

Под смех Люды и Нади звякнули хрустальными рюмками и выпили. Девушки набросились на закуску, а Платон Алексеевич прожевал лимонную дольку и спросил, внимательно глядя на племянника:

— Строил, значит?.. Это хорошо. Грунт там какой? Скалы, наверно?

— Скалы.

— Интересно.— Платон Алексеевич уперся кулаками в стол: — Взрывали?

— Немного.

— Конечно. Конечно. Что строили?

— Много чего.

Платон Алексеевич сощурился и захохотал.

— Он стал таким скрытным,— сказала Надя.

— Слова не вытянешь,— вставила Люда.— Прямота пропитан военной тайной.

Надя закивала, смущенно глядя на Ратникова.

— Хорошо, хорошо.— Платон Алексеевич снова уперся кулаками в стол: — Строить надо больше... И такого... Сорок первый год научил...

— Ладно тебе, папка! — сердито сказала Люда.

Он весело поглядел на нее:

— Хоть и не любите слушать про это, а знать надо. Надо помнить, какой ценой завоевана жизнь наша легкая.

— Легкая она у тебя! — Люда засмеялась.— Ночью убегаешь, ночью возвращаешься.

Платон Алексеевич прижал подбородок к груди.

— Ну, это другое дело. Надо — значит, надо.

Ираида Васильевна встала. Обошла стол, наполнила тарелку Платона Алексеевича закуской.

— Ешь. А ты, дочка, отца не задирай — может, его спокойствие в его беспокойстве. Об этом не думала?

Платон Алексеевич снова налил рюмки, поднял свою.

— Это не жизнь, если человек день и ночь дремлет — сам себя обобрал, обокрал. Обкрадывает каждый день, каждый час...

Теперь Платон Алексеевич, выпив, долго и сосредоточенно закусывал. Потом спросил:

— Приехал когда?

— Вчера,— сказал Ратников.

— Как чувствует себя мать?

— Хорошо.

— Плакала?

Ратников не ответил.

Платон Алексеевич внимательно поглядел на него.

— По огороду весь день водила, хвасталась огурцами, помидорами?

— Нет. Фотографии показывала.

— А-а!

— Там и твои есть. С фронта.

— И мои,— сказала Ираида Васильевна.— Какие же мы тогда зеленые были!

Платон Алексеевич откинулся на спинку стула.

— Да, ты была зеленая. Сколько годов войну закончила?

Ираида Васильевна засмеялась. Блестели ее черные глаза, играли черные брови, и всем показалось, что она еще молода, все увидели, что она красива.

— И двадцати не было,— сказала она счастливо.

— Ой, мамка!

Люда, а за ней Надя кинулись обнимать Ираиду Васильевну.

— Вот видишь! — Усмехаясь, Платон Алексеевич пригладил рукой свои чуть вьющиеся, поседевшие волосы.— А мне было двадцать шесть.

«На два года больше, чем мне теперь»,— подумал с завистью Ратников и опустил голову. Он долго не слышал, о чем говорят за столом, и не скоро понял, что Платон Алексеевич спрашивает его о чем-то. Поднял голову— все глядели на него. Он пожал плечами.

— Так что? — В голосе Платона Алексеевича послышалось раздражение: — Да или нет?

Ратников что-то пробормотал. Раздался общий хохот. Смеялся и Платон Алексеевич.

— Он замечтался,— с нежностью в голосе сказала Надя,— а ты, папка, со своими вопросами... Ты поедешь куда, Сережа, или здесь останешься?

— Уеду.

— Как знаешь.— Платон Алексеевич насупился.— Тетка Настя не молодая уж. Оставлять ее одну не следует. Получил бы в городе квартиру — город растет, архитекторы нужны до зарезу. Вот тебе дело живое! Сразу! Тепличное хозяйство строить будем. Представляешь, сколько гектаров займет? Тридцать. И тут же поселок.

И чтобы все было рационально, строго, красиво! Вот тебе! Проектируй, строй!

Ратников согласно кивнул, и Платон Алексеевич обрадовался:

— Птицеводство мы уже поставили на индустриальную основу — через год-два яйца и птица будут в магазинах без перебоев. Об овощах только задумались, но и эту проблему решим. Четыре-пять лет — и на продажу круглый год станут поступать помидоры, зеленый лук, редиска...

Платон Алексеевич умолк. Мял в руке накрахмаленную салфетку, о чем-то думая. Быть может, вспоминал фронтовых товарищей и друзей, не доживших до победы, павших еще в сорок первом, умерших с горькой памятью о сожженных городах, об оставленных врагу землях, о тяжких, непонятных и необъясненных поражениях, умерших, так и не зная ничего о грядущих победах?..

Думал Платон Алексеевич, наверно, и о том, что народ, потерявший в войну каждого десятого и спасший человечество от фашизма, — такой народ достоин самой лучшей, самой красивой на земле жизни!..

Думал он, наверно, так же, как и говорил, в тех же словах и выражениях — суховато, целыми фразами, ставшими давно трафаретными, — но мыслил он четко и ясно, а главное, искренне верил в то, о чем говорил, о чем думал, и потому, подняв теперь голову, сказал:

— На тех, кто не дремлет, не спит, кто дерется, — на тех мир держится.

— Ох, папка! — воскликнула Люда. Независимо повела плечами: — Ты такого всегда наговоришь!.. Но... Вот объясни! Почему о теплицах стали только теперь думать? Почему птицефабрики не строили десять, пятнадцать лет назад? Не только зеленого луку, а картошки в магазинах иногда не бывает. Почему?

Платон Алексеевич оторвался от спинки стула, бросил на стол измятую салфетку:

— А как бы ты сама ответила?

Люда скривила губы.

— Не знаю. У нас всегда чего-нибудь не хватает. Выбросят в магазине лакированные сапожки — из-за них драка!

— Без сапожек обойтись можно,— резко сказал Платон Алексеевич.

— Па-пка! — протянула Люда.— А я хочу лакированные сапожки! Достань мне лакированные сапожки!

— И мне,— сказала Надя.— Можно же перевести на пошив сапог целую фабрику. А если надо, три фабрики, пять...

Платон Алексеевич, смеясь, покрутил головой.

— Что касается сапог — вы правы. Но многое так легко не решишь.

Люда вскочила, обхватила шею Платона Алексеевича, повисла на нем.

— Ой, папка! Достань сапожки! Красненькие, с золотыми застёжками! Ну, достань!

— Достану, достану.

Люда звонко чмокнула Платона Алексеевича в щеку, он, смеясь, отстранился и принялся наполнять рюмки.

— Еще по одной, да и кончать пора.

— Погодите, погодите! Забыл, что ли? — Ираида Васильевна поднялась и вышла. Вернулась, неся прихваченную полотенцем горячую гусятницу.

Надя освободила середину стола, Ираида Васильевна поставила гусятницу и открыла крышку.

— О-о! Какая ты у нас молодец, мама!

Теперь Люда чмокнула Ираиду Васильевну.

Платон Алексеевич, поднявшись, принялся резать фаршированную яблоками утку — большую и румяную.

5

Дом, в котором жил Платон Алексеевич, был построен сразу после войны — снаружи выглядел тяжеловатым и скучным. С узкими окнами и редкими, словно случайно приклеенными, игрушечными балкончиками. Но квартиры в таких домах теперь ценились, имелись крупногабаритными и считались удобными, потому что в них были высокие потолки, большие комнаты и коридоры, просторные кухни и прихожие, а главное, отделенные от туалетов ванны.

Когда встали из-за стола, Ратников вышел на балкон. Следом всунулся туда и Платон Алексеевич — на балкончике сразу сделалось тесно, Ратникову пока-

залось даже, что точеные пилястры не выдержат груза и перила рухнут вниз.

У Платона Алексеевича был нездоровый цвет лица, но на этом желтом отечном лице жили веселые темные глаза, а сам Платон Алексеевич, громкоголосый, шумный, производил всегда впечатление человека жизнерадостного и крепкого. А сейчас он молчал. Облокотясь на перила, глядел вниз.

Как раз сюда, к этому дому, стекалось несколько кривых старых улиц, и отсюда, от этого дома, начинался новый, широкий и прямой проспект. Проспект рассекал город надвое, асфальт с разбегу врезался в лес, переходил в бетонированное шоссе, и шоссе, такое же прямое и широкое, как проспект, стлалось до самой Москвы, и, обогнув Москву, убегало дальше на запад, и через Минск тянулось к Варшаве и Берлину, Брюсселю и Парижу.

С балкона был виден весь проспект. Теперь, к ночи, машины по шоссе шли к городу непрерывным потоком. Огни фар сливались вдали в сплошную мерцающую, пульсирующую реку, лишь у самого города огни отрывались парами от реки и уже самостоятельно вбегали в город. Летнее небо еще не погасло, чуть светилось на западе, там, где мерцало и пульсировало огнями шоссе; со сквера от тополей тянуло свежестью; слышен был по временам крик потревоженных грачей, шум машин, шаги редких прохожих; и хорошо было стоять здесь, на балконе, и вслушиваться, и вглядываться в ночной город.

— Что случилось? — спросил наконец Платон Алексеевич.

— Ничего, — сказал Ратников.

— Ты заболел?

Ратников помолчал.

— Я бы сказал.

— И я так думаю. Мне-то мог бы сказать.

«Конечно, — подумал Ратников. — А зачем?»

— Может быть, нужны хорошие врачи?

— Нет, не нужны.

Платону Алексеевичу по привычке надо было сейчас быстро подвигаться, сосредоточиваясь на ходу, но балкон был слишком мал, и Платон Алексеевич лишь покрутился на месте, постучал ладонями по перилам:

— Хорошо. Скажи мне тогда, почему не дослужил?

— После института всего год служат.

— Год. А ты и года не служил. Почему?

— Задание было... Нас демобилизовали немного раньше.

— Какое задание?

— Дядя, — сказал Ратников, — ну зачем тебе это?

— Что? Тайна военная? А знаешь, сколько мне этих тайн известно?! Что случилось?

Ратников понимал, что отпираться дальше нельзя, но и говорить не мог.

— Молчишь?!! Ну, как знаешь! — Платон Алексеевич потоптался еще, круто повернулся, и уже из комнаты послышался его резкий, раздраженный голос:

— Спать! Пора спать! Вставать рано!

Свет в комнате погас, и на балкон выбежали Надя с Людой. Они были разгорячены выпитым вином, спать им не хотелось, и они готовы были до утра шептаться, прыгать и вертеться. Рассказывали они о своем физма-те, где им предстояло учиться последний год, дурачились, толкали с обеих сторон Ратникова и без умолку хохотали, пока на соседнем балконе не появилась смутная фигура сонного человека. Человек покашлял выразительно, девушки прыснули, прижались к Ратникову.

— Пойдем отсюда, — сказал он.

В комнате стоял полумрак, в углах было темно. Теснясь, они уселись на диване, где было постлано Ратникову.

— Ну, расскажи, расскажи о себе! — просила его то и дело Люда. — Что уж ты какой стал! Базы какие-нибудь строил? Подумаешь, тайна!

Ратников вдруг почувствовал, что его опять, как вчера, сморила внезапная усталость. Ему надо было лечь, закрыть глаза. И тут из спальни постучали в стену.

— Ой! Папка! — воскликнула Люда и спрыгнула с дивана.

Поднялась Надя.

— Мы совсем еще глупые. Правда? А ведь через год детей учить будем.

— Учителя! — торжественно произнесла Люда и закружилась по комнате в вальсе.

Девушки ушли, в квартире наступила полная ти-

шина. Ратников разделся и, бросив одежду на пол, лег, закрыл глаза, но спать не мог. Долго лежал так.

Вот он и вернулся к своим, увидел всех, порадовал...

Конечно, он мог бы рассказать обо всем дяде. Мог бы...

Глава X

1

Переодевшись, они вышли из раздевалки и увидели, что вместе с лейтенантом их ждут люди в гражданском. Сержант выстроил их, скомандовал: «Смирно!»

Был среди гражданских и человек в дохе, инженер Котов, который все эти дни руководил работами.

— Вот что, ребята, — сказал он, — по трубе, которую мы с вами прокладывали, будет стекать смертоносная жидкость, хотя это и вода. Сколько ее скопилось за рубашкой, мы не знаем. Вода эта скапливается, а потом уходит. Сама. И не туда, куда хотелось бы... Это опасно. Я даже не могу вам сказать, насколько опасно; не могу сказать, сколько человек может пострадать от этого... Нас отделяет теперь от нее тонкий слой бетона — может, шесть сантиметров, может, два; отверстие надо пробить совсем маленькое — лишь бы вставить трубу. Но отверстие должно быть в самом низу, чтобы сток был полный. Если воды мало, с работой справится одна-две пары. А если вода хлынет, надо будет немедленно уйти. Немедленно! Вода стечет в трубы — их мы проложили, деваться ей некуда, — стечет, тогда и будем заканчивать работу. Будем часто, очень часто сменять одних другими. Что не ясно?

Кто-то ответил из строя:

— Ясно.

— Хорошо, — сказал лейтенант, — ясно так ясно. А работать пойдут добровольцы. Пойдут такие, кто осознает опасность дела, кто может четко, а главное, быстро выполнить работу — пробить отверстие, проверить, ниже ли оно донной поверхности, вставить трубу и — уйти. К тому, что уже сказал инженер, добавлю: вся работа по укладке труб проводится в самые сжатые сроки. Надо как можно быстрее залить бетоном поннель и закрыть всю траншею.

— Правильно, — сказал инженер. — Мы были вынуждены пойти на такое. Пробить в бетоне тоннель — это... — Он замолчал, подыскивая для выражения своей мысли слова. Слов подходящих не нашел, проговорил в раздумье: — А спустить воду — это... — опять замолчал и неожиданно закончил: — Это должны сделать добровольцы.

— Ясно, — опять сказал кто-то весело. — Хвост надо держать крючком, уши торчком, а ноги...

— А ноги пятками назад, — выкрикнул другой голос.

В строю засмеялись. Инженер улыбнулся. Улыбнулся и лейтенант и стал молча поочередно вглядываться в их лица. Казалось, он ждал, что под его взглядом каждый должен подтянуться, выйти из строя и замереть, ожидая приказа, но никто не шевелился. Они стояли в своих белых защитных комбинезонах, будто замерли, и только лица их жили. Кто глядел хмуро, кто улыбался, а кто опускал глаза.

Ратников понимал, что многие готовы сделать шаг вперед и только ждут от лейтенанта прямого вопроса: «Кто пойдет?» Но время шло, а лейтенант все вглядывался в лица и молчал, и казалось, что вопрос его уже давно прозвучал и пропал без ответа, и все более стыдно было стоять и ждать, когда кто-то другой вызовется раньше тебя...

— Разрешите! — выкрикнул вдруг Ратников и шагнул вперед.

Тотчас вперед вышли еще двое, а потом — еще и еще.

Лейтенант, который до этого глядел хмуро и настороженно, заулыбался.

— Хорошо. Я так и знал, хорошо.

Лейтенант прошел вдоль неровной цепочки добровольцев и каждому поглядел в глаза:

— Вы, конечно, понимаете, что риск велик... Каждый из вас может вернуться в строй. Каждый.

Все молчали.

— Нет таких?

Лейтенант опять вглядывался в их лица.

— На задание пойдут...

Ратников напрягся и тут же услышал свою фамилию,

Траншея оставалась открытой только там, где стоял подъемник для подачи наверх осколков бетона и грунта и где вниз уходила веревочная лестница. По лестнице в этот день Ратникову предстояло в последний раз спуститься, а потом выбраться наверх, и уж другие должны были заканчивать после него работу, если он ее не закончит, и другим потом предстояло спускаться по лестнице и заливать тоннель бетоном и полностью закрывать траншею.

Когда они прибыли сюда, солнце еще не поднялось над сопками и только в небе виден был яркий солнечный свет — там, в восточной стороне, белым огнем светило маленькое облако. А здесь, возле бетонной стены, куда вскоре глянет солнце, теперь все было залито одинаковым ровным светом и по снегу двигались чуть приметные смутные тени.

Возле спуска в траншею уже суетились солдаты-дозиметристы с приборами, дежурила машина «Скорой помощи» и о чем-то совещались люди в штатском. Один из них, горбоносый, черный, спросил:

— Кто из вас идет первым?

— Я, — сказал Ратников.

— И я, конечно.

Ответ Хуцишвили развеселил горбоносого.

— Откуда? — спросил он. — Не из Гурджаани?

— Нет. Из Телави.

— Все равно земляк. — Горбоносый потрепал его по плечу. — Допуск у вас сегодня такой же, как вчера. Совсем малый, понятно?

— Понятно, — сказал Хуцишвили.

— Задача ясна?

— Ясна.

— Хорошо. Заканчивайте как можно быстрее и почаще поглядывайте на свои дозиметры, а если хлынет вода, уходите, как вам уже сказали, немедленно. Понимаете, немедленно.

Они спускались в полной тишине, слышно было, как со стен траншеи осыпаются камни и падают вниз, как пыхает на малых оборотах двигатель машины с красным крестом на дверке. Потом они уже не слышали звуков наверху.

Перед ними был лаз в узкую щель в бетоне — в конце тоннеля светилась переносная лампочка, по дну тянулся туда тонкий электрический кабель, чугунная труба и резиновый шланг перфоратора. Им надо было одному за другим протискиваться в лаз и, запинаясь и шаркая по стенкам, пробираться по щели на свет переноски.

— Я буду пробивать бетон, — сказал Ратников, — а ты, Шалва, приготовь респираторы — надо менять сегодня почаще. И будь наготове. Как только пробьем отверстие, двигай вперед трубу. Вставим и — бегом отсюда.

— Зачем ты будешь пробивать бетон? — возразил Хуцишвили. — Давай — я.

— Нет. Я первый вызвался, — сказал Ратников. — И не будем спорить. А хлынет вода — сам знаешь, убегай, не загораживай дорогу.

Хуцишвили достал из целлофанового мешочка две марлевые повязки, одну протянул Ратникову, другую взял себе.

Покрыв лицо повязкой, Ратников, пригнувшись, полез в щель. Он то и дело стучался головой и плечами об острые выступы, слышал, как, чертыхаясь и проклиная кого-то по-грузински, продирался следом Хуцишвили, и посмеивался.

Но вот щель позади. Щурясь от яркого света, Ратников нагнулся и поднял отбойный молоток. Приставил впереди себя к бетону боек и, не мешкая, навалился на перфоратор. В уши сразу ударил гулкий стук. Тело содрогалось, но боек вонзался в бетон с трудом, медленно углублялась небольшая круглая ниша, медленно истончалась стена, за которой по неведомым причинам скопилась смертоносная вода.

Вода эта представлялась ему густой и чернильно-черной. Приступив к работе, он думал, что, пока пробьется до нее, пройдет минуты две-три и он успеет еще сменить повязку. И он не готов был к тому, что произошло в самом начале. Он сделал первую передышку — на несколько секунд наступила тишина, но вслед за этим, как только Ратников снова навалился всей тяжестью на отбойный молоток, раздалось несколько всхлипывающих стуков, и боек прошел насквозь.

Струя жидкости окатила Ратникова, ударила в лицо. Потекло по шее и за комбинезон, за бушлат, и Ратников ощутил холодные струи на теле. Показалось, что вода не только черная, но и липкая — одежда сразу приклеилась к груди, к животу. Он уже успел согреться и даже вспотел, и ледяная липкая жидкость за одеждой вызывала озноб.

Быть может, струя била в лицо Ратникова всего несколько секунд и это было не опасно. Стоило ему немедленно бросить перфоратор, пробежать тоннель и подняться по веревочной лестнице — с него тут же сорвали бы мокрую одежду, обмыли бы его, обтерли, переодели — и все случившееся не причинило бы ему ощутимого вреда. Но он так не сделал. Он услышал крик Хуцишвили:

— Беги! Быстрее беги! Зачем медлишь?! — Потом Шалва выругался по-грузински: — О! Мама дзагли! Бросай! Беги!

Ратников представил себе, как он выглядит со стороны — по нему течет, он мокрый, черный, — и ему стало страшно. Он рывком свалил на сторону перфоратор, отломил тонкий пласт бетона и выхватил из отверстия инструмент. Он повернулся, чтобы бежать, споткнулся о придвинутую Шалвой вплотную трубу и упал. Под локтем хрустнуло — свет погас. Он готов был вскочить и бежать по тоннелю туда, где маячил суеющийся силуэт Шалвы и где брезжил свет.

— О мама дзагли! — ругался Шалва. — Зачем лежишь?! Зачем молчишь?! Бежать надо!

А он вдруг понял, что в тоннеле стоит тишина. Не слышно шума воды — значит, она не хлынула, как предупреждали их. Она успела сойти? Он почувствовал под коленями влагу и вскочил:

— Лампочку! Шалва, лампочку!

Ругаясь, Хуцишвили вернулся. Они вместе выкручивали из патрона цоколь раздавленной лампы, их било током, потом ввернули новую лампу — вспыхнул свет.

Из пролома тонкой лентой стекала вода, абсолютно чистая, прозрачная вода. Одежда Ратникова была мокрая, но тоже чистая. Он засмеялся.

— А ты говоришь, беги. Чуть-чуть подправим края — и дело с концом.

Засмеялся и Шалва.

— Думаешь, боялся? За тебя боялся. Зачем погибать человеку?

Ратников снова взялся за перфоратор. Расширил отверстие, вода потекла живее, сзади она почти без остатка уходила в трубу. Ратников сунул руку в пробойну, прощупал в воде дно. Дно было чуть ниже, и пришлось расширять отверстие книзу.

Снова труба не входила в отверстие, потом косо легла и ее никак не удавалось соединить с концом другой трубы, а когда все было готово, оказалось, что вода течет мимо трубы, и пришлось вновь вытаскивать ее, делать углубление в донной поверхности. Все это время Ратников был возле самого отверстия, из которого все еще текла вода. Он вместе с Хуцишвили ворочал из стороны в сторону, вставлял и вынимал трубу, бросал ее и хватался за перфоратор. И труба, и перфоратор были мокрые, а когда он принимался долбить бетон, в лицо ему летели брызги.

Им казалось — они пробыли здесь целую вечность, потому что минуты, даже секунды, за них считали другие: только выйдет время допуска — замигает свет, и наверху застучат в рельс, и закричат в траншею...

Это они хорошо знали, об этом помнили и потому чувствовали себя спокойно и, занявшись работой, забыли о другом, забыли о своих кассетах, которые были у них на груди. Забыли, наверно, потому, что работали в защитных комбинезонах, да раньше и не случилось, чтобы кассеты эти имгодились.

В конце каждой смены их обследовали у больших стационарных дозиметров. Они знали, что если кто-нибудь из них получит дозу, хоть на немного превышающую допустимую норму, прибор начнет мигать красным светом и звенеть, поэтому места работы с повышенной радиацией и ограниченным до минимума допуском они называли «звенячкой». И теперь, когда они уже заканчивали свое дело и на несколько секунд прервали работу, чтобы сменить респираторы, Шалва подумал об этом и, посмеиваясь, сказал:

— А сидим мы с тобой в самой звенячке.

Только тогда всплыло в памяти Ратникова то, что им сегодня говорили несколько раз, о чем твердили, когда они уже спускались в траншею: «Не забывайте о дозиметрах. Почаще заглядывайте. Слышите, почаще!»

Они одновременно склонились к своим кассетам, одновременно взглянули на счетчики и одновременно подняли головы.

Цифры, которые отсчитали дозиметры, были неправдоподобно велики. Ратников увидел вытянутое лицо Шалвы, немой призыв его глаз: «Бежать! Бежать!», — успел подумать, что и у него самого, наверно, такое же лицо, и вспомнил, что работы им осталось всего на несколько секунд, и сказал:

— Что ж теперь, друг, сюда посылать?..

Шалва как будто обрадовался этим его словам и торопливо сказал:

— Зачем других. Не надо других.

3

Сколько прошло после этого времени — минута, две, — они не знали. Они, спотыкаясь и сдирая в кровь руки, очистили дно отверстия от осколков бетона, всунули туда трубу и только тогда, когда убедились, что струя прозрачной воды исчезла, ушла без остатка внутрь трубы, кинулись бежать из тоннеля. И как раз тогда кончилось время допуска, и замигал сзади у них свет, и застучали наверху в рельс, и сверху закричали в тоннель.

Первым по лестнице вылез наверх Хуцишвили. Поднимаясь следом, Ратников услышал его веселый голос:

— Все сделали.

И тут же увидел встревоженное лицо горбоносого. А когда выбрался наверх сам, мокрый, перепачканный, лицо это сделалось злым и как будто почернело еще больше, посерело.

Возле Хуцишвили и Ратникова уже суетились дозиметристы. Один из них доложил что-то горбоносому, и тогда Ратников вторично в этот день услышал грузинское ругательство:

— Мама дзагли! — И окрик: — Врач! В медпункт их! Немедленно! Обоих!

Но прежде чем их увезли, человек в белом халате, врач, протянул им с Хуцишвили по тонкому конусообразному стакану с прозрачной жидкостью. Ратников понюхал — в стакане был спирт — и мотнул головой.

— Пей, — сказал врач.

— Пей! — приказал горбоносый.

Ратников хлебнул и задохнулся.

— Вдохни, потом пей, — сказал врач.

Ратников набрал в грудь воздуха, опорожнил стакан и почувствовал, как зажгло у него внутри и омертвело во рту.

Их подтолкнули к машине, и как только они влезли, машина с воем сирены рванула с места. Они быстро опьянели, и пока их везли в медпункт, Шалва пел грузинские песни.

4

Тяжелее всего было от бездействия, от сознания своего бессилия...

Они с Хуцишвили занимали вдвоем просторную палату с высоким белым потолком и большими белыми окнами. За окнами стояли толстые сосны. Как только Ратников открывал глаза, он сразу видел эти деревья — то дремлющие в тишине, то мятущиеся от порывов весеннего ветра. Был на исходе апрель, но в этих местах стужа держалась еще стойко, и близкая весна угадывалась лишь по этому тугому ветру, частым тонким сосулькам на хвое да по беспокойной возне и чириканию воробьев на карнизе окна.

Хуцишвили знал, что Ратников в большей опасности, чем он, и ни разу не напомнил о случившемся. В госпитале он начал отращивать усы; посмеиваясь и подмигивая Ратникову, часами гляделся в зеркальце, разглаживал и подправлял бритвой жесткую рыжеватую щетину.

— Э-э! Кацо! Какие у меня были усы! — Он блаженно закатывал глаза и раскачивался в кровати. — Зачем сбрил — не знаю. Разве отрастишь теперь такие усы?!

Ратников молча усмехался, это вдохновляло Хуцишвили, и он целыми днями рассказывал об усах, какие носят в Алазанской долине, о том, какое там солнце и как он выращивал под этим солнцем виноград.

— Цинандали! — говорил он. — Слышал цинандали? О-о! Какое у нас делают вино! Ты пробовал молодое, совсем молодое, маджари? Зачем жить, если не пробовал! Маджари — это солнце! Это рай! Рай в бурдюке, рай в бокале! Приедешь ко мне, я угощу тебя маджари, ты узнаешь, что такое маджари!

Хуцишвили закрывал глаза, сидел, раскачиваясь. Вдруг хлопал себя по коленям:

— А какие у нас погреба! Три версты — погреба! Слышал? А бочка! У нас самая большая в мире бочка — царь-бочка! А вина! Самые старые вина! Пятьдесят лет, сто лет, нет, больше — лежит вино в старых черных бутылках. О-о! Что это за вино! Одна, только одна бутылка самого старого вина досталась Сталину, когда Сталину было семьдесят лет. О, какое это вино! Ты не пробовал такого вина.

Ратников понимал, что и самому Хуцишвили не пришлось даже пригубить такого вина, но молчал, а Хуцишвили рассказывал уже о другом, о том, что в Телави самые красивые горы, и что у них в городе стоит самое старое, самое толстое дерево, что именно под этим деревом любил отдыхать великий Саакадзе и пиновала царица Тамара. Еще он рассказывал об огненных хинкали, которые умеет готовить его мать и от которых так горит во рту, что — хочешь не хочешь, — хинкали надо запивать вином. Расписывал чурчхелы, которые высушивают его сестры.

А сестры! Что за сестры у Шалвы! Старшая, Гулико (самая тонкая где надо, самая толстая где надо), учится в Тбилиси на последнем курсе университета; средняя, Маквала, лучший виноградарь совхоза, имеет медаль; а младшая, Цицино, как тростинка, как виноградная лоза, заканчивает десятый класс; и, если Сергей, друг его, согласится приехать в гости, Шалва женит его на любой из них, и станет для него Сергей самым дорогим человеком! Станет братом!

Воспоминания Хуцишвили отвлекали от болезни, помогали забыться, иногда вызывали желание рассказывать о своей жизни, почему-то о тех местах, в которых прошло детство, о холмах и лесах, о своей реке с омутами и заводами, о грибах и ягодах, о весенних паводках и о тишине морозящей осени.

Порой он начинал говорить, Хуцишвили вежливо слушал, но по лицу его видно было, что он не видит ничего хорошего ни в разливах, когда никуда не пройдешь, не проедешь, ни в осенних ненастьях с их холодами и слякотью.

Ратников умолкал, а потом уже слушал Хуцишвили вполслуха, а случалось, и вовсе забывал о нем.

Хуцишвили выписали из госпиталя на полмесяца раньше, чем Ратникова, и сразу демобилизовали. Он уехал к себе в Грузию и еще в госпиталь успел прислать Ратникову письмо и фотографию. На снимке Хуцишвили был вместе с сестрами. Он сидел возле дерева с могучим, неправдоподобно толстым стволом, сидел, смешно подогнув под себя ноги, так, как это делают йоги, и по-дурашливому задрав голову; девушки стояли рядом — младшую, Цицино, Ратников узнал по темному школьному платью с белым передником и белым воротником, а старшую, Гулико, отличил от хохочущих сестер по насмешливому, слегка надменному выражению лица, строгому черному костюму и белой блузке с пышным кружевным жабо. Средняя, Маквала, была в свободном цветастом платье. «Красивые. Не обманул Шалва», — решил Ратников, глядя на фотографию, и подумал, что и Хуцишвили не сказал никому, наверно, почему так быстро вернулся из армии...

Глава XI

1

Первой поднялась Ираида Васильевна. Неслышно возилась на кухне. Потом проснулся Платон Алексеевич. Встал и Ратников. Они вместе позавтракали, и только вышли из-за стола, под окном раздался чуть слышный сигнал машины. Платон Алексеевич, хмурый, сосредоточенный, сразу ушел, молча пожав Ратникову руку. Ратников тут же сказал Ираиде Васильевне, что и ему пора идти. Ираида Васильевна, соглашаясь будто бы, кивнула, а сама незаметно разбудила Люду и Надю. Те быстро поднялись, с хохотом бегали умываться, носились по квартире, занимались уборкой, звали наперебой Ратникова идти еще раз завтракать, напоминали о кино, о Луи де Фюнесе, а потом, пошептавшись, заявили, что вместе с ним едут в деревню.

2

Когда автобус, выйдя из леса на голый холм, остановился возле деревни, Люда и Надя первыми выскочили на траву; подождали, пока сошел Ратников, огляделись вокруг.

— Ой! — воскликнула Люда. Распростерла руки и зажмурилась, будто ждала, что поднимется в воздух и полетит над долиной к далекому синему горизонту.

— Всегда вот так, — сказала Надя, — приезжаешь сюда, и от радости дух захватывает.

Они пошли задворками по чуть приметной зеленой тропе, свернули к знакомому плетню и, открыв хлипкую калитку, очутились в саду. Изгородь была гнилой и давно бы завалилась, если бы не густые вишневые заросли, которые сплелись ветками с прутьями забора и удерживали его. Зеленая тропа бежала через темный сад и открытый солнцу огород к дому и мимо дома к другой калитке, на деревенскую улицу.

Заслышав голоса, на крыльце появилась тетка Настя. Грузно ступая, сошла по ступеням. Люда и Надя накинулись на нее с объятьями и поцелуями.

— Наконец-то! Появились-таки! — говорила она без улыбки и глядела, глядела с тревогой на сына.

Полдня провели в саду. Лазили по лестницам, обрывали вишни. Потом — малину. А потом принялись собирать огурцы, вместе с теткой Настей мыли их в ведрах и, обильно сдабривая чесноком и укропом, солили в цибарке.

После обеда Люда и Надя утащили Ратникова в луга, к излуине реки, где в зарослях ивняка лежали чистые сыпучие пески без единой травинки. Там они начали вспоминать, как в детстве бегали сюда купаться, как днями не вылезали из реки, коченея в воде, и отогревались на берегу, засыпая друг друга горячим песком. Своими «Помнишь?» «А помнишь?» девушки старались вернуть Ратникова к прошлому, но он был молчалив, а вопросы их лишь усиливали его замкнутость.

3

Среди дня к ним из кустов вылезла целая ватага таких же, как они, полуголых, но почти черных от загара парней и девчат; Люда и Надя узнали их, обрадовались нежданной встрече, с визгом кинулись навстречу и стали шумно знакомить со своими однокурсниками Ратникова. Он пожимал руки парней, стучал голыми пятками, кланяясь девушкам. Одна из них —

высокая, с длинной красивой шеей и гордо посаженной головой — протянула ему руку.

— Даже в таком наряде вы похожи на джентльмена.

Он помедлил, наклонился к ее руке и, впервые в жизни, поцеловал почему-то эту крепкую, загорелую руку. Люда выразительно прыснула, а один из парней (с черными, косо подстриженными баками), оглядев Ратникова, ударил по струнам гитары и тут же прижал их ладонью.

— О, Ирина! Не оставляй своих старых поклонников!

Губы Ирины дрогнули.

— Среди вас нет джентльменов, мы одичали за лето в строительном отряде.

— О, сжался, Ирина! — Парень с баками упал на колени и, склонив голову, начал перебирать струны.

— Откуда вы взялись? — спросила Ирина, глядя на Ратникова.

— Это наш брат, — ответила Люда и взяла его под руку.

Теперь Ирина глядела на Люду. Насмешливо сощурилась.

— Оно и видно. Так вот почему вы не поехали с нами на стройку.

— Как тебе не стыдно, — вмешалась Надя. Она стояла потупившись, щеки ее полыхали. — Мы в институте ремонтом занимались.

Вскинув голову, Ирина засмеялась:

— Оправдываетесь?

Все захохотали, парень с баками поднялся с колена, забренчал на гитаре, и все запели знакомую Ратникову студенческую песню.

— А знали бы вы, как весело у нас, — глядя на Ратникова, сказала Ирина, когда песня кончилась... — И работаем мы...

— Как экскаваторы, — перебил ее гитарист, — как бульдозеры...

Остаток дня они провели вместе. Купались, закусывали, сидя вокруг разостланных на песке газет, пели под гитару, играли в волейбол и снова купались. Ратников постоянно ловил на себе взгляд Ирины и сам

часто глядел на ее выгоревшие пепельно-русые волосы, на ее загорелую, гибкую фигуру, на то, как она гордо и красиво держит голову.

Потому ли, что Ратникову до армии всегда не хватало времени, или потому, что в институте, где он часто читал стихи и выступал на комсомольских собраниях, его все знали, а может, еще и потому, что он был высок и красив и многие девушки влюблялись в него и признавались ему в этом, — он раньше не задумывался особенно о своих отношениях с девушками и отделивался от их быстротечной влюбленности полувезжливыми-полунасмешливыми шутками. Теперь, глядя на Ирину, встречаясь с ней глазами, он чувствовал, как в сердце его входит сладкая тоска.

Ему вдруг захотелось читать стихи. Читать для нее, для этой рослой и гордой, дерзкой на слово и, видимо, умной девушки.

На память пришли строчки, о каких он забывал, казалось, напрочь, как только они рождались. А рождались они в госпитале. Только что осознав все случившееся с ним, он лежал тогда, оглушенный и ослепленный, убитый неожиданной и непоправимой бедой, свалившейся на него. Жизнь его тогда кончилась. Он это знал: кончилась. В бессмысленность превратились все слова, все понятия, все предметы — и сама земля, и люди, и Вселенная с ее беспредельностью, с ее вечностью. Он лежал тогда в пустой беспросветной черноте, и не было ему никакого дела ни до чего живого, а в голове его, вопреки его воле, рождались и лезли на свет стихи. Эти раненые, эти больные стихи, которые он тогда гнал от себя и которые, думалось, исчезли из памяти бесследно, теперь, как бы заново рождаясь, начали припоминаться по слову, по строчке, — и он стал медленно, тихо говорить. Все притихли. Все слушали. Внимательно и настороженно. Глядели на него с удивлением и даже как будто недоверием и вслушивались в каждое слово, и лица их менялись, словно этим беззаботным людям открывалось впервые что-то суровое и, может быть, жестокое, но до конца непонятное...

— Чье это? — спросила удивленно Ирина.

— Его! Его! — выкрикнула Надя и стушевалась. Погодя немного спросила: — Твое?.. Прочти еще. Пожалуйста!

— Да-да, — поддержала Ирина.— Интересно... Еще что-нибудь.

Все молчали, как бы прислушиваясь к чему-то в себе, потом стали просить его читать еще, но ему не хотелось больше говорить...

Давно ли он жил совсем в другом настрое?.. И на душе легко было, и стихи слагались светлые...

Я — плотогон. Я управляю лесом...
И прямо в небо мчит меня река.
Она — зеленая и гулкая, как песня, —
Впадает в небо, вроде ручейка.
Я весь пронзен прозрачностью сырой,
Узнавший, наконец, полет.
А надо мною, подо мной —
Ну, настоящий лесоход!
Коричневые спины бревен
Вершат свой массовый заплыв...
И пахнет солнцем мир огромный,
Он —
Весь порыв.
И все слилось. Река лучит огонь,
Как у меня, ее настырен нрав.
Какой я к черту плотогон?!
Я — плотонавт!..

Его просили читать еще стихи, а он молчал, тупо глядя в землю.

Ирина вскочила, будто собиралась куда идти, а потом опять села. Ткнулась коленями в песок возле Ратникова и, глядя ему в глаза уже не только откровенно, но доверчиво и требовательно, снова спросила:

— Откуда вы взялись?

Ратников поднял голову, встретился с ней глазами. Она ждала ответа с тревогой и надеждой, будто приговора, в котором одинаково вероятными были и счастье ее, и горе. Но он не мог сказать ей ничего хорошего, не должен был говорить, не имел права...

— В армии был, — сказал он. — А теперь мне пора. Идти надо.

Ратников встал. Вскочили Люда и Надя, обрадовались его словам, начали весело прощаться, а Ирина продолжала сидеть, подняв голову — с недоумением, разочарованностью и удивлением глядела на Ратникова.

— До свидания, — сказал он холодно.
Резко повернулся и пошел прочь.

На другой день, в воскресенье, Ратников по привычке встал рано. Умылся. Мать накормила его, и он, взяв томик стихов, ушел в сад, сел на скамью за гнилой дощатый стол. Солнце чуть пригревало спину, вишневые заросли были в росе, и паутина, натянутая к угловой доске стола от вишен, тоже была в росе.

Ратников сидел над книгой, не читая. Видел, как возле грядок топчется мать. Видел, как выскочили на крыльцо Люда и Надя. Как они оглядывались и хохотали, визжа, бегали босиком за водой по росистому пырею, лязгали медным умывальником, ополаскивая лица. И мать поглядела на них из-под ладони и заковыляла к крыльцу.

Веселые, свежие, Люда с Надей прибежали после завтрака под вишни и, как и вчера, закидали Ратникова своими предложениями. Опять можно было обрывать переспевшие черные вишни, собирать крупную мягкую малину, можно было сбегать в лес за грибами и принести от Долгой Лужи головок клевера — курам нужны витамины, может быть, куры будут клевать клевер...

Ратников, как и вчера, на все соглашался, и девушки шумно радовались его сговорчивости, а потом заметили вдруг, как снисходительно смотрит он на них, как сумрачно улыбается, и, обиженные, примолкли.

Люда сердито толкнула его в плечо:

— Да что ты такой стал?! Ну что ты?!

Ратников не успел ответить, потому что в эту минуту у дома остановилась серая «Волга», хлопнула дверка, и в калитке появилась грузная фигура Платона Алексеевича. Он шагнул прямо к ним, неся в охапке груды свертков.

— А вот и я. Здорово живем. За молодежью приехал. Увезу на заработки.

Он свалил свертки на стол и, не садясь, оглядел всех.

— Собирайтесь! Поехали.

Девушки подскочили к нему, поцеловали в щеки и кинулись в дом. Тетка Настя глядела на него, чуть не плача:

— Погоди, погоди! Сам останься. Поешь свекольничка холодненького. Сварила, в подпол поставила.

Платон Алексеевич замахал большими своими руками:

— Нет-нет-нет! Некогда, некогда.

— Воскресенье, чай! — взмолилась тетка Настя. — Выходной!

Платон Алексеевич захохотал:

— Вот то-то! У шофера выходной, а он меня возит! — Платон Алексеевич тяжело шагнул к тетке Насте, обнял ее: — Да ты не горюй! К вечеру я тебе всех верну. И свекольник поедят, и все остальное — не хватит еще. А нас, понимаешь, работа в саду ждет. Работа, работа, работа...

5

Он сел впереди, рядом с шофером, сухим остроносым парнем, Ратников, Люда и Надя втиснулись на заднее сиденье.

— Пока женщины будут готовить обед, мы с тобой произведем рекогносцировку, осмотрим забор, — сказал Платон Алексеевич, оборачиваясь к Ратникову, потом повернулся к шоферу: — Ну, а ты, Миша, еще раз извини, что выходной тебе испортил — обстановка, видишь, какая сложилась... За нами сегодня приедешь к девяти ноль-ноль, а в понедельник, в понедельник зато на работу выйдешь с обеда. Ясно?

— Ясно, — весело отозвался шофер.

И покатили они по дороге к городу. Им надо было переехать мост, пересечь город, и окраину города, и липовую рощу, чтобы добраться до коллективных садов, где их ждала уже Ираида Васильевна.

Глава XII

1

Высокий дощатый забор тянулся вокруг коллективных садов на многие километры, его давно не ремонтировали, и они, оглядев ограду на своем участке и на двух соседних, решили, что подгнившие столбы надо спилить и снова вкопать, чуть отступя в сторону, — столбы послужат еще лет пять.

— Мужчины, идите к столу. Все готово, — позвала Ираида Васильевна.

— Выкопаем ямы на всех трех участках, — сказал Платон Алексеевич, — и два-три столба спилим, поставим. Остальное соседи доделают.

На столе на бумажных салфетках лежали деревянные хохломские ложки, стояли глиняные миски, доверху налитые свежей окрошкой — в розовой сметане плавали дольки сосисок, огурцов, зеленый лук, укроп. Посредине стола горкой лежали ломти черного хлеба.

— Ну, мать! Угодила! — сказал Платон Алексеевич, потирая руки. — Только за стол не сяду. Ну-ка, сороки, тащите одеяло. Вот сюда, на траву.

Ему постелили под яблоней, положили на салфетку хлеб, и он, похваливая еду, с аппетитом опорожнил миску, попросил добавки, съел вторую порцию, поблагодарил и лег навзничь, довольно похлопывая себя по животу.

— Ах, хорошо, мать, хорошо!

И никому не могло прийти в голову, что это была его последняя трапеза.

2

Они еще не успели выкопать по одной яме, когда Платон Алексеевич почувствовал себя плохо.

— Вы, ребята, ковыряйтесь потихонечку, а я пойду прилягу. Не по мне, видно, работа, — сказал он и ушел от забора.

Минут через пять Ираида Васильевна позвала Ратникова.

Платон Алексеевич лежал там же, где только что ел окрошку, в тени, виновато улыбался.

— Ты бы сбегал позвонил, — попросил он прерывистым голосом, — вызвал бы врача. Что-то неладно мне. Ненароком не загнуться бы.

— Да полно выдумывать! — сказала Ираида Васильевна и, держа его за руку, отсчитывая пульс, одними глазами попросила Ратникова поспешить.

Он пошел к калитке, потом побежал.

— Убегаешь? Лодырь! — крикнула ему вдогонку Люда.

Из будки сторожа Ратников быстро дозвонился до

«Скорой помощи», дождался на дороге машину и вернулся вместе с врачом и санитаром.

Платон Алексеевич встретил их все той же виноватой улыбкой.

— В такой день нечестно болеть, правда, доктор?

Молодая женщина-врач присела возле него, длинными тонкими пальцами взяла его руку, пощупала пульс.

— Ничего, ничего, бывает. Сейчас мы вам укольчик сделаем. Отлежитесь... — Она подняла глаза на санитаря, тот кивнул и, открыв белый эмалированный ящик, быстро подготовил инструменты.

Укол ему сделали в руку. Запахло спиртом. Платон Алексеевич лежал, улыбаясь, шутил:

— Выручили, доктор, спасибо! А то уж, я думал, будет скандал. На совещании завтра с докладом надо выступать, а я в постель слягу — скандал!

— Работать намерены? — Врач снова взяла его руку.

Платон Алексеевич слабо посмеялся.

— Завтра? А как же! На четвереньках, а поползу. Доклад.

— Вы храбрец, — смеясь, сказала врач.

— А как же! Фронтовики никогда не подводят — надо так надо.

— Ну, правильно, — сказала врач. — А все-таки придется отдохнуть. В клинику лечь надо.

— Теперь? — Платон Алексеевич хрипло засмеялся и покачал головой. — Через недельку-другую — пожалуйста, ремонтируйте, а сейчас нельзя! Самая горячая пора. Дела!

— Подождут дела, — мягко, но твердо сказала врач. — Вам надо лечиться. И по-настоящему, в клинике.

— Ну, нет! Не время! — сердясь, проговорил Платон Алексеевич и попытался приподняться.

— Лежите! Вы храбрец, но вставать вам нельзя.

Подшли Люда и Надя.

— Папка! Ты что? — Люда опустилась возле него на колени. — Мы уже столько ям выкопали, а ты!..

— Они, дочка, не знают меня. Думают, списывать пора. А мы еще повоюем! Так ли?

— Правильно, папка! — Люда наклонилась, чмокнула его в щеку. — Правильно! Так держать!

— Ну, вот! — Платон Алексеевич заулыбался.

Люда гладила его седеющие волосы, а врач, чуть отойдя в сторону, говорила что-то Ираиде Васильевне. Потом они подошли.

— Вот что! — властно сказала Ираида Васильевна. — Все гораздо серьезнее, чем ты думаешь, отец. Сейчас мы тебя отвезем в клинику, там тебя обследуют, а потом видно будет.

Платон Алексеевич откашлялся и, подумав немного, недовольно сказал:

— Ну, что ж... Пусть будет по-вашему. Обследуют, сделают уколы и — домой. Домой, домой! Завтра на работу.

— Носилки, — сказала врач.

Санитар направился к машине.

— Носилки? — Платон Алексеевич засмеялся. — Ну, нет. Я сам. — И позвал Ратникова: — А ну, помоги, солдат.

С помощью Ратникова он встал. Врач протестующе подняла руки. Ираида Васильевна закричала:

— Нельзя! Нельзя!

— Ну, что ты, мама! — возразила Надя.

— Что уж вы! — сказала сердито Люда. — Поможем, дойдет. Совсем рядом.

— Ах, что вы делаете! — Врач хотела еще что-то добавить, но только крутнула головой и повернулась к стоящему санитару: — Носилки! Я же сказала: носилки!

— Сам. Сам. — Платон Алексеевич, опираясь на Люду и Ратникова, неуверенно шагнул, и ноги его заплелись.

— Держи, держи, солдат, — проговорил он вдруг, падая.

Ратников подхватил его. Платон Алексеевич тяжело повис у него на руках и захрипел, закатывая глаза.

Его уложили на носилки, отнесли в машину. Врач суежилась, прикладывала ему ко рту кислородную маску, кричала на шофера за то, что в машине некуда подключить аппаратуру, и с растерянным, перепуганным лицом спрашивала, есть ли в саду свет, есть ли поблизости розетка.

Платон Алексеевич хрипел и дергался, Ираида Васильевна кинулась вдруг к своему участку, бегом вер-

нулась, расплескивая из ведра воду. Люда и Надя стояли, оцепенев, Ратников, не зная, чем помочь врачу, прижимал к носилкам ноги Платона Алексеевича.

Ираида Васильевна, отталкивая санитаров, который держал кислородную подушку, полезла в машину к изголовью носилок, в это время Платон Алексеевич дернулся в последний раз, вытянулся и затих.

Ни Ратников, ни Люда с Надеей еще не понимали, что произошло. Они стояли, глядя на Платона Алексеевича с недоумением и ужасом. Не могло быть, чтобы он умер! Вот так вдруг взял и умер... Он только что смеялся, шутил... Этого быть не может! Он только что ел... Хвалил крошку...

Ираида Васильевна с трудом выбралась из машины. Ратников увидел ее пустые глаза, и тогда только ему сделалось холодно. Сломленным шепотом Ираида Васильевна сказала чуть слышно:

— Умер.

Страшно закричала Люда:

— Не-е-ет! Не-е-ет!

А Ираида Васильевна, как бы убеждая самое себя в случившемся, повторяла и повторяла слабым голосом:

— Умер. Все-все, умер. Умер...

3

Платон Алексеевич сутки лежал в гробу на том самом столе, за которым два дня назад пил коньяк, за которым шутил, смеялся и, жизнерадостный, бодрый, собирался долго еще жить и работать. Привезли совсем отяжелевшую, жалкую тетку Настю, приехала из Рязани маленькая сморщенная бессловесная мать Ираиды Васильевны, а с нею еще какие-то родственники, которых Ратников никогда не видел и не знал. Сутки в квартире говорили шепотом, стонали, всхлипывали и плакали, а во вторник днем под звуки духового оркестра, под стенания собравшихся гроб вынесли, провезли по улицам и на полдня установили в самом большом зале старинных палат, где обычно проводились заседания областного суда, всевозможные собрания и совещания, где не раз выступал с речами и докладами сам Платон Алексеевич.

По одну сторону от возвышения с гробом сидели на стульях родные покойного — у всех были мокрые и красные, опухшие, обезображенные горем, бессонницей, духотой и слезами лица; а по другую сторону возвышения, вдоль гроба, в течение трех часов шли и шли люди. Прощались с покойным и те, кто хорошо знал его, работал с ним, и те, кто только слышал о нем. Смерть сразу вырвала его из цепи людских отношений, и слезы текли по лицам тех, кого он выделял из всех, премировал, награждал, и по лицам тех, кого он нередко распекал, лишал прогрессивки, кому в приказе объявлял выговор. У ног и в изголовье гроба, часто меняясь, в почетный караул становились другие люди, те, которые сами устраивали Платону Алексеевичу разносы и сами же представляли его к премиям и наградам.

Выходя из зала, люди переговаривались:

— Эх! Человек был!

— Работяга.

— Казалось, двужильный.

— Износу, думалось, не будет.

— И на тебе, в один миг не стало...

Прощанию, казалось, не будет конца, но вот распорядители с красно-черными повязками на рукавах закрыли дверь в зал, и, после того как к гробу еще раз припали родные, в вестибюле раздались звуки похоронного марша, и потянулись на улицу, в толпу, один за другим люди, которые несли красные подушки с боевыми и трудовыми орденами и медалями Платона Алексеевича и бесчисленные венки, оплетенные черными лентами с золотыми и серебряными надписями. Гроб установили в закрытый, душный катафалк, и катафалк поплыл от палат через сквер, мимо древних соборов; и по городу за катафалком на добрый километр вытянулась вереница легковых машин, автобусов, грузовиков, заполненных провожающими.

4

Пятеро Ратниковых не вернулись с войны, теперь ушел из жизни еще один, и остался в живых последний Ратников.

Только бы жизнь продолжалась на земле. Только бы росли и влюблялись и рожали детей другие — бу-

дут ходить среди них и Ратниковы. Пусть не прямые его потомки, но все-таки...

Пройдут сотни лет, и люди так же, как сейчас, будут вглядываться в прошлое, и мы им, этим людям, будем такими же далекими, как для нас те, кто похоронен в безвестных курганах и могильниках. Но сколько бы ни прошло дней после нас, в наш век будут вглядываться с особой пристальностью, потому что жили мы в особенное время — время, от которого начиналось новое их будущее...

А что дали мы этому будущему? Что дал ему он, Ратников? Что успел сделать?..

Быть может, он умрет завтра, вдруг, неожиданно и легко, а быть может, смерть придет к нему еще не скоро, и жизнь его, которая, возможно, была нужна будущим поколениям, станет уходить от него медленно, и угасать он станет постепенно, все больше теряя свою человеческую ценность, превращаясь незаметно в нечто слабое, беспомощное и жалкое...

Глава XIII

1

После похорон деверя тетка Настя осталась в городе, а Ратников уехал.

К деревне на этот раз он вышел из леса в другом месте, и приблизился к избам с другого конца, и очутился возле старой полуразрушенной церкви — проломы вместо окон и дверей, ободранная кровля, полуосыпавшиеся фрески. Рядом, под вековыми кленами и липами, истоптанный и изгаженный скотом погост, на котором еще сотни лет назад хоронили предков Ратникова. Проходили годы, кресты на могилах гнили, менялись на новые и опять гнили, заваливались, и люди забывали, кто лежал когда-то под этими крестами, и выкапывали на том месте новые могилы, и, может быть, закапывали в них других, более близких его предков...

На погосте он разглядел несколько свежих могил, обнесенных деревянными и металлическими оградами, за оградами стояли кресты — деревянные и металлические, а на двух могилах —obelisks с пятиконечными звездами,

Ни на обелисках, ни на крестах не было никаких надписей, значит, люди хорошо знали, кто где похоронен, и думали, что будут об этом вечно помнить.

Ратников посидел в тени, под липами с толстыми потрескавшимися, дупляными стволами и усыхающими верхушками, а когда услышал приближающиеся голоса, поднялся и, чтобы ни с кем не встречаться, пошел за-
дами к своему дому.

В избе было прохладно, тихо и пусто. И на душе было пусто. Пусто, одиноко и тоскливо. Но ничем он не мог заполнить эту пустоту, ничто не могло избавить его от одиночества и тоски — впереди у него не было ничего.

Три дня Ратников прожил один. Он понимал, что ему надо каждый день бывать в городе, утешать Ираиду Васильевну, вновь осиротевших Люду и Надю, но никак не мог пересилить себя, преодолеть охватившее его безразличие ко всему на свете.

Перед выпиской из госпиталя, в котором они с Хуцишвили пролежали так долго, ему подробно объяснили, как будет протекать его болезнь и как ему должно жить, что можно делать и что нельзя, что можно и чего нельзя есть и когда и куда обращаться за помощью. Он знал, что ход его болезни вот-вот изменится и ему придется сразу же уехать отсюда. Быть может, его опять ждет тот же госпиталь, а быть может, и не потребуется госпиталя...

Ему была предписана калорийная щадящая диета. Каждый день он лазил по лестнице к насесту, снимал свежие, теплые еще яйца, ходил в лавку за привозным хлебом и маслом и с бидоном в руке стоял в очереди старух и детей, когда в деревне останавливался молоковоз и шофер, сверяя фамилии со списком, разливал молоко по бидонам и кастрюлям — лил каждому столько, сколько значилось в списке.

В деревне стояло более семидесяти дворов, но в списке, по которому выдавали молоко, значилось всего шестнадцать фамилий. Это были люди, которые все перетерпели, все выдержали, да таки не ушли из колхоза, состарились в колхозе, а теперь получали от него пенсию.

Список начинался с Уколовой Марии Яковлевны, второй в списке была Настасья Ивановна Ратникова,

его мать. Обе старухи и теперь еще хаживали иногда по нарядам колхозного бригадира в поле и гордились этим.

— В страду, чай, каждые руки дороги, — говорила тетка Настя. — Разве усидишь на печи, разве утерпит-ся...

Односельчане с уважением и любопытством поглядывали на Ратникова, заговаривали с ним. Он неохотно, сухо отвечал и скрывался от всех у себя в доме.

2

Как рано ни выходил из дома Ратников, а Федя-Старатель, сгорбленный, хилый, уже копался в своем огороде. Иногда он заходил к Ратникову. Присаживался на траву, выкуривал сигарету и опять уходил делать свое нехитрое дело.

Однажды проездом с курорта к Феде-Старателю появилась дочь Валя. Уже через полчаса она забежала к Ратникову. На руках у нее был сын, который только начинал говорить. Сын показывал пухлой ручонкой с растопыренными пальцами на все, что попадалось ему на глаза, и, пуская пузыри, твердил: «Дзя-дзя-дзя, дзя-дзя-дзя».

— Дядя, это дядя, вот он дядя, — счастливо повторяла за ним Валя, весело и неотрывно глядя на Ратникова, и ручонкой сына ерошила ему волосы.

Полную гибкую фигуру Вали чуть прикрывал короткий сарафан на узких бретелях, тело ее было темно от загара, а смеющийся рот свеж, ярок и белозуб, и вся она, казалось, пропахла солнцем и морем, и в глазах ее, которых она так и не отводила от лица Ратникова, светилось озорство и радость.

— К папе вот едем, — говорила она, — к папе. А папа в море ушел, нет дома папы, а мы скучаем по папе.

— Он моряк? — спросил Ратников.

— Моряк, — со вздохом и улыбкой ответила Валя. — По полгода, бывает, не видимся. А вернется, недельку побалуует нас с сыном и опять уйдет месяца на три, на четыре.

Ратников кивнул — понимаю, мол.

— Скучаем мы по папке, скучаем, — говорила Валя и все лохматила волосы Ратникова рукой сына, и глаза ее откровенно говорили, как она скучает без мужа.

К забору подошли Федя-Старатель и Лидуха, стали звать Ратникова в гости. И Валя твердила:

— Пойдем! Давно ведь не виделись. Пойдем!

Ратников тогда с трудом отговорился. И Валя ушла от него обиженная. А через час у забора опять появилась Лидуха.

— А мой-то наклюкался, — сообщила она. — Аль не видел? Да видел, чай. Срамота. До топчана доволкла насилу...

Лидуха посмеялась и отошла, а Федя-Старатель после того целых три дня не делал ничего в огороде. Изредка появлялся хмельной и счастливый, пошатываясь, водил дочь меж грядок и, глядя на все сонными, красными глазами, хрипя и кашляя, показывал дочери каждое деревце, каждый кустик, который без нее посадил и вырастил. Потом опять скрывался в доме, и из дома, по обыкновению, слышались крики и хохот, и звон и дребезг, и вроде бы даже плач, и все стихало. Появлялась Лидуха. Кривя в усмешке нос, говорила дочери:

— Видала идола! Все такой же. Наклюкается — и вот шумит, вот шумит — страху сам на себя нагоняет, а толкнешь — завалится. Спит.

Дочь и мать хохотали и надолго усаживались в тень под черноплодной рябиной, и слышно было, как Лидуха рассказывает деревенские новости.

Валя больше не заходила к Ратникову и делала вид, что вовсе не замечает его, но Ратников с досадой видел, что она частенько поглядывает тайком в его сторону.

3

До армии Ратников не понимал подобных взглядов. Он всегда был занят, вечно спешил, торопился куда-то и был равнодушен к повседневным житейским радостям. У него было множество дел, он был увлечен ими, и чувствовал себя счастливым, и не задумывался о счастье.

Теперь же смотрел он на все по-другому и многое по-другому понимал. Когда в своем огороде появлялся Федя-Старатель, и, пошатываясь, подходил к внуку, и гладил рукой с подогнутым мизинцем голову ребенка, и беззвучно посмеивался, Ратников понимал, как радуется Федя-Старатель, и в глубине испытывал зависть к нему.

Ему казалось, что будь он сам теперь здоровым, он зажил бы такой же нехитрой жизнью, какой живет Федя-Старатель, и был бы счастлив.

Радовался бы, наготовив в лесу дров, и томился бы в ожидании часа, когда сумеет перевезти эти дрова из леса, и наслаждался бы потом, поглядывая, как лежат высокой горой на задах усадьбы золотистые и белые бревна, и опять томился бы, предвкушая ту радость, которую испытает, когда собственноручно распилит всю эту гору на круглые чурбаки, а потом развалит на гладкие плахи, и переколет плахи все до единой на звонкие поленья, и уложит наконец дрова в длинные, ровные и светлые поленницы...

А разве не радовался бы он, видя, как растут его дети, не был бы счастлив, дождавшись приезда в гости здоровой и красивой дочери и забавного крепкого внука?..

Ратников думал порой, что простые житейские радости быстро приелись бы и наскучили ему, но в это не верилось, и все хотелось жить, жить и жить, бесконечно жить такой вот жизнью, какой живет Федя-Старатель со своим семейством.

Раскладушку свою Ратников перетащил за кусты крыжовника, поставил так, чтобы раскладушку не видели соседи, и лежал теперь на ней целыми днями, глядя в небо.

Дважды за эти дни заглядывала к Ратниковым Яковлевна. Вползала в калитку, стучала в землю клюкой. Ратников одевался, спешил навстречу, и она разгибалась в пояснице.

— Не вернулась мать-то? — Глядела остро, поястребиному. — Ушел Платон. Ушел. Вы, мол, тут хлопчите, ковыряйтесь в делах своих, а с меня будет. Я, мол, все отдал земле. Сполна. Земля-то, мол, меня и примет добром.

Яковлевна забывала о Ратникове, горбилась пуще прежнего.

— Заявится тетка Настя, кликни, Забегу. — Опять поднимала голову, глядела сердито: — Ведь и я одного с тобой роду — Ратникова была в девках... Женились, бывало, в деревне на своих... Теперь из Ратниковых в живых остались — я да ты. Из мужиков — ты один...

Она глядела на него совсем свирепо, а он улыбался в ответ.

— Смеешься? А в глазах скукота... Не подхватил ли хворобу какую?..

Грозил ему костлявым пальцем:

— Ты у меня гляди! Гляди у меня!..

4

Яковлевна уползала за калитку, а Ратников, совсем подавленный, возвращался под вишни.

Вся прошлая жизнь деревни, бывшая до этого такой далекой ему, жизнь, какой жили здесь задолго до его рождения, вдруг придвигалась вплотную, обступала, и что-то непонятное необъяснимым образом вдруг тесно связывало его со всеми, кто родился и жил в этой деревне, одной участью, одной судьбой...

Что значит несколько десятков лет для истории? Для ее движения вперед? Но как дорого дается это движение человеку! Какой ценою заплатили за него отец его и Тихон, Матвей и Платон и еще множество-множество людей, которые, возможно, и не знали, что такое история, и ни о чем другом не помышляли, кроме как о своем пахотном клине и скудном хлебе, — и все-таки двигали ее. А сам он? Неужто и его жизнь — это всего лишь крохотное звено истории, ее неполного полувекового оборота?..

А ведь он родился для того, чтобы жить. Жить!..

Ратников вскакивал с раскладушки. Метался по огороду, давил длинными ногами плети огуречных и тыквенных стеблей.

Он быстро уставал и снова ложился. Закрывал глаза,

Уж наступил вечер. За деревней, мыча и поднимая пыль, прошло колхозное стадо. Городские холмы подернулись сиреневым туманом, через этот туман видно было, что на улицах города и в домах зажглись и горели, мерцая, желтые огни, вспыхивал зеленый, красный и синий свет неоновых реклам, и слышно было, как где-то за городскими холмами, приближаясь, тягуче рокотал гром — оттуда, с севера, тянуло свежестью: видно, и в эту ночь ливни собирались омыть землю...

Ратников стоял на крыльце, готовясь уйти в дом, когда увидел на улице Люду и Надю. Они открыли калитку и подошли к Ратникову. Остановились, молча глядя на него.

Он распахнул дверь в сени, и девушки поднялись по ступеням, вошли в темный дом.

Ратников зажег свет. Люда и Надя сели, печально и все так же молча глядя на него. Он приготовил ужин. Порезал батон, принес творог и молоко. И они втроем поели в полном молчании.

— Ну, как там? — спросил наконец Ратников.

— Ничего, — сказала Люда и вздохнула.

А Надя, зажав в коленях ладони, склонилась вперед, спрятала от Ратникова заблестевшие глаза.

— Я вот все думаю, — сказала Люда, — если бы он не вставал... Если бы уложили его на носилки... Если бы мы знали...

— Что теперь говорить об этом... — Ратников прошелся, думая о том, что жизнь человека обрывается иногда до нелепости случайно. А Платон Алексеевич умер не так. У него уже был инфаркт, и он знал, что ему нельзя работать и жить так, как он жил и работал...

— Зачем все это? — сказала Люда. — Живешь-живешь... А зачем?

Надя подняла голову.

— Жить не хочется.

— Все равно жить надо. — Глядя на девушек, Ратников думал еще о том, что скоро, может быть, очень скоро Люда и Надя свыкнутся со случившимся,

и даже забудут о смерти Платона Алексеевича, как все и обо всех забывают, и у них все будет, как у всех, — и смеяться будут, и полюбят кого-то, и замуж выйдут.

— Да, надо, — согласилась с ним Надя, — жить все-таки надо.

— Я к себе пойду, на сеновал, — сказал Ратников. — Вы сами тут хозяйничайте.

— Ага, — Люда кивнула и улыбнулась ему. — Посиди. Еще успеешь, выплещешься.

Ратников ушел, не ответив.

2

Проснулся он позднее обычного, спрыгнул с сеновала и увидел Люду.

— Не знаешь, что у вас тут вырастет?

Люда стояла возле грядок, держа в руке только что выдернутую морковь, и улыбалась.

— Головка, туловище, ножки — человечек. Рук только не хватает.

— На женьшень похоже, — сказал Ратников. — Цвет не тот.

На крыльцо вышла Надя, тоже улыбнулась:

— Проснулся?

— О-о! — воскликнула Люда. — Ну и храпишь ты! Я думала, лев.

Надя прыснула, но тут же вздохнула, потупилась.

— А завтрак давно готов.

На завтрак был зеленый салат со сметаной, черный хлеб, яичница и молоко. Ели молча. Люда и Надя изредка улыбались Ратникову, и он был рад этим улыбкам.

После завтрака все вместе занялись уборкой — протерли пыль, вытрясли на улице половики, вымыли полы. Потом поливали огород, обрывали малину.

— Все переделали, — сказал Ратников.

Девушки дружно вздохнули, и Люда сказала:

— Пойдем купаться. Чего уж...

Ратников кивнул, и девушки обрадовались, побежали в дом собираться, а он стоял, глядя им вслед, думал, что в жизни всегда вот так, наверно, бывает: живой живет и о живом думает.

Они выходили из деревни, когда их окликнули. Подошла женщина с красным обветренным лицом, из-за спины перекинула на живот тяжелую кирзовую сумку и, порывшись в газетах, протянула Ратникову письмо.

Почерк и обратный адрес были незнакомы, вместо фамилии внизу конверта стояла роспись. Ратников распечатал конверт, вынул небольшой лист бумаги — и там, внизу, размашистая подпись. Он прочитал письмо до половины, пока не понял, кто пишет. Тогда он сложил письмо вчетверо и вместе с конвертом сунул в карман.

Они шли какое-то время молча.

— Сережа, — попросила вдруг Люда, — почитай нам стихи. Что-нибудь из своего...

Ратников не ответил.

— Пишешь стихи? — Она тронула его за руку.

— Что?

— Стихи пишешь?

Он мотнул головой.

— Письмо плохое? — встревоженно глядя на него, спросила Надя.

— Нет. От Виктора Малышева. Мы с ним в институте дружили. — Ратников почувствовал, как сжалось его сердце.

3

После выпускного бала они обменялись адресами и разъехались по домам. Но Ратников не писал Виктору из деревни — писать было не о чем, а из армии — нельзя. Нельзя было писать о том, о чем хотелось, а сообщать только то, что ты попал в солдагы, Ратников не хотел. Виктор Малышев узнал его новый адрес через мать и письмом своим взбудоражил тогда и расстроил Ратникова. Малышев писал:

«Знаешь, Сергей, вспоминаю нередко о последней твоей работе, о твоём проекте. Ты не любил о нем говорить, извини, но я-то знаю, сколько и чего ты вложил в него; и вся твоя работа предстает теперь передо мной, в сравнении с будничными делами и заботами нашей мастерской, совсем в ином свете, чем виделась раньше. Работа твоя представляется мне все более и более значительной, масштабной, что ли... Перспектив-

ной, необычной и даже чуть ли не гениальной. Я рассказал о ней ребятам, в пределах того, конечно, что известно самому. По их совету и просьбе, по просьбе нашего Главного и пишу тебе. Как дела? Ответ, не ленись. И как живешь вообще? Чем занят? Какие планы на ближайшие столетия? А может, после армии переберешься к нам? У нас в мастерской подобрались ребята стоящие, а наш Главный дает нам простор, не глушит...»

После этого письма Ратникову показалось, что за год, проведенный в армии, он многое забудет, отвыкнет от многого и ему потом придется заново осваивать по крупицам те азы, о каких он уже и не думает, но какие нужны, необходимы архитектору постоянно. Он тосковал тогда о потерянном времени, и казалось ему тогда, что потерю эту ему уже ничем не восполнить.

В госпитале все эти его терзания представлялись ему уже детски смешными, и он вспоминал о них с грустью и болью. Что значит для человека год, если впереди у него целая жизнь?! Он прослужил бы два года, три, лишь бы...

В госпитале он окончательно решил, что не вернется к работе, которой хотел посвятить всю свою жизнь. Зачем? Что он успеет сделать?..

Теперь Виктор снова отыскал его. Снова спрашивает о том заброшенном проекте. Рулоны чертежей, альбомы, тетради с расчетами лежат в одном из сундуков, обитых ржавой жестью.

Ратников шел все медленней и медленней, наконец остановился. Люда тронула его за руку.

Он поднял голову. Взгляд его испугал девушек. Ратников не видел их, словно стоял за непроницаемой прозрачной стеной.

Люда дернула его за рукав. Он вздрогнул и очнулся.

— Вот что, — сказал он тихо, — вы идите... Идите, а мне... Мне надо вернуться...

Он живет так, будто для него уже все кончилось? Разве он уже совсем ни на что не способен?..

— Что, стихи?.. Новые стихи?.. — спросила с надеждой в голосе Люда.

— Стихи?..

Нет, стихи он писать больше не будет... Не будет...

— Идите, идите, — громче и резче сказал Ратников. — А я вернусь. Мне надо...

4

В деревню девушки возвратились под вечер. Ратников сидел в горнице запершись, и они постучали. Он открыл дверь, стоял, загораживая собой проем. Наконец сказал:

— Поесть найдете там, на кухне. На кухне и в подполе.

Он еще постоял молча и затворил дверь — лязгнул крючком.

Люда скривила губы, а Надя закрыла лицо ладонями.

Ратников слышал сначала, как Люда успокаивала Надю, и как девушки шептались, и как Люда называла его солдафоном и дураком, но уже через десять минут он перестал улавливать, что происходит в доме или на улице.

Когда стемнело, Люда опять постучала в горницу. Выждала и крикнула:

— Сережа!

Он не отозвался.

— Сергей! — снова крикнула она.

Тогда Ратников открыл дверь. Девушки глядели на него обиженно.

— Простите меня, — тихо сказал он. — Я хам. Вам и так тяжело, а я... Но я не могу... Мне надо... Не обращайтесь на меня внимания... На сеновале переспите.

Он вернулся в горницу, притворил за собой дверь, собрал постельное белье, на котором девушки спали накануне, вынес его и спихнул на руки Люды.

— Спите на сеновале. Там хорошо. Ладно?

5

Наутро девушки нашли на кухне кринку парного молока, хлеб и творог. Рядом лежала записка: «Некогда мне. Простите».

Люда сунулась в горницу — дверь была заперта.
— Ты завтракал?

— Ешьте, ешьте, — отозвался Ратников.

— А ты?

— Отстань! — крикнул он.

Люда закусил губу и отошла от двери. Через полчаса вновь постучала:

— Мы уезжаем домой.

Ратников помедлил, потом сказал:

— Счастливо.

— Свинья! — крикнула Люда.

Ратников слышал, как девушки выскочили из дома, слышал, как хлопнула калитка, и опять, как вчера, перестал замечать, что происходит вокруг. Не различал шепота за окном, не заметил и заглянувшую в окно Люду.

А Люда увидела Ратникова, хмуро вглядывавшегося в страницы толстой тетради в клеенчатом коричневом переплете, увидела множество чертежей — в рулонах и развернутых, приколотых кнопками к полу, и тихонько покашляла.

Ратников вздрогнул.

— Мог бы ты объяснить все по-человечески? — спросила Люда.

Сморщившись, Ратников тяжело поднялся и захлопнул перед ее носом окно. Люда высунула язык, и Ратников задернул занавеску.

«Вот так, — думал он с тоской, — надо сразу кончать со всем, что будет мешать. Сразу...»

Глава XV

I

Ратников опять остался один. Но и потом, когда возвратилась из города мать, он все равно был один. Он, и только он, один во всем мире мог сделать то, для чего учился, думал, для чего родился, рос.

Когда явилась мать, Ратников сразу увидел, что за эти несколько дней она совсем состарилась. Еще больше отяжелела ее походка, морщины, собранные на лице в узлы, уж не разглаживались, руки дрожали, а голова стала совсем белой.

Он прижал к себе ее голову. Мать заплакала. Шарил по его груди руками, шептала сквозь слезы:

— Сыночек ты мой! Сынок! Радость моя единственная!

— Мама, — прервал он ее, — мне надо работать. Я буду много работать. И прошу тебя только об одном: не мешай. Мне надо... Понимаешь, надо!..

Мать оторвалась от его груди, мокрыми глазами глядела снизу. Она сглатывала душившие ее слезы, и такая печаль, такая боль были в ее взгляде, что Ратников понимал, как нужна ей теперь его веселость, его ласка, и ощущал всю жестокость того, что собирается сделать, и ему хотелось обнять свою старую мать и вместе с ней заплакать.

Он справился с этой минутной слабостью. Глядел без улыбки.

— Мама. Прости меня! И оставь одного. Мне пора... А сама к Яковлевне сходи. Она просила, чтобы ты зашла.

2 .

Пересиливая охватившую ее тревогу, тетка Настя принуждала себя не думать плохо, но не могла уйти сразу, не могла оторвать тоскующего взгляда от лица сына. Долго вглядывалась в его худые бледные щеки, в его блестящие лихорадочно глаза, в его плотно сжатые губы — глядела, будто прощалась на век. А Ратникову все трудней было выдерживать ее взгляд, все больше разрасталась в нем жалость к этой маленькой старушке, такой родной, каких не было и не будет больше на земле и какую он обрекает отныне, жестоко обрекает на полное, безутешное одиночество, на такую пустоту, которой нет конца.

Ратников еле сдерживал себя, чтобы не кинуться к матери, не обнять ее. Он не мог себе позволить этого, потому что не хватило бы потом у него сил подавить в себе нежную жалость и первобытную утробную жажду ласкать, успокаивать, согревать своим теплом эту старую женщину, выносившую его в себе, давшую ему жизнь и такую беспомощную теперь.

Долго глядели они друг другу в глаза. Тоскуя, тетка Настя все же не знала еще, что с этого дня у нее в жизни больше не будет радости. А Ратников, который твердо решил, как станет жить дальше, тоже не знал всего, что его ждет. Не знал Ратников и того,

много ли успеет сделать и есть ли в этом его труде смысл.

И оба они, мать и сын, не предполагали, что мало, очень мало осталось им быть вместе.

Глава XVI

I

Первые дни Ратников почти не выходил из горницы. Звала мать к столу — молчал, опять звала — появлялся. Проглатывал что-нибудь и снова уходил. Требовалось вспомнить все, чем жил когда-то, из чего складывался постепенно замысел и что он успел закрепить на бумаге в записях, чертежах и расчетах.

Но дни шли, и настроение Ратникова менялось. Еще не все бумаги были разобраны, рассортированы, а он вдруг разочарованно охладел к ним: в бумагах находил лишь разрозненные куски, лишь путь поиска. Испытывая к этим чертежам и тетрадям все большее пренебрежение, он вдруг понял, что замысел, который возник у него в институте и мешал ему работать над дипломным проектом, — замысел этот все еще продолжает вызревать в нем. Ведь он не расставался с ним и в армии, когда долбил скалистый грунт, и в госпитале, когда вспоминал тайгу, и сопки, и запрятанный среди них город...

Город в тайге и теперь приходил ему на память, он снова видел его улицы, плавно текущие между белыми и медными стволами берез и сосен, снова глядел на вековые деревья, стоявшие посреди тротуаров или подступавшие вплотную к домам, и то, что пробуждал в нем этот город, каким-то образом сливалось теперь с тем потоком мысли, какой втянул его когда-то в свое русло, рождало что-то новое, и в глазах у него возникал другой город. Не существующий. Новый. Свой.

Он понимал, что в голове у него складывается лишь художественный образ города, в котором все ему, почти все понятно, многое зримо, но нет ничего обоснованного, выверенного математически и закрепленного в чертежах...

Город этот, думал он, не будет походить на тот, в тайге... Он вообще не будет походить ни на какой дру-

гой город. Он будет открытый и просторный, он будет самый светлый и самый веселый!..

И такие города должны стоять по всей земле!

Возникала потребность погрузиться в работу — рисовать, чертить, высчитывать!..

Он хватал чистую бумагу и наспех вчерне чертил, зарисовывал то, что казалось важным и требовало немедленной фиксации.

Тревоги, заботы, мучившие его перед тем, уходили в глубину, а предчувствие беды хоть и не оставляло совсем, но гложло, лишь слабо ныло.

Но чем больше думал Ратников, чем больше скапливалось сделанных наспех набросков, чем яснее становился объем работ, какие предстоит выполнить, тем чаще и чаще из глубины сознания поднималась тоска, и превращалась в боль, и затеняла все остальное.

2

Однажды в ночной бессонный час пришло к нему то ясное и трезвое, то осмысленное до конца понимание сути, в котором обычно выкристаллизовывается окончательно и получает завершенность открытие, — пришло к нему ощущение объема и веса того, что предстоит сделать: выверить бессчетное множество частных, и свести воедино весь проект, и разработать в деталях...

Расчеты, расчеты, расчеты! Выкладки!..

Для этого нужна жизнь. Целая жизнь! Долгая-долгая!..

Возвысился над ним его собственный замысел горой, и он увидел себя у подножия этой горы: маленький, как крот... Но он должен что-нибудь сделать, И, может быть, еще что-то успеет? Должен успеть, Должен, должен. Иначе зачем ему жить?

3

К тому, что извлек Ратников с трепетом и надеждой из окованных жестью сундуков, он утратил вскоре всякий интерес и не дотрагивался до бумаг больше. Ничего не делал и впадал во все большее безразличие.

Целыми днями мерял шагами горницу, лежал ча-

сами на диване, а по вечерам, совсем поздно, когда его никто не мог видеть, уходил за деревню.

Поднимался на холм за домом Игната Ратникова, садился под пахучей скирдой свежего сена и глядел на лежащий внизу темный полукруг земли, отделенный сверкающим ожерельем городских огней от необъятного, медленно угасающего неба.

Сидел, как ему казалось, бездумный, отрешенный, пустой. А в голову нет-нет да и приходили мысли, нацеленные на одно и то же: на ту главную идею, которая дала первый толчок к замыслу, какая вот уж сколько лет владела им, и не отпускала, и требовала решения. В воображении нет-нет да и возникали отчетливые подробности, не имеющие как будто бы прямой связи с той главной идеей, но ложившиеся кирпичик за кирпичиком в одно.

В скверах били высокие струи фонтанов, здания украшались мозаичными панно, скульптурами и барельефами, в интерьере общественных сооружений просматривались фрески — отдельные композиции виделись так ясно и четко, в такой завершенной полноте, что ему делалось порой жутко: так реально было иллюзорное!

Каким бы счастьем, наверное, было выносить в себе все это, выверить, рассчитать и вместе с макетами и эскизами выдать строителям отсиненные чертежи!..

Но о чем он думает!.. Хотя бы удалось обосновать направленность замысла, принцип застройки — функционально-пространственную организацию сооружений!.. Если можно так выразиться, архитектонику города!..

Да, пожалуй, архитектонику всего города — в этом сущность его замысла...

Он начинал думать о планировке города, о соотношении частей, о том, как расположить жилые кварталы, общественные, инженерные сооружения и транспортные артерии.

Он увлекался, но размышления всегда приводили его к охлаждающей мысли, что архитектурная идея не может быть абстрактной — лишь в форме проекта, привязанного к конкретным условиям, к местности, она обретает реальность.

Сжавшись, он сидел под скирдой и не замечал, как угасало небо, как наступала ночь,

За деревней, внизу, возникал туман. Взлохмаченный, сизый, поднимался и затоплял всю ложину — леса и луга, ракитовые заросли и блестящие до этого излучины реки. Краски меркли, зато разгорались всюду огни города, мерцали, как звезды, и явственными становились все звуки, раздававшиеся в деревне, отходившей ко сну.

Все добродушнее и реже лаяли собаки, скрипел колодезный журавль, звякали дужки ведра и слышался воркующий голос женщины, произносившей слова, какие говаривали, наверно, сотни лет до нее:

— А вот донесем до крыльца водичку и напьемся холодненькой. Ножки помоем и спать ляжем... И петушок спит, и киска спит, и Андрейка спать ляжет...

Пройдут века, а такие баюкающие голоса все будут звучать в ночи...

Когда пронзительный, золотисто-зеленый свет неба угасал и короткая летняя ночь закрывала небо глубокой синью, с края неба, от земли, оттуда, где угадывался еще горячий след ушедшего солнца, появлялся в небе темный силуэт большой птицы — наверно, совы. Птица подлетала к скирде, и, как казалось Ратникову, замирала в воздухе, и уплывала за скирду, и появлялась с другой стороны, опять колеблющимися движениями зависала перед самым лицом...

Ратников слышал шум крыльев — шух, шух, шух, чувствовал на лице дуновение и напрягался, готовясь закрыться от птицы руками, но птица, возникнув два-три раза, исчезала.

Чего она вглядывалась в него из темноты? Что надеялась увидеть?

4

Деревня засыпала — ни огонька, ни звука, — а город бодрствовал: доносился неясный его гул, и чем плотнее сгущалась ночь, тем ярче светился город.

Ратников думал, что мысли его не имеют отношения к городу, на который он глядит, как привык глядеть с детства, и который высвечивает теперь облака в ночном небе; но, не отдавая себе отчета в том, зачем это делает, вспоминал его улицы, прослеживал их от начала до конца, вглядывался в перекрестки, переулки и тупики, будто рассматривал карту или план города.

Сотни лет строился он, стихийно рос... Пришло время строить по-другому: главным теперь должно стать прогнозирование. Долговременное, рассчитанное на сотни лет...

Если бы Ратникова после спросили, когда он впервые стал примерять замысел свой к этому городу, он бы не смог ответить на этот вопрос, но сам раз от разу все настойчивее, все чаще думал о его окраинах и пробовал их обжить, пробовал поставить новые дома, проложить дороги там, где в извилах реки к городу вплотную подходили леса.

Почему он отказался тогда от предложения Платона Алексеевича работать в городе?!

Загрузили бы новичка срочным и будничным...

Вжился бы зато в ландшафт...

И опять он расставлял дома, примерял их к тому району, где был сад Платона Алексеевича и который он хорошо знал,

Глава XVII

1

Однажды он просидел под скирдой до рассвета. Дождался, когда просветлеет небо, а земля обретет цвет, и поднялся, зная, что ему надо делать. Ему надо в город...

К Ираиде Васильевне он явился совсем рано. Та слушала его, не понимая, глядела пустыми исстрадавшимися глазами, но все же потом села к телефону и, пользуясь связями Платона Алексеевича, выхлопотала для Ратникова разрешение ходить в библиотеку проектного института.

С того утра и начались дни и недели, какие прожил он, одержимый стремлением сделать то, что отмерено было ему на целую жизнь.

Горница вновь была завалена рулонами ватманской бумаги, калькой и миллиметровкой, блокнотами и тетрадями. Он сколотил себе из досок и обшил фанерой чертежный стол — дни и ночи горбился над ним, вдруг бросал все и бежал в город, в проектный институт.

Там дотошно расспрашивал тех, кто проводил изыскания, выводывал у специалистов сведения, какие, казалось бы, не имели отношения к архитектуре, но кото-

рые он хотел знать, чтобы застраховать себя от ошибок в отправном, в исходном.

Больше всего его интересовала документация полевых исследований, и он подолгу просиживал над дешифрованными фотосхемами, геологическими картами и профилями, изучал заключения, обобщения и выводы геологов, геодезистов, почвоведов. Старался запомнить, впитать лишь содержание, представить себе в целом характер грунта интересовавшего его района, но бумаги эти, написанные сухим языком, испещренные научными терминами, порой поднимали в нем что-то ненужное, то, что будило глубоко сидевшую боль и отвлекало.

«В лесах, примыкающих к юго-западным окраинам города, — читал он, — напластования в целом образованы меловыми и четвертичными отложениями. Меловые отложения представлены нижним отделом, его вятским ярусом, размытым в дочетвертичные и раннечетвертичные времена. В литологическом составе пород отличаются глины, алевроиты, пески мелкие. На размытой поверхности меловых пластов лежат осадочные толщи водно-ледниковых, аллювиальных, озерных, болотных отложений окско-днепровского времени, покрытых плащом нерасчлененного комплекса перегляциальной зоны Валдайского оледенения...»

Он отрывался от бумаг, сидел какое-то время, вперив взгляд в одну точку.

Тысячелетия... Всепоглощающие, бездушные — им нет никакого дела до человека, а человек стремится познать их тайны, в их глубины лезет. Все-то понимает человек, только себя самого постичь не может. Иначе зачем бы ему было создавать силы разрушения?..

Ратникову вспомнился воркующий голос женщины: «И петушок спит, и киска спит, и Андрейка спать ляжет...» Неужто придет время, когда не слышны будут в ночи такие голоса? Неужто не смогут договориться подобию люди, и ахнет космический взрыв, и разнесет в пыль, и развеет в пространстве то, что именуется гордо Землей?!

Зачем же тогда все усилия Ратникова? Его страдания? Зачем? И как совместить возможность такого исхода со всем тем, о чем мечтает извечно, к чему стремится, чего добивается человек?!

Мысли выстраивались в логическую череду, и Ратников обрывал себя, не давал мыслям этим идти дальше, туда, где подстерегали его все новые и новые вопросы. Расслабляющие волю вопросы о смысле жизни и смерти, о созидательном и губительном разуме, о безграничности пространства и времени и ограниченности человека. Он понимал, что ему надо безжалостно устранять все, что мешает работе, и опять сосредоточивался весь на бумагах.

2

На внешность свою он больше не обращал внимания. Ходил в костюме, из которого давно вырос, — руки торчали из рукавов, как муляжи; не брился, не подстригался — оброс; исступленно блестящие, лихорадочные глаза его, темные, длинные волосы, борода, усы в сочетании с иссиня-бледным лицом делали его приметным, и он всем бросался в глаза. Он никого не замечал, не отвечал на вопросы, не связанные с его проектом, лишь кивал, когда с ним здоровались, и замыкался в себе, отгораживался ото всех своими мыслями и неприступным видом нелюдимого человека.

Мать смотрела на него с жалостью. Пыталась вначале заводить разговоры о женитьбе, он хмуро взглядывал, отвечал резко, и она совсем притихла, затаилась в предчувствии беды.

Наведывалась Яковлевна. Ратников не выходил из горницы, слышал, как Яковлевна стучит по полу клюкой: — Живы тут?

Мать говорила что-то тихо — слов было не разобрать, старухи шептались, но Яковлевна с трудом, видно, сдерживалась, и в горницу опять проникал ее скрипучий голос:

— А чего?! Ну, и нечего!.. Гадай больше... Ратниковы — они все такие, на раскачку тяжелые, а пойдут — не уймешь, не остановишь!..

И опять шептались старухи, и опять прорывался голос Яковлевы:

— Будя, будя! Глазья у страха велики — чего и нет разглядят...

Подослала как-то мать к Ратникову деревенских девушек. Одну из них, ту, что приходила уже звать на свадьбу, он сразу узнал, о другой подумал, что видит

ее впервые, но она, как близнец, похожа на подругу — такая же плотная, коротконогая — сестра, что ли?..

Явились они, когда солнце ушло наполовину за горизонт и рдяные его лучи тревожно освещали сквозь сирень горницу.

— Мы вас, Сережа, звать пришли на вечерку, — краснея, сказала девушка, которую Ратников видел раньше. — Ой! Сколько тут у вас бумаг!!

Он, не отвечая, глядел на девушек через плечо, их лица залило красным, и глаза их обожгли его такой обидой и укором, что он, испытывая вину перед ними, сказал мягко:

— Спасибо... Некогда мне.

— Магнитофон разладился — поглядели бы...

— Не разбираюсь в магнитофонах.

Вторая девушка так покраснелась, что по голым рукам ее даже проступили красные пятна. Она кинулась вон.

— Приходите если что... — И подруга бросилась следом.

Дважды хлопнула дверь в сенях, стукнула дважды калитка. В горницу заглянула мать:

— Звали?.. Пойдешь? — Наткнулась на его жесткий взгляд: — Ох, сынок!.. Прости меня, старую!..

— Ничего-ничего, — сказал Ратников. Отвернулся и как бы забыл о матери.

3

Дорожил он теперь только временем. С досадой считал всякий раз часы, какие проспал или затратил на дорогу в город и из города.

В институте привыкли к нему. Самого его, никогда не улыбающегося, замкнутого в себе, сосредоточенного на том, что было известно только ему, — его стеснялись и побаивались; над ним, над его странной привычкой вдруг являться, без стеснения отрывать от дел, какими бы важными и срочными они ни были, и требовать заниматься только им, над его способностью вникать с въедливой скрупулезностью в такие мелочи, о каких они и не думали, — над ним посмеивались; и когда он уходил, глядели вслед, пожимая плечами и острословя; но, зная уже по опыту, что от него не отговориться, не отделаться, пока не выведает он все,

что ему требуется, открывали ему доступ к таким материалам, какие считались запрещенными для всех посторонних.

А Ратникову было все равно, как он выглядит, что о нем думают, потому что все в нем было подчинено одному. Он был уже убежден, что такого решения, к какому пришел он, еще не встречалось в практике градостроительства, испытывал радость, смешанную с горечью и страхом перед неизвестным — а что, если вдруг, неожиданно в болезни наступит кризис?! — и спешил, торопился, все больше поджимал и без того уплотненное время.

В те дни, когда удавалось ему сделать больше обычного, чувствовал себя счастливым. Ему казалось даже порой, что он всех перехитрил и болезнь его отступает — он не верил, не хотел верить в такие минуты, что обречен.

Но болезнь не отступала. И чем больше он работал, чем сильнее уставал, тем заметнее худел, тем быстрее терял силы. Все чаще усталость валила его с ног. Внезапно охватывала вялость, глаза слипались — он падал на диван и мгновенно засыпал.

Пробуждаясь среди дня, глядел на часы, и на него наваливалась тоска. Такая глухая, неизбывная, такая гнетущая, что он зарывался лицом в подушку, чтобы ничем не нарушить тишины в доме, не выдать матери отчаяние.

Не хватит ему времени, не хватит!.. И останется никому не известным то, что открылось ему, о чем только он знает, что может осуществить только он!!

Он открыл и может узаконить новое художественное явление, новое понятие, которому еще и названия нет!..

Если обосновать его, многое в проектировании и строительстве городов изменится. Изменится до неузнаваемости! Поднимется на новую ступень!..

А он не успеет, ничего не успеет!..

Он лежал, закрыв глаза. Плотнo сжав веки. А в глазах у него строился, рос, возникал новый город. И видел он его уже не только отстроенным, но и заселенным...

4

Все в этом городе было подчинено человеку. Все, что могло мешать ему, было отодвинуто за черту горо-

да, вознесено над землей или убрано под землю, упрятано в бетонные тоннели...

Ни одному пешеходу—рассеянному, слепому, ребенку—не грозила опасность попасть под машину...

Хорошо дышалось, легко жилось человеку в этом городе...

Город вращал домами своими в лес. Дома стояли на холмах и все насквозь просвечивались солнцем, а высокие деревья обнимали мощными кронами строения, и загораживали город от свирепых ветров, и сберегали прохладу в зной, и, как гигантские аккумуляторы, собирали в своих шапках кислород, и очищали от смрада и копоти воздух, и воздух этот был прозрачен и свеж и светился синим простором между могучими деревьями, между высокими светлыми зданиями, пронизанными насквозь солнцем. И возле каждого дома голубели водоемы, от каждого дома вместе с асфальтовыми дорожками убегали зеленые лесные поляны, и в каждом доме, в каждой его квартире пахло березовыми почками и сосновой хвоей, и в каждой комнате слышен был гомон лесных птиц...

Построить такой город—вот счастье!.. Тогда и умереть можно. Тогда не страшно умереть...

Пересиливая слабость, он поднимался и, подавляя в себе тоску, снова принимался за работу.

В минуты удачи выходил из горницы, улыбаясь. Подсаживался к матери, обнимал ее.

Теперь он, со своими усами и бородой, больше всего, наверно, был похож на кого-нибудь из тех предков, каких некогда представлял себе, но мать находила в его внешности совсем другие приметы и глядела на него с жалостью, и внутри у нее все холодело.

— Сынок! — говорила она. — Сыночек ты мой! Ты все-таки побереги себя! Пожалей меня, старую!..

Глава XVIII

I

Так все и шло, пока не наступил тот день, тот час, когда Ратникову стало совсем плохо, когда почувствовал он, что завтра ему не подняться. Он вдруг совсем обессилел и упал на постель, и ему казалось, что он

уже не в состоянии оторваться от этой постели; он почувствовал, что рад этому, и удивился этой радости, и это удивление не дало ему забыться мгновенно.

Откуда эта мимолетная радость? От облегчения?.. Он устал, он очень устал, и больше не может, и больше ему не надо...

Чего не надо?.. Пересиливать себя не надо. Испытывая горькое удовольствие, он закрыл глаза и с полминуты напряженно вслушивался, как шумит на дворе ветер, как трясет голые кусты сирени, и ветки стучатся в стекла, скребутся, будто просят впустить их в теплую избу.

«Зря, зря стучитесь,— думал он,— зря. Не всегда хорошо там, где тепло и тихо. Не всегда...»

Думал он машинально, по привычке, без тревоги, без огорчения, и шум ветра не беспокоил его, а убаюкивал, и овладевало им все большее безволие и безразличие, и хотелось полностью отдаться этому состоянию, и не двигаться, не думать, и уснуть, уснуть так крепко, чтобы не просыпаться больше, и чтобы никогда больше не надо было затрачивать никаких усилий.

Погружаясь все глубже в обволакивающее его забытие, он вспомнил вдруг о матери. Увидел ее глаза, полные слез, и, зная уже наверняка, что через несколько секунд полуобморочный сон совсем лишит его сознания, и тогда уже он ничего не сможет предпринять, и тогда уже будет поздно, понял, что рано ему расслабляться, что ему еще нельзя отдаваться покою, а главное, нельзя медлить. Именно сейчас, в эти последние секунды ему надо пересилить себя и встать... Встать, встать, встать! Повернуться на правый бок, приподнять голову, плечи... Спустить на пол ноги, и встать, и устоять!..

Надо как можно спокойнее, беззаботнее проститься с матерью... И надо уйти. Уйти сейчас же!

2

Когда он открыл дверь горницы и явился перед матерью с улыбкой на белом, густо обросшем лице, мать испугалась. Ухватясь за косяк, он откашлялся и принудил себя засмеяться:

— Вот и все... Закончил.

Мать испугалась чего-то еще больше,

— Чего закончил-то?

— Работу. — Ноги его все больше ослабевали, и он с трудом сдерживал их дрожь. — Сделал, что надо, и уехать должен.

Мать приблизилась.

— Это куда же? И так сразу?!

— Надо, надо, — сказал он.

— Надо! — с мольбой в голосе повторила мать. — Чай, не сегодня?!

— А когда? — Он помедлил, чувствуя, как немеет рука, сжимающая косяк, и подумал, что она может соскользнуть. — Сегодня. Оттягивать больше нельзя.

Мать протянула к нему руки:

— Сыночек! Что уж ты так?! Аль торопит кто, гонит?! Сделал — и ладно, и забудь о делах, и не думай. Поживи без забот, оправься. А так-то ведь... Рази можно так-то?!

— Отдохну после, — сказал Ратников. — А торопит дело. Надо.

Мать всхлипнула:

— Надо-надо... Ну не сегодня хоть! Слышь, на дворе что деется?! Боюсь, не сорвало бы крышу! Пережди! Пережди, ради бога! Может, уляжется ветер, может, снег пойдет?.. Пережди! Как же так, сразу?..

— Нельзя ждать, мама, — сказал Ратников. — Необходимо ехать... А сегодня?.. Так не знал, что сегодня закончу.

На глазах у матери появились слезы.

— И надолго?

— Надолго, наверно.

— Ах, господи! Сыночек!..

— Не надо, мама, не плачь, — сказал Ратников. — Я упаковал чертежи свои и тетради, а в отлучке этой надолго задержусь, видно, ты уж отошли их почтой. Другу моему. Виктору Малышеву. Адреса на пакетах. И отошли завтра — дойдут скорее...

Ему казалось, что ноги его сейчас подогнутся, и страшно было упасть здесь, на глазах у матери.

— Вот и все, — сказал он. — Мне пора. И прости меня, мама, что опять оставляю... Нужно.

— Сыночек! — взмолилась мать, — Поел бы! Горяченького выпил бы на дорожку!

— Нет-нет, — сказал Ратников, — на поезд опоздаю.

Не отпуская косяка, другой рукой он привлек к себе мать, поцеловал:

— Милая моя! Прости!.. Пойду я.

Привалилась мать к его груди. Припала к нему. Уцепилась за него руками, будто хотела удержать, будто загоразживала собой от беды. Слезы стояли у нее в горле, слезы били ее, душили, но она крепилась. Хотела верить, что сын еще вернется к ней, приедет опять издалека, только надо ждать. Терпеть и ждать...

Не хотела мать оплакивать сына, но сердце ее чувало беду, и ей трудно было обмануть свое сердце.

И не сдержалась мать, заплакала.

Оторвался Ратников от косяка, обнял ее, стал целовать белую голову:

— Не плачь! Не плачь, мама! Все хорошо будет. Все наладится... Никуда бы не пошел, если бы не надо было... И пили бы мы с тобой чай, включили бы телевизор... Не плачь... Не плачь, милая!..

3

Простился Ратников с матерью и ушел. А ветер в ту ночь злобствовал. Выл, и гудел, и свистел, и гремел на крыше, и хлопал, и стучал в окна, и рвал дверь...

И не спала в ту ночь тетка Настя. Все чудилось ей, что возвратился с дороги сын ее и вот-вот войдет в избу...

А Ратников все дальше и дальше уходил от дома. И вернуться уже не мог. Ждала его другая дорога.

Глава XIX

1

Он доберется до госпиталя, до того самого госпиталя, в котором они с Хуцишвили так долго лежали. Оттуда он станет посылать матери бодрые, даже веселые письма; будет писать, что живет в сосновом бору, где воздух целебен и чист, прозрачен, как в космосе, где множество живых красногрудых снегирей и юрких зеленых синиц, где так хорошо, что не верится даже, что может быть так хорошо...

Там, в госпитале, в ясный предрассветный час, после тяжелой бессонной ночи, он тихо уснет, не зная о том, что больше ему не проснуться. Уснет с мыслью, с робкой надеждой на то, что, может быть, еще удастся ему вернуться, хоть ненадолго вернуться к своим чертежам, к своим расчетам, которые нужны людям и которым он отдавался недавно с таким жаром, с каким отдается сушняк огню...

2

Так он умрет. После смерти ему воздадут высокие воинские почести — гроб с его телом опустят в могилу под ружейные залпы, на могиле установят небольшой красноразветный памятник, а в городе, где он служил, к стене одного из угловых домов привинтят мраморную мемориальную доску с позолоченными гранеными буквами: «Улица названа именем солдата Сергея Дмитриевича Ратникова, погибшего здесь при исполнении служебных обязанностей (1946—1971 гг.)».

В деревне, где он родился и рос, кроме тетки Насти и Яковлевны, никто не будет знать, куда ушел Ратников и что с ним случилось. А тетка Настя и Яковлевна, старухи, потерявшие всех мужиков, какие были в их роду, долго еще будут жить, не зная, зачем живут...

Содержание

Рассказы

У младшего брата	5
В ту осень	25
Люли, люли, люли	32
День последний	40
Воехра	47
В шезлонге	63
На топях	70
С колышка	77
На Сунгире	85
Пожар	95
Там на Севере	105
В забытом клубе	114

Повести

Мягкий свет	121
Ратниковы	185

Анатолий Павлович Василевский

РАТНИКОВЫ

Рассказы, повести

Редактор Н. Суворова

Художник В. Локшин

Художественный редактор Н. Егоров

Технический редактор В. Никифорова

Корректоры Г. Голубкова, И. Николаева

ИБ № 1358.

Сдано в набор 03.04.79. Подписано к печати 18.07.79. А10553.
Формат 84X108/32. Гарнитура литерат. Печать высокая. Бумага тип. № 2. Усл. печ. л. 15,96. Уч.-изд. л. 15,64. Тираж 100 000 экз. Заказ № 1186. Цена 1 р. 30 к.

Издательство «Современник» Государственного комитета
РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли
и Союза писателей РСФСР
121351, Москва, Г-351, Ярцевская, 4

Рязанская областная типография
390012, Рязань, Новая, 69/12

1230

1000000000